

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1970

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ю. А. Найда (Нью-Йорк). Наука перевода	3
Е. Г. Эткинд (Ленинград). Художественный перевод: искусство и наука . .	15

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Д. Швейцер (Москва). К проблеме лингвистического изучения процесса перевода	30
Н. А. Баскаков (Москва). Ареальная консолидация древнейших наречий и генетическое родство алтайских языков	43
В. М. Русановский (Киев). Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка	54

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. М. Мухин (Ленинград). Модели внутренних синтаксических связей предложений	69
Т. И. Сильман (Ленинград). Синтактико-стилистические особенности местоимений	81
З. Д. Попова (Воронеж). К теории падежного значения	92
Г. А. Меновщиков (Ленинград), В. С. Храковский (Ленинград). Каузативные глаголы и каузативные конструкции в эскимосском языке . .	102
А. К. Орусбаев (Москва). Опыт экспериментально-фонетического исследования киргизского ударения	111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Н. А. Кондрашов (Москва). «Atlas slovenského jazyka», I	121
В. И. Лыткин (Москва). <i>I. Bátori</i> . Wortzusammensetzung und Stammformverbindung im Syrtjänischen mit Berücksichtigung des Wotjakischen	124
М. Д. Степанова (Москва). <i>W. Fleischer</i> . Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache	127
В. В. Одинцов (Москва). <i>J. Cohen</i> . Structure du langage poétique	133
Т. М. Николаева (Москва). <i>M. A. K. Halliday</i> . Intonation and grammar in British English	135
А. Н. Кононов (Ленинград). <i>Talât Tekin</i> . A Grammar of Orkhon Turkic . .	141
А. А. Юлдашев (Москва). <i>С. Н. Иванов</i> . Родословное древо тюрков Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк	145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. М. Щербак (Ленинград). Постоянный Международный алтаистический семинар	149
Хроникальные заметки	153

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я:

О. С. Ахманова, В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), Э. А. Макаев,
М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Резвин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебrenников, Н. И. Толстой (отв. секретарь), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва К-31. Кузнецкий мост, д. 9/40. Тел. 228-75-55

Ю. А. НАЙДА

НАУКА ПЕРЕВОДА

При обсуждении науки перевода мы отнюдь не имеем в виду, что перевод является исключительно или даже в первую очередь наукой. При этом мы, конечно, не исключаем и никак не умаляем значимости тех сторон мастерства и искусства, которые обычно связаны и должны быть связаны с переводом¹. Говоря о науке музыки и имея в виду при этом не только изучение физических аспектов музыкальных звуков, но и понимание структур, в которые эти звуки входят в различных типах музыкальных сочинений, никто не принижает важности мастерства при сочинении музыки и искусства, обнаруживаемого при ее хорошей интерпретации. То же самое, безусловно, верно и в отношении перевода.

Наука перевода является лишь одной стороной лингвистической науки, которая в свою очередь является лишь одной из бихевиористских наук, цель которых состоит в тщательном описании и объяснении роли словесной коммуникации в человеческом поведении. Однако анализ перевода действительно отличается от большинства лингвистических штудий в том отношении, что при переводе мы имеем дело по крайней мере с двумя языками и изучаем их в терминах передачи формально различными средствами одного и того же содержания. Наука перевода, таким образом, имеет много общего с некоторыми сторонами сравнительного языкознания². Тем не менее при переводе основной упор делается на содержание, в связи с чем семантические факторы являются доминирующими, чего нельзя сказать о традиционном подходе в сравнительном языкознании. Кроме того, перевод отличается от большинства лингвистических подходов в том отношении, что он имеет дело с живой коммуникацией, направленной к аудитории, имеющей другой лингвистический и культурный уровень по сравнению с тем, который характерен для носителей коммуникации-источника. Это сразу же влечет за собой необходимость изучения быта и вкусов носителей языка, на который делается перевод («получателей» коммуникации), необходимость тщательного исследования культурных различий, которые оказывают влияние на интерпретацию и оценку сообщения. Таким образом, вряд ли было бы правильным подходить к переводу без учета динамического фактора ответной реакции получателей информации. Научное изучение перевода можно даже определить как отрасль сравнительного языкознания, основным объектом которой является семантика, изучаемая в контексте динамических соответствий.

Традиционные подходы к переводу. При традиционных подходах к проблемам перевода всегда возникали серьезные вопросы относительно са-

¹ Некоторые аспекты дискуссии о природе перевода приводятся в работе: E. A. N i d a, *Toward a science of translating*, Leiden, 1964, стр. 3—10.

² М. Вандрушка (M. W a n d r u s z k a, *Sprachen, vergleichbar und unvergleichlich*, München, 1969) использовал переводы сходных литературных произведений в качестве основы для сравнительно-лингвистического анализа.

мой возможности этой процедуры³. В большинстве случаев литературные критики, которые обычно заботились прежде всего о передаче формальных структур оригинала, настаивали на том, что перевод невозможен или в лучшем случае является весьма неадекватным заменителем оригинала. С другой стороны, художники слова не только защищали перевод, но и сумели добиться выдающихся образцов первоклассного перевода⁴. Спора нет, перевод всегда в той или иной степени связан с потерей смысла и искажением оригинала; однако эти особенности характерны для любой коммуникации, даже в пределах одного и того же языка. Практической целью переводчика, вполне естественно, является сведение к минимуму таких потерь. В его задачу не входит улучшение оригинала, но он, по крайней мере, должен воспроизвести наиболее близкий эквивалент в языке, на который делается перевод.

Некоторые литературные критики и переводчики уделяли слишком много внимания литературным достоинствам своей работы и настаивали на том, что перевод — это искусство, которое под силу только художникам слова, опирающимся при переводе главным образом на эстетические критерии⁵. Поэтому, по мнению этих критиков, любой разговор о науке перевода или даже об обучении навыкам перевода, бьет мимо цели. Только врожденная эстетическая чувствительность к словесным структурам считается основой и критерием при переводе. Вряд ли стоит спорить с теми специалистами, которые настаивают, что хорошие переводчики должны обладать определенным эстетическим чувством к тем средствам, которые они используют при переводе. Более того, такой эстетической чувствительности редко можно обучиться. Однако навыки перевода можно, безусловно, совершенствовать путем тренировки и опыта; художественные возможности переводчика можно усилить на основе систематической практики, направленной на достижение определенной цели. Наиболее распространенный подход к переводу лучше всего определить как «филологический». Именно этот подход является главной ориентацией журнала «Babel», официального органа Международной Федерации переводчиков. Целью большинства статей этого журнала является практическое применение филологических принципов стиля к целому ряду проблем, встающих перед переводчиком (разбираются, например, типы речи, риторические вопросы, аллюзии, цитаты, имена собственные и т.д.). В общем подход журнала нацелен на установление полезных эмпирических правил без попытки проведения или рекомендации какого-либо систематического анализа различий между языками⁶.

Лингвистический подход к переводу в Западной Европе и в США. Лингвистический подход к переводу в Западной Европе и в США⁷ возник сравнительно поздно. Для этого имеется ряд причин. Прежде всего, лингвисты обычно не занимались практическим переводом или обучением переводчиков; эти задачи осуществлялись главным образом специалистами в

³ Эти проблемы успешно рассмотрены с практической точки зрения Ф. Гюттингером (F. G ü t t i n g e r, Zielsprache, Zürich, 1963). Ж. Мунэн (G. M o u n é n, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, 1963) также разбирал некоторые теоретические и лингвистические аспекты этих проблем.

⁴ Одной из лучших книг, посвященных прежде всего филологическому подходу к переводу, является «On translation» ed. by R. A. Brower, Cambridge, 1959.

⁵ См.: E. S a g u, La traduction dans le monde moderne, Genève, 1956.

⁶ Имеются некоторые важные исключения. Отдельные лингвисты делают особый упор на филологические аспекты проблемы. См., например: J. U r e, A. R o g e r, J. E l l i s, *Somn: Sleep. An exercise in the use of descriptive linguistic techniques in literary translation*, «Babel», 15, 1969.

⁷ В настоящей статье мы не разбираем многочисленных и весьма ценных работ по теории и практике перевода, выполненных учеными в Восточной Европе.

области более традиционной дисциплины — филологии, где основной центр тяжести ложится скорее на изучение литературных форм и средств, чем на анализ собственно языковых структур. Во-вторых, в тридцатые и сороковые годы нашего столетия многие лингвисты находились под большим влиянием менталистических объяснений языковых структур и поэтому имели тенденцию игнорировать изучение языкового содержания, концентрируя основное внимание на языковой форме. В связи с этим лингвисты уделяли мало внимания семантике вообще и еще меньше интересовались сравнительным анализом, ориентированным на содержание, а не на форму.

Одна из первых попыток подойти к переводу с точки зрения лингвистических принципов была сделана Ю. Найда (1947)⁸. Однако это был в сущности прагматический подход к проблемам перевода, а не попытка разработать общую теорию. Дж. Касагранде (1954) и К. Вёгелин (1954)⁹ интересовались некоторыми антропологическими аспектами перевода; хотя подходы этих ученых были несколько различными, они предложили важные методы, с помощью которых можно производить более систематическое формальное изучение соответствий при переводе. Ж. Винэ и Ж. Дарбельнэ (1958)¹⁰ применили ряд важных лингвистических принципов к практическим трудностям соответствий в английском и французском языках. Целью этих ученых не было создание теории перевода, но они внесли значительный вклад в разработку систематических сопоставлений.

В области перевода технической литературы Р. Юмпельт (1961)¹¹ сделал важный шаг вперед, пытаясь соединить некоторые лингвистические и филологические принципы; однако в данном случае мы имеем дело прежде всего с попыткой сформулировать специальные правила, а не общие принципы или фундаментальную теорию. Журнал «Meta», издаваемый Монреальским университетом главным образом в помощь переводчикам с английского и французского языков, затрагивает широкий круг практических проблем и старается на основе здравых лингвистических суждений рекомендовать решения этих проблем. Ю. Найда (1964)¹² сделал попытку более глубокого изучения различных лингвистических подходов к проблемам перевода, за которой последовала чисто лингвистическая разработка теории перевода Дж. Кэтфорда (1965)¹³. В 1969 г. Ю. Найда и Ч. Тейбер¹⁴ выпустили книгу «Теория и практика перевода», в которой еще более полно были разработаны теоретические выводы, вытекающие из применения лингвистики к переводу и возможности такого применения, причем особое внимание уделялось грамматическому значению, компонентному анализу семантических структур и анализу речи.

В практическом плане ряд статей появился в журнале «The bible translator», публикуемом Объединением библейских обществ и предназначенном главным образом для миссионеров, которые занимаются переводом «Священного писания». Летний Институт лингвистики также опубликовал ряд статей, посвященных специальным проблемам перевода библии, вы-

⁸ E. A. Nida, Bible translating, New York, 1947.

⁹ J. B. Casagrande, The ends of translation, IJAL, 20, 1954; C. F. Voegelin, Multiple stage translation, там же.

¹⁰ J. F. Vinay, J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, 1958.

¹¹ R. W. Jumpselt, Die Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur, Berlin, 1961.

¹² E. A. Nida, Toward a science of translating.

¹³ J. C. Catford, A linguistic theory of translation, London, 1965.

¹⁴ E. Nida, Ch. R. Taber, The theory and practice of translation, Leiden, 1969.

шедших в серии, озаглавленной «Заметки переводчиков» под редакцией Дж. Бикмана.

Во многих случаях теоретическая разработка теории перевода значительно продвинулась под влиянием развития машинного перевода¹⁵. Но хотя надежды на быстрый рывок вперед в машинном переводе были велики, проблемы программирования были еще больше, и в настоящее время лишь несколько энтузиастов ожидают, что машинный перевод будет в состоянии выйти за рамки уже установившейся практики записывания технического текста с их очень специальным и ограниченным словарем, а также прозаических и стандартизированных речевых структур. Тем не менее интерес к машинному переводу привлек внимание к чрезвычайно полезным положениям теории информации, создав таким образом научную основу для индуктивных суждений относительно проблем импульсов, изысканности и промежуточных вероятностей.

Все эти практические и теоретические задачи перевода дали возможность выработать два основных теоретических подхода: 1) метод прямого переключения, основанный на последовательности правил формального согласования и 2) метод непрямого переключения, включающий анализ, переключение и изменение структуры.

Метод прямого переключения. При методе прямого переключения мы непосредственно переходим от текста на языке-источнике (source-language) к эквивалентному сообщению в языке, на который делается перевод (receptor-language), что достигается использованием ряда последовательных правил, дающих возможность уравнивать синтаксические и семантические структуры в соответствующих языках. В определенном смысле этот метод является расширением старого эмпирического метода, который также состоял из правил, но только из таких, которые представлялись необходимыми для решения специальных проблем. Процедуры, обычные при любом переводе, считались сами собой разумеющимися. Описываемый новый метод прямого переключения является, конечно, более усовершенствованным и основан на так называемых «правилах переписки». Некоторые специалисты считают, что соответствия можно наиболее эффективно и экономно установить, если пользоваться каким-то универсальным языком-посредником (имеется в виду либо естественный язык, либо, возможно, даже искусственный). Считается, что с помощью двух наборов соответствующих правил можно эффективно и в конечном итоге более экономно произвести переключение, ибо структура любого и всех языков может быть настроена на этот один язык-посредник.

Подобные подходы к переводу имеют большой теоретический интерес, но не отличаются особой практической ценностью. Прежде всего, если отвлечься от случаев наиболее явных соответствий между близкородственными языками, правила соответствия оказались бесконечно громоздкими и усложненными. Во-вторых, их использование оказалось затруднительным в связи с многочисленными исключениями. В-третьих, при строгом применении этих правил результаты обычно оказывались неудовлетворительными. Возможно, основные трудности этого подхода явились результатом его тесной связи с недостатками счетно-вычислительных машин. При определении языковых эквивалентов мышление является бесконечно более гибким инструментом по сравнению с машиной, и правила, которые теоретически могли бы быть применимы к машине (она в принципе является лишь неразумным гением), оказываются слишком сложными и громоздкими, если перевод производится человеком.

¹⁵ Оценку роли электронно-счетных машин в решении языковых проблем см. «Natural language and the computer» ed. by P. L. Garvin, New York, 1963.

Метод непрямого переключения. В связи с теоретическими и практическими ограничениями и трудностями метода прямого переключения, Найда и Тэйбер (1969) предприняли попытку изучения тех процессов, которые имеют место при получении хороших переводов. Какие виды умственных операций лежат в основе работы переводчика? Каковы различия и сходства в языковой структуре, которые являются определяющими в процедуре обнаружения удовлетворительных эквивалентов? Более того, каковы те методы, которыми должны пользоваться переводчики с целью эффективной передачи тех или иных текстов на языки, имеющие совершенно иную лингвистическую структуру, если при этом текст, на который делается перевод, характеризуется совершенно иной культурной канвой? В результате изучения было обнаружено, что перевод лучше всего производить путем трех отдельных, но тесно связанных между собой процессов: 1) анализа, 2) переключения и 3) изменения структуры.

Анализ. Процесс анализа состоит из сведения синтаксических и семантических структур к наиболее простым, хорошо анализируемым и легко передаваемым формам. Что касается синтаксических структур, то это означает сведение поверхностной структуры к ядерной или, лучше, к околоядерной (последняя является предпочтительной, так как она более точно переключается по сравнению с цепочками несвязанных ядер). Например, такая поверхностная структура, как *John... preached the baptism of repentance unto the forgiveness of sins* (Марк 1, 4) трансформируется: *John... preached: Repent and be baptized, so that God will forgive the evil you have done* или в не прямой форме: *John... preached that the people should repent and be baptized so that God would forgive them for the evil they had done* (вопрос о том, следует ли сохранить пассив *be baptized*, зависит от форм языка, на который этот оборот должен быть переведен). Такой процесс синтаксической обратной трансформации основан на признании четырех основных семантических категорий: 1) объектов (например, *man, woman, tree, house, stone*); 2) событий (например *run, walk, see, think, speak*); 3) абстрактных понятий (главным образом, качеств и количеств объектов и процессов, например, *good, tall, fast, once, ten*) и 4) связующих элементов (например, *in, by, when, because и therefore*), которые служат для связи различных семантических единиц или множества единиц. В практическом плане это обычно означает, что в ядерных структурах объекты представлены существительными, события — глаголами, абстрактные понятия такими словами, как прилагательные, наречия (или во многих языках стативными глаголами), а связующие слова — рядом различных классов, например, предлогами, союзами или просто порядком слов и соположением.

Подобная обратная трансформация структур с поверхностного до околоядерного уровня входит непосредственно в компетенцию порождающе-трансформационной грамматики. Однако в некоторых случаях такой анализ выходит далеко за пределы чисто формального лингвистического анализа. Например, такое предложение, как *the thought worried him*, можно рассматривать как ядерное при трансформационном анализе, но не на уровне, на котором приходится работать при переводе. Это предложение скорее следует разбить на три ядра: два содержательных и одно связующее. Содержательные ядра — следующие: а) *he thought* и б) *he worried*, а связующее ядро а) обуславливает б).

Имеется несколько весьма важных причин производства обратной трансформации любой сложной поверхностной структуры до околоядерного уровня. Прежде всего, на ядерном уровне отношения между конститутивными частями синтаксического отрезка максимально лишены семантической двойственности. Другими словами, на ядерном уровне значимые отношения между словами выражены наиболее ясно. Во-вторых, на ядер-

ном уровне языки обнаруживают намного больше структурных сходств и эквивалентов, чем на уровне поверхностной структуры. В самом деле, тщательное исследование ядерных структур ряда различных языков обнаруживает поразительные формальные соответствия. Универсальность таких структур, как переходность, непереходность и предикативность совершенно удивительна. Даже существование одинаковых типов предложений тождества с предикатом, выражающим качество (например, *John is good*), класс (например, *John is a boy*) и идентичность (*John is my brother*) представляется универсальным.

Естественно, что переключение может быть осуществлено с одного языка на другой с наименьшим искажением, если можно анализировать синтаксическую структуру вплоть до того состояния, когда отношения становятся наиболее специальными и наименее двойственными по содержанию, и если в этом состоянии синтаксическая структура обнаруживает большую степень формальной эквивалентности между различными языками. Это, конечно, не означает, что перевод на определенный язык (*reserptor-language*) остается на этом околядерном уровне. Никким образом. Вот почему необходим третий процесс, а именно изменение структуры, что дает возможность дальнейшей трансформации околядерной структуры до нужного уровня в языке перевода.

Можно задать вопрос, почему процесс обратной информации прекращается на околядерном уровне? Почему не продолжить трансформацию до уровня глубинных структур (в том числе даже наиболее глубинных), где, возможно, мы будем иметь дело исключительно с семантическими универсалиями? Такие цели преследовало бы логическое переключение. Теоретически эта методика представляется вполне правильной, ибо, если наиболее глубинные структуры языка оказываются лишь наборами семантических универсалий, то можно, хотя бы теоретически, оправдать этот тип процедуры. Однако имеется несколько весьма важных практических возражений против такой методики. Прежде всего, переход от ядерного уровня к наиболее глубинному уровню вовсе не является простой процедурой. В этой лингвистической «стигийской пропасти» мы сталкиваемся с целым рядом неизвестных. Кроме того, шаги, необходимые при этой процедуре, — многочисленны и сложны. При этом требуется использование громоздких процедур, не дающих возможности прийти к каким-либо иным результатам, чем те, которые можно получить на ядерном или околядерном уровне. Далее, эта процедура анализа до наиболее глубинных уровней может быть эффективно осуществлена, если мы имеем дело с письменными формулами, но переводчик просто не может позволить себе затрат времени, необходимых для этого. Если нужны символы, которыми он мог бы быстро манипулировать, которые можно уравнивать и проверять, то для этого необходим структурный уровень, на котором можно маневрировать мысленно. Сложные формулы на бумаге недостаточны для этого. Кроме того, переводчик может наиболее успешно проверить и оценить различия между языками именно на околядерном уровне. Однако анализ на этом уровне при всех условиях является неизбежным, даже если полностью провести обратное переключение до наиболее глубинного уровня, а затем опять вернуться на околядерный уровень в языке, на который делается перевод.

Наряду с синтаксическим анализом необходимо проводить анализ семантический. Этот анализ состоит прежде всего в сведении лексических единиц (слов и тесно связанных словосочетаний) к наборам семантических компонентов. Компоненты таких лексических единиц могут быть определены только путем сравнения их с другими словами, которые встречаются в той же или близко связанной с ней семантической области. Имеются в виду: 1) слова, которые являются смежными в семантическом простран-

стве (например, *run, walk, jump, hop*); 2) слова, которые пересекаются в семантическом пространстве (например, *peace* и *tranquility, joy* и *happiness, power* и *strength*) и 3) слова, которые включаются в пределы семантического пространства (например, такие иерархические структуры, как *animal, mammal, dog* и *poodle*). Структурные отношения между словами, обозначающими полярные противопоставления, например, *good* и *bad, rich* и *poor, tall* и *short*, могут также быть полезными при анализе близких наборов компонентов.

Семантические компоненты можно классифицировать по-разному. Например, можно говорить об общих компонентах (т.е. присущих всем сравниваемым лексическим единицам), диагностических компонентах (т.е. встречающихся с одним или более, но не со всеми компонентами класса) и о дополняющих компонентах (т.е. таких, которые важны для определенной лексической единицы в каком-либо другом контексте или с другими словами). Эти дополняющие компоненты часто представляют коннотативные значимости лексических единиц.

Анализ семантических компонентов должен также касаться внутренней структуры компонентных рядов. Эти ряды могут быть беспорядочными, что обычно наблюдается в отношении набора терминов родства, или упорядоченными. Многие компонентные ряды упорядочены непостоянно. Например, компоненты *rescue* состоят из 1) «serious plight or condition of A»; 2) «strenuous efforts (unless otherwise marked by someone other than A)» и 3) «resulting safe condition of A».

При анализе ряда лексических единиц, таких, как *speak, sing, whistle, whisper* и *hum*, обнаруживается, что компонентная структура *whisper* состоит из 1) «the use of the vocal apparatus»; 2) «employment of speech sounds»; 3) «all of which are voiceless». В этом ряду первый компонент можно признать центральным (или ядерным). Вторым компонентом предполагает ограничение первого, а третий — ограничение второго. Другим способом описания этого компонентного ряда может быть констатация, что голосовой аппарат может использоваться для производства целого ряда звуков (например, хрюпа, кашля, крика и шепота) и что одним из этих типов звуков является производство звуков речи. Речь обычно предполагает комбинацию звонких и глухих звуков, причем вся серия звуков может быть глухой; в этом случае мы используем термин «*whisper*» для обозначения особого типа производства речи голосовым аппаратом.

Анализ значения лексических единиц в терминах семантических компонентов является основным шагом в процедуре анализа, ибо только этим путем можно удостовериться в степени сходства и различия между словами в языке перевода и в языке, на который делается перевод. Если не разбить эти значения на их минимальные различительные признаки, можно получить лишь общее впечатление об их соответствии и уместности. Другим важным преимуществом анализа в терминах семантических компонентов является то, что, как и в случае ядерных структур, семантические компоненты различных языков поразительно сходны. Это не означает, что специфические группировки компонентов, представляемые отдельными лексическими единицами, идентичны. Однако многие компоненты, особенно те, которые обозначают общие понятия, например, *event, object, mass, countable, animate, inanimate, human, animal* и т.д., имеют тенденцию широкого распространения. Более того, даже более специфические компоненты часто могут определяться в терминах этих общих компонентов. Все это, таким образом, создает основу, на которой можно построить осмысленное сравнение семантических структур.

В реальной практике переводчик должен переводить не слова (или лексические единицы), но ряды семантических компонентов. Он может не

найти определенного слова в языке, на который делается перевод, эквивалентное тому или иному термину в исходном языке, но он всегда может выразить различные семантические компоненты переводимого отрезка в исходном языке. Другими словами, он может произвести дистрибуцию формальной структуры компонентов в исходном языке на различные лексические единицы в «конечном» языке.

Такое рассмотрение семантических компонентов в качестве пучка различных признаков, которые «определяют» лексическую единицу, в значительной мере напоминает описание фонемы как символа пучка различных признаков, анализируемых либо в терминах физиологического производства, либо в терминах акустических свойств.

В связи с тем, что рассмотрение процесса анализа до сих пор описывалось как относящееся, главным образом, к грамматическим структурам и семантическим компонентам, может создаться впечатление, что эта сторона процедуры перевода ограничивается только минимальными единицами текста и что более широкие аспекты речевой структуры были оставлены без внимания. Однако такое впечатление не отражает действительности. Хотя необходимо уделять особое внимание множеству минимальных структур грамматики и семантики, важно в равной мере не упускать из виду целостную структуру речи. Старая концепция, согласно которой предложение является пределом лингвистического исследования, оказывается совершенно недостаточной при рассмотрении весьма сложных структур, которые в большей мере определяют тип, порядок и аранжировку синтаксических и семантических единиц.

Анализ типов речи дал возможность различить две основные структуры: 1) повествовательную и 2) объяснительную. Повествовательная речь структурируется из последовательности связанных событий. Объяснительная речь состоит главным образом из связанных между собой общих и частных утверждений, причем за тематически главным предложением следуют предложения, которые повторяют некоторые частные стороны этого предложения и объясняют их (иногда путем приведения примеров первоначального общего утверждения, часто указывая на причины правильности этого утверждения, а в некоторых случаях путем добавления подробностей — описательное замещение — к первоначальному утверждению).

Все языки обладают также особыми «формально измеряемыми» структурами, с которыми эти основные речевые структуры могут сочетаться. Эти измеряемые структуры состоят из различных форм поэзии, например, эпической, лирической, дидактической, пословиц и поговорок и т.д. Как метко указал Р. Якобсон, параллелизм формы и/или мысли является одной из универсалий этих структур¹⁶.

Повествовательные речевые структуры обладают рядом универсальных черт, представленных несколько различными формами, но имеющими тенденцию постоянно повторяться. Последние включают: 1) вводные слова, фразы или даже предложения, которые в первую очередь создают определенную временную или пространственную канву; 2) переходы между более мелкими и более крупными эпизодами; 3) структурированные цепочки действующих лиц, предполагающие наличие определенных приемов их ввода, прослеживания их действия и вывода со сцены; 4) цепочки действий, перемещение центра тяжести которых выявляется посредством особых приемов; 5) центр восприятия и фон восприятия; 6) особое выделение, подчеркивание событий и 7) конечные выражения, которые как бы «закругляют» речевую последовательность, обычно перекидывая мост между

¹⁶ R. Jakobson, *Linguistics and poetics*, в кн.: *Style in language* ed. by Th. A. Sebeok, Cambridge (Mass.), 1960.

ее началом и концом. Вполне очевидно, что никакой переводчик не может обратиться к целостной речевой структуре без уделения постоянного внимания этим основным структурам и соответствующим возможностям их представления в «конечном» языке (языке, на который делается перевод).

Более широкие структуры речи в действительности являются основными составными частями «стиля». В прошлом филологи обнаружили значительный интерес к особому использованию слов и фраз отдельными авторами, считая, что эти особенности будто бы дают ключ к определению различий в стиле. Однако особая манера подхода к речевым структурам со стороны писателя является скорее надежным показателем стилистического гения автора. Для точного отражения этого компетентный переводчик должен обладать пониманием этих более объемистых речевых структур.

Переключение. При переключении сообщения с исходного языка на конечный в пределах околоядерного уровня переводчик неизбежно встречается с некоторыми видами трудностей. В большинстве случаев эти трудности сводятся: 1) к различию уровней специфичности и точности и 2) к отсутствию соответствия в форме и функции.

Различные уровни специфичности могут быть весьма усложненными. Например, на бушменском языке нельзя говорить просто о «переносе» чего-либо. Необходимо указать, производится ли это действие на голове, на спине, на бедре, на плече, на конце палки, переброшенной через плечо, в ладонях, на руках и т.д. С другой стороны, один и тот же термин может обозначать не только мясо, но и всех съедобных диких животных. Часто случается, что в тексте на исходном языке недостаточно точно указывается природа объекта или явления. В этом случае переводчик с целью определения выражения, наиболее подходящего по контексту, должен использовать свои знания и воображение.

Наиболее обычная трудность для переводчика состоит в отсутствии соответствия в форме и функции. Например, в некоторых языках Конго «бить в грудь» не означает раскаяния, а имеет в виду хвастовство. Форма существует, но имеет совершенно иную функцию. Наоборот, можно наблюдать совершенно различные формы с одинаковым значением. В ряде конголезских языков выражение «бить голову» означает раскаяние. Здесь форма отличается от английского, но функция, т.е. значение, — эквивалентна. Во многих языках мира можно обнаружить очень различные метафорические значения правой и левой руки, в частности, использование их, как символов преимущественного права и установленного законом отношения лица к другим лицам или к государству. Для того чтобы подойти к этим проблемам, необходимо уделить большое внимание семантическим компонентам, ибо только таким путем можно избежать серьезных недоразумений, в связи с бихевиористскими различиями в различных выражениях.

Процедура переключения, кроме того, предполагает определенные трудности, связанные с неодинаковыми личными склонностями переводчиков. Эти склонности переводчиков могут быть ущербными для объективности. Для некоторых людей добросовестный перевод означает буквальный перевод, перевод слова за слово, который близко следует форме оригинала, но принципиально отстает от его значения и целей. Например, буквальный перевод библейской идиомы «keep coals of fire on his head» был интерпретирован некоторыми конголезскими переводчиками как описание нового способа пытки людей до смерти, а не как выражение такой снисходительности по отношению к своему врагу, что ему становится стыдно.

Изменение структуры. После переключения содержания сообщения с исходного языка в конечный на околоядерном уровне необходимо произвести изменение структуры этого сообщения путем дальнейших трансформаций. Целью этой операции является воспроизведение сообщения в наи-

более близкой эквивалентной форме и с максимальным приближением к тому психологическому воздействию на читающих и слушающих, которое характеризовало текст на исходном языке. Это означает, что такие формальные признаки, как порядок слов, структура предложения и распределение семантических компонентов, должны подвергаться модификациям в соответствии с лингвистическими требованиями и нормами языка, на который делается перевод. Надо произвести и все обязательные изменения, требуемые языком, несмотря на возражения некоторых специалистов, стремящихся навязать конечному языку при переводе искусственные выражения только на основании их литературной традиции в исходном языке.

В случае, когда мы имеем дело с необязательными изменениями, проблемы изменения структуры становятся более сложными. Здесь речь уже не идет об изменениях, необходимых в связи со структурой конечного языка, а о том, что именно следует предпочесть. Однако возникает вопрос о том, чье предпочтение следует признать решающим при переводе. Следовательно, прежде чем делать перевод, лицам, имеющим определенный уровень знания языка, необходимо точно определить характеристики, типичные для этого уровня.

Традиционным критерием перевода являлось формальное соответствие, т.е. определение людьми, владеющими как языком перевода, так и языком оригинала, в какой мере первоначальный текст и перевод на конечный язык можно признать достаточно сходными по форме для признания перевода «правильным» или «точным». Однако такой подход неизбежно вызывает целый ряд серьезных вопросов. Специалист, владеющий как языком перевода, так и языком оригинала, часто очень хорошо знает смысл текста на исходном языке. В связи с этим он не может полностью отдать себе отчет в тех проблемах, которые возникают у лица, владеющего лишь одним языком, при попытке понять смысл перевода. Единственной надежной проверкой качества перевода является анализ того, как реагируют на него лица, владеющие лишь тем языком, на который сделан перевод. Если такие лица постоянно дают неверную интерпретацию перевода, затрудняются в понимании его или плохо реагируют на его стилистические особенности, то перевод явно не является точным или адекватным, независимо от степени формального соответствия. Чем выше степень формального соответствия, тем менее вероятна полная адекватность перевода. Две речевые формы считаются принадлежащими различным языкам на основе их формального различия. Перевод с одного языка на другой должен поэтому отражать эту степень формального различия; в противном случае мы будем иметь дело не с чем иным, как с формальным переносом неестественных заимствований грамматических или семантических структур.

В процессе изменения структуры особое внимание следует уделить проблеме стиля, ибо качество перевода, пожалуй, в большей степени зависит от его стиля, чем от какого-либо другого набора признаков. Казалось бы, что только содержание перевода является основным и определяющим для читателя, и для некоторых лиц это действительно так. Однако для огромного большинства людей чтение перевода в очень большой степени зависит от привлекательности его стиля, а не содержания.

Проверка перевода. Последним шагом в процедуре создания адекватного перевода является использование определенных приемов проверки, которые могут подтвердить его правильность и дают возможность убедиться в том, что этот перевод будет приемлемым для тех, кому он предназначен. Выделяются три аспекта перевода, которые можно и должно проверить: 1) степень формального соответствия оригинальному тексту, 2) степень формального соответствия в «конечном» языке и 3) степень смысловой нагрузки и приемлемости для людей, на язык которых сделан перевод.

Анализ степени формального соответствия с оригинальным текстом может производиться одним из двух следующих методов: а) тщательное сравнение соотносимых структур (в частности, такая процедура может включать проверку перевода для выяснения вопроса о существовании наиболее близких эквивалентов в структуре перевода и оригинала) и б) оценка общих различий в протяженности перевода и оригинала. Интересно отметить, что протяженность большинства хороших переводов имеет тенденцию превышать протяженность оригинала. Это, конечно, не значит, что все переводы большой протяженности по необходимости являются хорошими: мы хотим лишь сказать, что хорошие переводы обычно длиннее оригинала. Для этого имеется несколько важных причин. Насколько можно судить, поток информации на всех языках в общем одинаков, если принять во внимание тот факт, что большинство языков примерно на 50% является избыточными на всех уровнях (фонетика, грамматика, лексика). При переводе необходимо представить не только то, что было сообщено в оригинале, но и определить те добавочные категории, которые существуют в языке, на который делается перевод, и не могли существовать в тексте на исходном языке. В любом первоначальном сообщении многое может остаться невыраженным, ибо участники сообщения могут обладать общей для них информацией. Однако при переводе текста с одного языка на другой такая имплицитная информация часто должна быть превращена в эксплицитную, что достигается введением ее непосредственно в текст (если эта информация явно имплицитна в пределах контекста), либо вынесением в сноску, если соответствующие данные носят общий характер или указывают на определенных сторонах культуры. Степень увеличения протяженности перевода по сравнению с оригиналом зависит от лингвистической и культурной отдаленности между соответствующими языками и культурами.

Проверка степени формального соответствия с текстом языка, на который делается перевод, может осуществляться на основе следующих двух методов: а) статистическое сравнение некоторых ключевых признаков и б) использование техники «закрытых слов». При применении статистического метода для сравнения некоторых признаков можно выбрать из соответствующих образцов текста на «конечном» языке ряд важных признаков и произвести их статистическое сравнение (например, такие признаки, как длина предложений, число придаточных предложений, число предложных оборотов, связанных с глаголами, частотность причастных конструкций и т.д. в первоначальных и переводных текстах). Если различия превышают 10—15%, надо обратить внимание на серьезные трудности в переводе и тщательно проверить соответствующие структурные признаки¹⁷.

Намного более эффективным подходом при проверке перевода оказывается техника «закрытых слов», которая может применяться как к письменным, так и к устным материалам¹⁸. Обычная процедура при таком методе состоит в раздаче информантам текста, состоящего примерно из 250 слов, в котором каждое пятое слово вычеркивается (пропуск более 50 слов, по имеющимся данным, существенно не меняет результатов). Затем информантов просят заполнить пропуски: чем точнее это делается, тем больше промежуточных вероятностей в тексте и, следовательно, тем легче читать такой текст. В идеальном случае можно представить себе сравне-

¹⁷ Теоретически различия, превышающие 5%, важны. Однако очень часто трудно получить тексты эквивалентного типа для использования в качестве основы при статистическом сравнении. Поэтому в качестве более реалистичного мы предлагаем пользоваться дифференциалом в 10—15%.

¹⁸ Описание техники «закрытых» слов см.: W. L. Taylor, Cloze procedure: a new tool for measuring readability, «Journalist quarterly», 30, 1953; е го ж е, Recent developments in the use of cloze procedure, «Journalist quarterly», 33, 1956.

ние реакции лиц, воспринимающих первоначальную информацию, с реакцией лиц, воспринимающих перевод, хотя это обычно невозможно. Однако можно сравнить результаты опытов, проведенных на основе техники «закрытых слов» с примерно сходными образцами переводного и переводимого текста; такое сравнение дает некоторое представление об относительной степени понятности и трудностях понимания.

Еще одним способом проверки перевода является выяснение степени понятности смысла, содержащая сообщения. Обычно совершенно бесполезно читать текст информанту, а затем задавать ему вопрос, понял ли он этот текст. Это может быть интерпретировано как явное оскорбление его умственных способностей. Следует лучше прочесть текст информанту (при опыте такого рода предпочтительно слуховое восприятие) и затем попросить его объяснить значение этого текста какому-либо лицу, которое не слышало этот текст. Еще более эффективный тест состоит в громком чтении текста несколькими людьми. Этим можно проверить два вида признаков: 1) в какой мере движения лица информанта обнаруживают интерес, одобрение и понимание и 2) места текста, где читатель колеблется или читает неправильно. Если два и более лица делают одинаковую ошибку в одном и том же месте, следует тщательно проверить соответствующий абзац и посмотреть, не существует ли какое-то серьезное формальное противоречие, озадачившее читателя.

Лингвистика и перевод. Лингвистическая наука открыла перед переводом ряд новых перспектив и снабдила его новыми методами, с помощью которых можно эффективно анализировать процедуры и оценивать результаты перевода. Имеются две основные области, в которых лингвистика может в будущем сделать важный вклад в теорию перевода, а именно, исследование семантических компонентов и анализ речевой структуры. Путем установления минимальных различительных признаков, которые отделяют друг от друга значения слов, можно выработать очень полезный подход к семантическим признакам, значимым с бихевиористской точки зрения. Таким путем можно быстрее и точнее изучать культурные универсалии и особенности, а также те постулаты о реальности, которые имеют тенденцию оказывать большое влияние на межкультурную коммуникацию. В то же время необходимо признать, что изучение семантических компонентов еще не раскрывает всей картины бихевиористской значимости какого-либо культурного признака, они только помогают отделить значение символа от конкурирующих значений других символов. Подобно тому, как различительные признаки фонемных или морфофонемных элементов неполностью описывают соответствующие звуки, т.е. только констатируют контрастные признаки, семантические компоненты только очерчивают границы, отделяющие значения друг от друга. Тем не менее эти наборы контрастных признаков важны для того, чтобы понять в определенной мере те символические структуры, которые используются людьми при описании своей культуры, а также символические структуры, функционирующие в пределах этой культуры.

Последние исследования речевой структуры показывают, что в этой области язык структурирован значительно больше, чем это предполагалось. Кроме того, многие речевые признаки оказались универсалиями, т.е. обнаруживаются во всех исследованных языках. Более ясное понимание механизма и особенностей таких структур, а также понимание их соотношения в межкультурном плане, может оказаться весьма важным не только для решения практических вопросов перевода, но и для понимания некоторых понятийных основ человеческого общения. Возможно, именно в этом пункте наука перевода сделает важный вклад в понимание как человеческого языка, так и поведения.

Е. Г. ЭТКИНД

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД: ИСКУССТВО И НАУКА

1

Из всех видов художественного творчества перевод, вероятно, более других требует сознательно-научной основы. Прозаик может создавать роман, не имея специально-филологического образования и не отдавая себе отчета в законах композиции, — каждый раз он творит заново, преобразуя жизнь в художественные формы, которые представляются ему наиболее адекватными действительности: писателю нет надобности специально изучать происхождение и историю романа, соотношение его с другими жанрами, соотношение речи автора и персонажа, поэтику абзаца, структуру метафоры. Поэту, казалось бы, нужнее знать приемы литературного ремесла, — в стихах доля техники значительно больше, чем в прозе. Но Маяковский был по-своему прав, когда с намеренно дерзким вызовом писал: «Я не знаю ни ямбов, ни хореов, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это записанное по слуху... В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку»¹.

Даже Пушкин повествует о том, как Онегин, не умевший отличить ямба от хорея, чуть было не сделался поэтом, впервые испытав потрясение истинной любви:

...силой магнетизма

Стихов российских механизма

Едва в то время не постиг

Мой бестолковый ученик (VIII, 38).

«Бестолковый» — потому что прежде он не усваивал уроков поэтической техники («как мы ни бились...», I, 7). Теперь же, полюбив, он оказался способен постичь ее «силой магнетизма», т.е. интуиции.

Более ста лет спустя поэт Евгений Винокуров, который сам владеет многообразными формами классического и современного стиха, от отточенного итальянского сонета (цикл 1967 г.) до верлибра, в статье «О личности в поэзии», размышляет:

«Каждое искусство состоит из двух частей: из „души“ и „искусства“. Поэзия — это то искусство, в котором больше „души“, чем „искусства“. В каждом искусстве есть та часть, которой можно научить, которая поддается измерению, вычислению, и есть то, что не может быть учтено, то есть психика художника, его своеобразие как человека».

¹ В. Маяковский, Полн. собр. соч., 12, М., 1959, стр. 86—87.

Далее Е. Винокуров говорит о том, как велика доля техники в балете, музыке, театре, пластических искусствах и как значительна здесь стадия учебы; недаром существуют музыкальные и художественные студии, училища, консерватории, академии. «И только в поэзии ничего подобного нет. Здесь обучить почти ничему нельзя. Здесь — область техники, знания не имеет и даже приблизительно того значения, что во всех остальных видах искусства. Поэт создает себя. Ни контрапункта, ни закона перспективы, ни чего-либо подобного системе Станиславского. Нет мерил. Поэту не на что опереться — нет точки опоры вне его самого, вне своей индивидуальности... Ни сложных музыкальных инструментов, ни нот, ни кистей, ни красок, ни костюма, ни сцены — ничего. „Я сам свой инструмент“ — как сказано шутливо в „Гамлете“»².

Во всем этом нет ни рисовки, ни вызывающего нигилизма: словесно-художественное творчество редко предъявляет к автору требования теоретического осмысления предшествующей литературы. Разумеется, поэт заставит некую сложившуюся ритмическую традицию, которую он преобразует или развивает: «Ритм — это печать социальной основы, на которой развилась поэзия... Любое изменение во взглядах индивидуума на отношение его к обществу выражается в изменении его отношения к сложившимся до него метрике и ритмическим условностям, которые он, выступая в роли поэта, изменяет в том или ином направлении»³. Ритм берется здесь лишь в качестве примера; то же относится и к другим художественным категориям словесного искусства: если поэтическому творчеству и предшествует анализ, то всего чаще — интуитивный; поэт постигает механизм стихов «силой магнетизма».

Перевод — искусство вторичное, репродуктивное. «Магнетизмом» не ограничившись: переводчик призван воспроизвести не собственные переживания по поводу фактов действительности или даже по поводу переживаний иноязычного автора; его задача — средствами другого языка пересоздать произведение, уже созданное до него, уже существующее как художественная целостность, как однажды возникшее единство смыслового содержания и словесной формы. Напомним запись А. Блока в его дневнике: «„Чтоб он, воскреснув, встать не мог“ (моя), „Чтоб встать он из гроба не мог“ (Лермонтов, сейчас вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — „содержание“, что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание, само по себе, не существует, не имеет веса» (запись от 13 июля 1917 г.)⁴.

Творчество переводчика всякий раз оказывается созданием нового поэтического содержания, новой целостности. Теоретик перевода Г. Гачечиладзе прав, утверждая: «С первого взгляда кажется, что перевод действительно невозможен, если воссоздание произведения возможно лишь путем повторения единства формы и содержания, а основным элементом этой формы является язык, на котором произведение написано. Но из этого кажущегося логического тупика есть выход: перевод есть творчество. Творчество потому, что в нем воссоздаются форма и содержание не в отдельности, а в единстве... Переводчик должен создать аналогичное оригиналу единство формы и содержания»⁵.

Для того чтобы заново, средствами другого языка, создать художественное содержание, представляющее собой сложную целостность смысло-

² Е. Винокуров, *Поэзия и мысль*, М., 1966, стр. 33—34.

³ К. Кодуэлл, *Иллюзия и действительность. Об источниках поэзии*, М., 1969, стр. 170—171.

⁴ А. Блок, *Записные книжки*, М., 1965, стр. 378.

⁵ Г. Р. Гачечиладзе, *Проблемы реалистического перевода*. Автореф. докт. диссерт., Тбилиси, 1961, стр. 26—27.

вых и формальных, внутренних и внешних, экстралингвистических и лингвистических компонентов, необходимо разобраться в структуре этой целостности, подвергнуть ее многостороннему анализу, который неизбежно предшествует художественному синтезу, т.е. созданию произведения переводного. Такой анализ нередко осложнен рядом привходящих факторов: исторической дистанцией, специфической выразительностью национальных реалий, наличием в тексте оригинала особых, читателю подлинника без дополнительного комментария понятных литературных аллюзий и т.п. Зачастую нет принципиальной возможности вычленив из текста одни только чисто лингвистические факты: они органически слиты с внелингвистическими. В. Гюго еще в 1834 г. писал: «У мысли всегда — одна только форма, свойственная ей, и она является наилучшей формой мысли, ее полной, неоспоримой, главной формой, безусловно предпочтительной и неизменно рождающейся вместе с этой мыслью в мозгу гениального человека. У великих поэтов нет ничего более неразрывного, ничего более слитного, ничего более сущностного, чем мысль и выражение этой мысли. Отнимите у Гомера его форму, и у вас получится Битоба»⁶.

Если вернуться к фразеологии Е. Винокурова, то можно сказать: в отличие от оригинального писателя, переводчик создает не себя, а другого; ему е с т ь на что опереться, у него е с т ь точка опоры вне его самого, вне его индивидуальности. У него е с т ь мерило, — им является подлинник. Переводчик не может сказать вслед за Гамлетом: «Я сам свой инструмент». Его инструмент — его родной язык, на котором он призван разыгрывать произведение, созданное его предшественником на другом языке. Он должен так прочесть партитуру, написанную этим его предшественником, и так исполнить ее, чтобы и в самом деле великий Гомер не превратился в банального Битоба. Разглядеть точку опоры, определить мерило переводчику помогает наука, — «силой магнетизма» в структуре разобраться нельзя. Все дело, однако, в том, какая это наука. Может быть, сравнительная лингвистика, как утверждают некоторые теоретики?

Так называемая «лингвистическая теория перевода» ставит перед собой задачу установления грамматических и лексических эквивалентов, которые должны или могут быть использованы при переводе с одного языка на другой. У этой теории немало приверженцев, особенно в западноевропейской и американской филологии. В одном из последних трудов, принадлежащих к этому направлению, читаем: «Теория перевода занимается определенным видом соотношений между языками и является, следовательно, отраслью сопоставительного языкознания... „Перевод“ можно определить следующим образом: замена текстового материала на одном языке (SL) эквивалентным текстовым материалом на другом языке (TL)... При п о л н о м переводе весь текст подвергается переводному процессу; это значит, что каждый элемент текста SL заменяется текстовым материалом TL»⁷.

Лингвистическая теория в последние годы интенсивно разрабатывалась рядом ученых, исходящих, в сущности, из того постулата, который так отчетливо сформулирован Дж. Кэтфордом: процесс перевода можно свести к замене одной языковой формы другой. Мы, разумеется, несколько упрощаем, — например, Ж. Мунену в его книге «Теоретические проблемы

⁶ V. H u g o, *Littérature et philosophie mêlée*. Préface (1834). Битоба (1732—1808) — французский переводчик Гомера, переложивший «Илиаду» и «Одиссею» манерной прозой XVIII в.

⁷ J. C. C a t f o r d, *A linguistic theory of translation. An essay in applied linguistics*, London, 1965, стр. 20—21; см. также: R. J a c o b s o n, *On linguistic aspects of translation*, в кн. «On translation», Cambridge (Mass.), 1959; E. A. N i d a, *Toward a science of translating*, Leiden, 1964.

перевода» перевод представляется операцией гораздо более сложной в книге Мунена имеются следующие главы: «Языкознание и перевод», «Языковые препятствия», «Лексика и перевод», «„Видение мира“ и перевод», «Различные цивилизации и перевод», «Синтаксис и перевод»), но и здесь утверждается: «Теоретические проблемы, выдвигаемые законностью или беззаконностью акта перевода, его возможностью или невозможностью, могут быть в первую очередь освещены лишь в рамках лингвистической науки»⁸. Так ли это? В самом ли деле в основе теории перевода лежит именно языкознание? Языковая форма художественного произведения — не внешняя его оболочка; она лишь один из элементов формы вообще, а значит и целостности «содержание — форма». Рассуждая механистически, можно установить такое соотношение: 1) идея (мысль) — содержание, образ — форма; 2) образ — содержание, язык (словесное воплощение) — форма. При этом то, что является формой в первой оппозиции, становится содержанием во второй, а язык предстает как бы формой формы, т.е. формой внешней, в отличие от образа, выступающего как форма внутренняя. При таком подходе процесс перевода оказался бы заменой внешней формы, а не пересозданием произведения. Это рассуждение, однако, неверно: отделить внутреннюю форму (образ) от внешней (язык) чаще всего невозможно; языковое воплощение входит в структуру образа и, лишившись формы, образ, а с ним и идея, перестают существовать («бесформенное содержание... не имеет веса» — Блок). Отдельно лингвистической проблемы художественного перевода попросту не существует — ее следует рассматривать в сопряжении со всеми другими проблемами, связанными с текстом — поэтикой, стилистикой, даже психологией. Убедительно писал по этому поводу польский философ-эстетик Р. Ингарден в работе «Поэтика и языкознание»; задачи поэтики, по его мнению, скрепляются с задачами языкознания, но выходят далеко за его границы. «Если поэтика, — говорит Ингарден, — позволит языкознанию убедить себя в том, что словесно-художественное произведение не что иное, как „особым образом организованная речь“, то на ее долю вместо полноценного содержательного и многослойного произведения искусства достанется лишь нелепый обрубок, с которым нечего будет делать»⁹.

Р. Ингарден совершенно прав: проблемы поэтической речи и поэтики «скрепляются» с лингвистическими, но ни при каких обстоятельствах к ним не сводятся. Это, собственно, давно уже доказано в работах советских ученых даже двадцатых и тридцатых годов (Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Б. Томашевский, В. Виноградов и др.), а также в трудах Пражского лингвистического кружка (Я. Мукашювский). К ним примыкает замечательное исследование чешского ученого И. Левого «Искусство перевода» (1963), которому принадлежат следующие соображения: «В результате субъективного отбора и претворения элементов объективной действительности возникает художественное произведение или, точнее говоря, определенное идейно-эстетическое содержание, реализованное в языковом материале. И здесь полезно было бы различать две разные вещи, которые часто отождествляются: текст произведения и его содержательность, то, что мы, за отсутствием лучшего слова, могли бы определить как произведение в узком смысле слова.

Это разделение соответствует подобному же в языковом материале. В мельчайшей языковой единице — слове — понятию „текст произведения“ соответствует звуковая оболочка слова, а понятию „произведение в уз-

⁸ G. Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, 1963, стр. 17.

⁹ R. Ingarden, Poetik und Sprachwissenschaft, в кн. «Poetics», Warszawa, 1961, стр. 8—9.

ком смысле" соответствует семантическая функция слова; единство этих двух сторон, которому на уровне языка соответствует понятие "слово", обозначается на уровне художественной литературы как "произведение". Здесь недостаточно противопоставление содержания и формы, ибо "произведение в узком смысле слова" не просто содержание, а "сформированное" содержание¹⁰.

Характерно, что И. И. Ревзин, автор статьи «Семиотический комментарий к чешской книге о переводе», соглашается с этой точкой зрения, утверждая, что «такой подход отвечает не только требованиям современной поэтики, но и взглядам современной лингвистики и шире — семиотики... Синтез литературоведческой и структурно-лингвистической (или шире: семиотической) точки зрения плодотворен, но, по-видимому, не в области регистрации отдельных языковых особенностей, а на путях выяснения аналогичности проблем и подхода к ним. Так, на лингвистическом уровне интересны не отдельные явления, а целые системные ряды, непосредственно связанные с поэтической моделью (то есть сформированным содержанием)»¹¹.

2

Перед нами — фраза Гоголя: «Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник...» («Тарас Бульба»). И ее немецкий перевод: «Unter den schmalen Gesichtern glänzten die ungeheueren Züge eines Fleischers...»¹². Неверность перевода не только в том, что из трех определений дано лишь одно («узких»), а два эпитета («небольших и обыкновенных») опущены; и даже не в том, что слово «головы» передано словом «Gesichter» («лица») — в ином случае подобная замена была бы вполне допустимой. Повяť ошибку переводчика можно только, осознав образный строй гоголевского текста в целом. Описывается толпа, собравшаяся глазеть на казнь казаков; Гоголь изображает скопище уродов и кретинов. Уродство воплощено и в гротескно-противоестественном сочетании слов: *толпа голов, высовывал лицо, толстое лицо*. Все длинное описание выдержано в таком духе — оно противопоставлено эпически величавому ритмическому пассажу, в котором говорится о приговоренных к смерти: «Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихой горделивостью; ... они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап». Главное в предложении о мяснике — его гротескность и неестественность, его уродливая прозаичность, противоположная поэтической фразе о казаках, которая повторами (*они шли*), ритмом, высокой лексикой, архаически удлинненными словами в творительном падеже (*тихую горделивостью*) вносит в текст народно-песенное начало. Ничего этого переводчик не увидел; фраза о мяснике звучит у него литературно-гладко, с полной естественностью: вместо «из толпы... голов» у него «среди узких лиц», вместо «высовывал свое толстое лицо» — «блестели громадные черты» и т.д. Фраза же о казаках сливается со всем предшествующим текстом — она лишена и повторов, и ритма, и архаичности, и народной песенности: «Diese gingen mit entblößtem Haupte, ihre Haarzöpfe hingen lang herab und alle hatten den Bart wachsen lassen. Sie schritten ohne Furcht und ohne Traurigkeit mit einer gewissen stolzen Ruhe vorwärts...».

В переводе текст Гоголя утратил художественное своеобразие. Конечно, расхождение перевода с оригиналом носит и лингвистический характер:

¹⁰ J. L e v ý, Umění překladu, Praha, 1963, стр. 18—19.

¹¹ Сб. «Мастерство перевода, 1966», М., 1968, стр. 430—431.

¹² «Russische Novellen von Nicolas Gogol. Mit einer Einleitung von F. Bodenstedt», Stuttgart, [5. r.], стр. 161.

ср., например, «с какою-то тихой горделивостью» и «mit einer gewissen stolzen Ruhe» («с каким-то гордым спокойствием»). Однако почти в каждом факте и гоголевской прозы и немецкого перевода сходятся линии языковые и общеэстетические, внутривербальные — и за пределами текста стоящие (как, например, напоминание о народно-эпической стихии, которое содержится в лексико-морфологических элементах и в ритме фразы о казаках).

Другой пример — из «Анны Карениной». Анна возвращается поездом из Петербурга, где она познакомилась с Вронским, в Москву; по дороге она читает какую-то английскую книгу:

«Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? „Чего же мне стыдно?“ — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские впечатления. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: „Тепло, очень тепло, горячо“. „Ну что же? — сказала она себе решительно, пересеживаясь в кресле. — Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?“ Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала» (ч. I, гл. XXIX).

В эпизоде поражает настойчивое повторение слова «стыдно». Слово это появляется неожиданно, — Анна относит его к герою романа и замечает, что разделяет с англичанином это чувство: «... она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого». Анна удивлена: сюжетом английского романа переживаемое ею ощущение не мотивировано. «Но чего же ему стыдно?» — спрашивает автор, передавая мысль Анны, и тотчас вслед за тем воспроизводит прямую речь своей героини, повторяющей его, автора, вопрос, но с измененным местоимением: «Чего же мне стыдно?». Затем Анна перебирает свои впечатления, и с перерывом повторяется та же, только чуть перестроенная фраза: «Стыдного ничего не было», а потом опять: «... ничего не было стыдного». Одновременно со звучанием этих слов в ее сознании, стоило ей только вспомнить о Вронском, — «... чувство стыда усиливалось». Семикратное тверждение одного слова в разных сочетаниях передает процесс ощущения — сперва неосознанного, рождающегося где-то под порогом сознания, затем постепенно осмысливаемого (тут-то и дается поразительный по экспрессии переход от авторской речи к прямой речи персонажа), но все еще — непонятного, и наконец (как в детской игре «тепло, очень тепло, горячо») обнаруженного, понятного, — оно осознано, наречие «стыдно» превратилось в группу существительных — «чувство стыда», и хотя Анна не желает соглашаться с реальностью этого чувства, оно все же заставляет ее «решительно», в прямой речи, словами формулировать его источник. Правда, и в прямой речи Анна выражается не прямо, а заменяет свое переживание указательным местоимением «это», превращающимся в существительное: «... Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это?». Но затем, исполненная окончательной решимости, уже называет и «офицера-мальчика», и «отношения» с ним. Слово «стыдно» постепенно движется из подпороговой сферы в область сознания, превращается из наречия в существительное, а затем мате-

риализуется в подчеркнуто конкретной, чуть ли не циничной формулировке.

Казалось бы, чего проще — перевести эту сцену? Надо передать повторы слов и движение от наречия к существительному, соотношение авторской и прямой речи, а в самой авторской речи воспроизвести предельно точные сочетания-характеристики: «с оскорбленным удивлением», «презрительно усмехнулася». Однако французский переводчик ничего этого не сделал. Прежде всего, он снял повторы, опустив их или заменив синонимами: «... il lui sembla tout à coup qu'il y avait là pour le nouveau baron un *sujet de honte*, et pour elle aussi. „Mais de quoi avait-il à rougir? — Et moi, de quoi serais-je *honteuse*?“ se demanda-t-elle [...] y avait-il là rien dont elle dût être *confuse*? Et cependant le *sentiment de honte* augmentait à ce souvenir...»¹³. Вместо семи п о н я т и е «стыдно» повторено лишь пять раз, — дважды оно просто опущено; да и в этих пяти случаях использовано четыре синонима. Пропущен, например, необыкновенно важный повтор целого предложения: «Стыдного ничего не было» — «ничего не было стыдного»; первое снято, оно переводчику мешало, вместо второго читаем: «Что же во всем этом было такого, чего она должна была стесняться». Далее, убран еще один важный повтор — «это»; вместо него в первый раз сказано: «Quoi, qu'est-ce *cela* signifie?», а во второй: «... aurais-je peur de regarder *ces souvenirs* en face?...» Есть в тексте Толстого еще один чрезвычайно содержательный повтор: «Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте *воспоминаний* чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она *вспомнила* о Вронском, говорил ей...». Четырехкратное повторение глагола *вспомнила*, поддержанное существительным *воспоминаний*, играет такую же роль, как и повторение слова *стыдно*: мысль Анны мучительно топчется на месте, перебирает все снова одно и то же, пока не упирается в разгадку. Во французском переводе: «Elle *se rappela* le bal, Wronsky, ses rapports avec lui, son visage humble et amoureux; y avait-il là rien dont elle dût être *confuse*? Et cependant le *sentiment de honte* augmentait à ce *souvenir*, et il lui semblait qu'une voix intérieure lui disait à propos de Wronsky...» У Толстого п я т ь повторов, у переводчика — н и о д н о г о.

Весь этот гениальный кусок толстовской прозы построен на повторениях настойчивых, бросающихся в глаза: *стыдно — стыдно — стыдно — стыдно — стыдного — вспомнила — вспомнила — вспомнила — стыдного — воспоминаний — стыда — вспомнила — ну что же? — Что же это значит? — Ну что же? — это — это...* В переводе повторов нет совсем — никаких. Почему? Может быть, их невозможно передать по законам французского языка? Но вот есть у Мопассана рассказ «Мартина», где влюбленный в главную героиню крестьянский парень Бенуа косноязычно твердит слово «это» вместо «любовь», и даже авторская первая фраза гласит: «*Cela lui était venu un dimanche...*», а затем нам встретится: «*ça lui venait comme ça*», «*ça ne passait pas*», «*ça ne peut plus durer comme ça*». Бенуа н е у м е е т назвать свою любовь, Анна Каренина боится сама себя и называть н е х о ч е т — но этот тот же прием¹⁴.

Нет, по-французски повторы возможны в такой же степени, как и по-русски. Переводчик их либо не увидел, либо не оценил: и то, и другое может быть следствием лишь того факта, что он, переводчик, миновал ста-

¹³ L. Tolstoï, Anna Karénine, Paris, 1886, стр. 104.

¹⁴ Кстати сказать, во всех русских переводах этот повтор у Мопассана резко ослаблен — словно бы для того, чтобы расквитаться с французами за «Анну Каренину».

дию научно-филологического анализа. А такой анализ вырывается за пределы лингвистического: он требует выхода в эстетику и психологию. Внутри текста как совокупности языковых фактов многое можно не заметить; возникает естественная аберрация зрения, которая и проявилась у переводчика «Анны Карениной», исказившего роман Толстого до неузнаваемости.

Сказанное относится, разумеется, только к переводу художественному, представляющему совершенно отдельную проблему, которая с переводом текстов научных и деловых почти ничего общего не имеет, кроме разве что чисто лингвистической основы процесса перевода. В художественном произведении слово — элемент особой системы, внутри которой действуют свои, каждый раз иные закономерности. Конечно, без лингвистики не обойтись, но она истолковывает лишь низший уровень переводческого творчества, тот, на котором снято различие между текстами разных типов, — между газетой и романом, учебником физики и «Божественной Комедией», дипломатическим документом и Библией.

3

Всякое произведение искусства единственно и неповторимо, — это положение относится также и к произведениям переводного искусства. Но в каждом виде художественного творчества есть немало элементов, в своей совокупности составляющих традицию, которая поддается теоретическому изучению и до некоторой степени «формализации». Так, осмысляя поэтическое наследие Шекспира-сонетиста, нам труднее всего теоретически систематизировать индивидуальный вклад гениального лирика в английскую и общечеловеческую поэзию, но выполнению этой важнейшей задачи должна предшествовать работа осуществляемая — определить элемент традиции в сонетах Шекспира: самое форму сонета, разработанную итальянскими поэтами треченто и видоизмененную англичанами более позднего времени, — эвфуистическую поэтику предшественников Шекспира, его учителей и противников, и т.п. Лишь на фоне традиции можно осознать роль шекспировских художественных открытий. Традиция же поддается даже известной «формализации» (например, вопросы строфики и стихосложения).

Для теории перевода следует прежде всего выделить те элементы, которые стоят за пределами индивидуального творчества и являются как бы его предпосылками. Таких элементов в переводном творчестве гораздо больше, чем в творчестве оригинальном. Их обилие объясняется тем, что при переводе неизбежно сталкиваются два языка, две национальные культуры, две системы вкуса, два различных — как правило — исторических уровня цивилизации, две традиции, и, наконец, — если речь идет о переводе стихов, — две просодические системы. Разработка таких сопоставительных рядов позволяет выяснить закономерности, проявляющиеся в деятельности писателей-переводчиков. С другой стороны, теория призвана и облегчить творческий труд современных переводчиков. Такова обычная роль теории: объясняя явления прошлого, осмысляя исторический процесс, она способствует прогрессу, т. е. воздействует на настоящее и открывает пути в будущее, предвидит его.

Первый уровень сопоставления, с которым имеет дело переводчик — уровень языковой. Переводчик стоит лицом к лицу с двумя более или менее различными системами языков, и порой ему кажется, что он только с языками и имеет дело. На этом уровне ему иногда приходится делать пессимистические выводы, констатируя невозможность перевода, т. е. адекватного пересоздания содержания в формах иного языка. В этом пессимизме его поддерживают некоторые теоретики-лингвисты.

Известно, что В. Гумбольдт выдвинул идею о языке как о мировоззрении. В классическом труде «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» он писал: «... каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг». А так как — с точки зрения Гумбольдта — «язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык», «язык есть душа во всей ее совокупности»¹⁵, то эти круги, описываемые каждым языком вокруг народа, которому он, язык, принадлежит, по сути дела непроницаемы друг для друга. Каждый язык есть законченная система мировоззрения, передать одно мировоззрение средствами другого мировоззрения — нельзя. В новейшем западном языкознании идеи В. Гумбольдта получили дальнейшее развитие и в трудах ряда неогумбольдтианцев оказались доведенными до крайнего предела. Напомню о так называемой гипотезе Сепира — Уорфа, рассматривающей вопрос о влиянии языка на становление мировоззренческих категорий, а также о концепции немецких ученых Л. Вайсгербера, И. Трира и других. С точки зрения названных исследователей, разные языки дают различные «картины мира» (Weltbild), они обладают преобразующей силой и в ту или иную сторону направляют познавательную деятельность. Так, Б. Уорф писал: «Понятия „времени“ и „субстанции“ не даются в опыте людям абсолютно одинаковым образом, но зависят от природы языка или языков, с помощью которых развиваются эти понятия». Б. Уорф, выдвигая проблему «язык и культура», устанавливает мощное влияние «лингвистических моделей на культурные нормы», т.е. видит в «метафизике языка» одну из важнейших причин, определяющих склад «национального» мышления и нормы поведения. Формула Уорфа гласит: «Каждый язык обладает своей метафизикой»¹⁶.

Л. Вайсгербер и Б. Уорф специально теорией перевода не занимались. Но их «лингвистическая метафизика» служит теоретическим обоснованием отрицания всякого художественного перевода. В работе Г. Зейдлера «Поэзия. Сущность, форма, бытие», например, утверждается, что «каждая языковая общность связана со своим языком, и эта языковая общность находит выражение для своей картины мира и для своей внутренней позиции именно в языке». Далее Зейдлер говорит о непреодолимой трудности «перелить некий специфический языковой мир» в другую языковую форму, потому что, по его мнению, «дело обстоит не так, будто бы различны лишь языковые воплощения при равенстве воплощенных духовных миров; именно в специфичности языковых воплощений находят свое выражение духовные миры, — они различны так же, как различны языки». «Чем глубже мы заглядываем в духовные миры, чем пристальнее рассматриваем глубокие внутренние побуждения, восприятия и отношения, тем мы видим более принципиальные различия. Это прежде всего относится к поэзии, поскольку она питается этими глубочайшими языковыми явлениями»¹⁷.

Итак, Г. Зейдлер, устанавливая понятие «специфического языково-духовного мира», приходит к выводу о принципиальной его непередаваемости средствами другого языка: духовный склад нации проявляется в данной специфической языковой форме и не может быть полноценно выражен средствами другого языка, не может перевоплощаться в другую языковую форму. Зейдлер делает из этой посылки весьма сомнительный, но в

¹⁵ W. von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, «Gesammelte Werke», 6, Berlin, 1848.

¹⁶ B. L. Whorf, Language, Thought and Reality, New York, 1956.

¹⁷ H. Seidler, Die Dichtung. Wesen, Form, Dasein, Stuttgart, 1959, стр. 244.

его системе вполне логичный вывод о том, что «различия тем более велики, чем языки дальше друг от друга и более чужды друг другу, тогда как при близкородственных языках мосты перебрасываются проще и легче». Анализ соотношений между такими близкими, родственными языками, как русский и украинский, русский и польский, русский и болгарский, немецкий и идиш, привели исследователей (ср., в частности, работы В. М. Россельса) к мысли о том, что перевод в пределах этих языковых пар нередко более труден, чем в пределах более чуждых друг другу языков. Зейдлер ссылается на неперебиваемость отдельных слов, обобщающих различный историко-культурный опыт нации (например, нем. *Gemüt*, франц. *esprit*, англ. *spleen*), на стилистическое отличие форм, кажущихся в различных словах сходными (у Георга Тракля «*Abgelebtes*»: ср. со славянскими типа «отжившее», — в последнем случае это привычные и естественные образования), и делает вывод: «Значит, в обоих языках они имеют различный стилистический вес». Наконец, Зейдлер отмечает и то, что в разных языках живут различные идеалы красоты художественно-языкового воплощения: «Французский стремится к ясному, социально удовлетворяющему воплощению, английский — к возможно более полному достижению определенной цели, немецкий — к самостоятельности отдельных образований».

Перед переводчиком стоит труднейшая и неблагодарнейшая задача, которая почти не выполнима: «Поэтическое произведение, растущее на почве определенного языка и из него тянущее нужные ему соки, существующее только в этом языке и благодаря ему, вместе с ним развертывающее свои возможности и свою красоту, нужно перенести в другой, нередко совсем отличный язык. В сущности говоря, поэтический перевод как совершенное произведение невозможен»¹⁸. И все же Зейдлер подчеркивает даже тот факт, что с развитием искусства перевода развивается, обогащается, развертывается язык перевода — это доказывается историей переводов на немецкий язык: «не случайно, что момент наивысшего подъема немецкого языка для поэзии совпал с моментом, когда создавались наиболее значительные переводы».

Переход от Л. Вайсгербера к Г. Зейдлеру с достаточной ясностью свидетельствует о том, как в проблемах теории перевода языковедение тесно связано с литературоведением, с общей эстетикой. Неогумбольдтианское понимание языка как метафизики ведет к отрицанию перевода как полноценной художественно-языковой деятельности.

В теории и критике перевода резко обозначались два направления, которые подчас проявляют ничем не объяснимую нетерпимость друг к другу: лингвистическое и литературоведческое. «Вначале было слово», — утверждают сторонники языковедческого подхода, считающие теорию перевода прежде всего областью лингвистики. «Вначале был художественный образ», — утверждают их противники, которые считают, что только исключительно литературоведение — та наука, которой надлежит исследовать художественный перевод: ведь он относится к области искусства, а, значит, лингвистике ни в какой степени не подведомствен. Уже изложенные выше соображения о научных доводах неогумбольдтианства свидетельствуют в пользу языковедения: нельзя, создавая теорию вторичного литературного творчества, каковым является перевод, отмахнуться от решения таких кардинальных для теории перевода вопросов, как взаимоотношение языка и мышления, роль языка в процессе познания, соотношение языковых систем и тех «национальных типов мышления», о которых говорят современные сторонники «метафизической лингвистики». Не решив эти проблемы, нельзя решать и чисто эстетические, каковы, например, проблема соотно-

¹⁸ H. Seidler, указ. соч., стр. 668.

шения единства содержания и формы в оригинальном и переводном поэтическом произведении или проблема воссоздания средствами другого языка ка национально-исторического своеобразия оригинала.

Мнимые противоречия между языкознанием и литературоведением в области теории художественного и прежде всего поэтического перевода снимаются в сфере филологии в широком смысле слова, — в данном случае в сфере стилистики или, точнее говоря, той новой науки, которая пока делает лишь первые шаги — сопоставительной стилистики. Данный термин требует пояснения — главным образом потому, что автор этих строк толкует его весьма расширительно и во всяком случае иначе, чем некоторые его иностранные коллеги.

В последнее время появились — в основном во Франции — многочисленные сочинения, посвященные вопросам сопоставительной стилистики. Таковы, например, книги, выходящие в серии «Библиотека сопоставительной стилистики» под общей редакцией А. Мальблана (начиная с 1961 г.). Однако эти труды, по сути дела, представляют собой сочинения по сравнительному языкознанию на уровне лексико-грамматическом. В целом, работы школы А. Мальблана интересны, они вскрывают некоторые существенные особенности изучаемых языков. Однако на одной из первых же страниц своего исследования Мальблан цитирует слова Гумбольдта, служащие ему как бы эпиграфом: «Различие языков заключается не в различиях звуковой оболочки и знаков, но в различии самих мировоззрений. В этом — и основание, и конечная цель всякого лингвистического изучения»¹⁹. (Заметим, кстати, что и Л. Вайсгербер цитирует эти строки Гумбольдта как наилучшую, классическую формулировку его, Вайсгербера, точки зрения.) Однако если самый строй языка отражает (или определяет) специфический строй национального мышления, то все в языке становится стилистическим — все факты морфологии, синтаксиса, лексики, идиоматики. Если же все в языке оказывается стилистикой, то стилистика как таковая утрачивает свои границы, она сливается с лексикологией и грамматикой. Мальблан заходит в этом отношении настолько далеко, что даже задает вопрос: «Разве не увлекательнейшее предприятие — определить долю языковых влияний в сопоставляемых классических произведениях двух стран и обнаружить эти влияния даже в философии? Может быть, именно родной язык, или знание другого языка дали мыслям Декарта или Бергсона, равно как мыслям Канта, Гегеля и Карла Маркса определенное направление? А как обстоит дело с Лейбницем, который был двуязычен? В языках, — заявил однажды Кайзерлинг, — заключены самые глубокие философии»²⁰. Так доводится до логического предела идея, полтора столетия назад высказанная В. Гумбольдтом. В сущности, современные французские стилисты утратили свой объект: в их сознании стилистика отождествляется с языком в целом. Нужно сказать, что при внешнем совпадении терминологии мы очень далеки от этих языковедов-компаративистов. Их исследования по сопоставлению лексики и грамматики могут послужить лишь элементарной базой для той сопоставительной стилистики, которую мы имеем в виду, полагая, что для изучения закономерностей, рождающихся в процессе перевода поэзии, необходимы следующие типы или уровни сопоставлений: 1) сопоставление систем двух языков (грамматический строй, лексика и фразеология и т. д.); 2) сопоставление стилистических систем двух языков (например, законы формирования функционально-речевых стилей, соотношение в

¹⁹ A. Malblanc, *Stylistique comparée du français et de l'allemand*, Paris, 1961, стр. 16.

²⁰ Там же.

в каждом данном языке литературной нормы с диалектами, жаргонами, просторечием); 3) сопоставление традиционно-литературных стилей в пределах двух языков (например, языковых стилей классицизма, сентиментализма, романтизма, или, более конкретно, определенных узко-жанровых стилей — оды, элегии, басни и т. д.); 4) сопоставление двух специфически-национальных просодических систем (например, французской силлабики и русской силлабо-тоники, античной метрической просодии и немецкой или русской чисто тонической); 5) сопоставление историко-культурных традиций двух национальных цивилизаций, так или иначе проявляющихся в национальной традиции стихотворного перевода; 6) сопоставление двух индивидуальных художественно-стилистических систем (автора оригинала и автора перевода).

Полноценный анализ всякого художественного перевода, идет ли речь о новелле, драме или романе, о лирической миниатюре или эпической поэме, должен включать в себя все эти уровни сопоставления, — только в своей совокупности они образуют то, что мы называем сопоставительной стилистикой, наукой, которая, как можно видеть из приведенного перечисления входящих в нее аспектов, должна органически сочетать в себе лингвистику и литературоведение.

Приведу пример. Знаменитое стихотворение Верлена использует специфические черты французского языка.

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur?
O doux bruit de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s'ennuie
O le chant de la pluie!
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s'écœure.
Quoi? Nulle trahison?
Ce deuil est sans raison.

.....

К таким специфическим французским особенностям относится лексика (синонимический ряд *langueur, s'ennuie, deuil*), неологическое образование *il pleure* по аналогии с *il pleut*, своеобразный синтаксис предложений, начинающихся с *O* — в особенности второго (*O le chant de la pluie*), особый фонетический строй с использованием такой полной внутренней рифмы, как *cœur* и *s'écœure* и т. д. С. Цвейг, который перевел эту лирическую пьесу, воспользовался рядом специфических черт своего языка, немецкого:

Wie nun des Regens Gerinn
rauschend die Stadt umsingt,
fühl ich ein Trauern, das in
meine schauernde Seele dringt.
Regen, o Regensang,
dächer- und bodenwärts,
was bist du für lieber Gesang
für ein einsames Herz.
Dein Klingen und Klagen, es klopft
mir auch im Herzen, daß heiß
sich in Tränen zertropft
und doch seine Trauer nicht weiß...

Только немецкому языку присуща возможность таких словообразований, как *umsingt, Regensang, dächer- und bodenwärts, sich zertropft*... По-фран-

цузски монотонность передана рисунком строфы со схемой рифмовки абаа; по-немецки она же дана почти невозможным для французской поэзии нагнетанием одних только мужских окончаний при более привычной схеме перекрестной рифмовки abab. Французские звуки *pl — l* в словах *pleure — pleut — ville — langueur — pluie* заменены звуком *sch* в словах *rauschend — Stadt — schauernde*. Французский шестисложный стих передан характерным для немецкой лирики и во французской невозможным дольником. Сочетание *cœur qui s'écœure* компенсировано иным — *Klingen und Klagen*. Внимательно присмотревшись к обоим стихотворениям (они даны здесь без последней строфы), мы увидим, как в этом очень хорошем и верном переводе отразились и языковые, и стилистические, и историко-культурные, и просодические, и даже индивидуальные художественно-стилистические расхождения между французской и немецкой поэзией, а также между Верленом и Цвейгом. Впрочем индивидуальные расхождения становятся еще яснее при сопоставлении подлинника с известным переводом Б. Пастернака:

И в сердце растрava,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.
Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

Это — самостоятельное стихотворение, восходящее к Верлену, но отдалившееся от него вследствие как общих языковых и культурных расхождений, так и — в особенности — расхождений поэтических индивидуальностей автора и переводчика ²¹.

4

Сопоставление стилистических ресурсов двух языков — необходимейшее условие построения теории перевода, без которого деятельность в области художественного перевода оказывается весьма затрудненной. В пределах каждого языка существуют свои темпы изменения структуры того или иного речевого стиля. В Германии тридцатых — сороковых годов официальный стиль и стиль газетно-публицистический резко изменились под влиянием фашизации страны; за то же время функциональные стили, скажем, французского языка особых изменений не претерпели. Учет соотношений между структурными и эволюционными особенностями функциональных стилей необходим для теоретика художественного перевода. Разработка, изучение этих соотношений весьма облегчит работу практиков перевода, подведет под нее необходимую теоретическую базу.

Разумеется, каждый переводчик не только может, но даже обязан самостоятельно проделывать работу по стилистическому сопоставлению языков, с которыми ему приходится иметь дело. Однако глубокая теоретическая работа в этой области освободила бы его от случайных выводов

²¹ Подробнее об этом переводе Б. Пастернака см. в моей книге «Поэзия и перевод» (Л., 1963, стр. 402—404).

и доморощенных открытий. Теория художественного перевода, основанная на сопоставительной стилистике, нужна для практиков-литераторов не в меньшей, а, надо думать, в гораздо большей степени, чем, скажем, теория литературы, поэтика, метрика и ритмика — прозаикам и поэтам. Сопоставительная стилистика — необходимая предпосылка полноценного творчества в области художественного перевода.

Советская наука уже давно занимается рассмотрением теоретических вопросов перевода, — причем в зависимости от интересов автора делает крен то в эстетическую сторону, то в чисто лингвистическую. К первому направлению относятся многие статьи и книги, начиная с созданной «Всемирной литературой» брошюры «Принципы художественного перевода» (1919), в которую вошли статьи К. Чуковского о переводах прозы и Н. Гумилева о стихотворных переводах; со временем статья К. Чуковского превратилась в книгу «Искусство перевода» (1936), и, позднее, в «Высокое искусство» (1941, 1964, 1966, 1968), в которой были сформулированы важнейшие принципы советской школы перевода; эту линию эстетического подхода продолжили такие ученые, как М. П. Алексеев («Проблема художественного перевода», 1931), А. В. Федоров в книге «О художественном переводе» (1941), А. А. Смирнов (статья «Перевод» в «Литературной энциклопедии»), М. М. Морозов, П. М. Топер, В. М. Россельс (многочисленные статьи), И. А. Кашкин. Другое направление, делающее упор на языковые сопоставления, наиболее отчетливо выражено в книге А. В. Федорова «Введение в теорию перевода» (1953, 2-е изд. — 1958, новое изд. — 1968 г. под измененным названием «Основы общей теории перевода»), во многих работах Д. И. Рецкера, Л. С. Бархударова, В. Г. Гака, С. С. Толстого, А. М. Финкеля и др.

В последние годы более или менее регулярно выходят в свет теоретические сборники: «Тетради переводчика» (изд. Института международных отношений, начиная с 1963 г. — 6 выпусков). «Мастерство перевода» (изд-во «Советский писатель», с 1959 по 1970 г. вышло 6 томов); в первой из этих серий преобладает проблематика лингвистическая, во второй — литературоведческая. Однако все больше пробивают себе дорогу и утверждают себя работы комплексные, пользующиеся сочетанием разных методов, привлекающие факты разных уровней — от общеэстетического ряда до лингвистического (В. Е. Шор, Ю. Д. Левин, В. Г. Адмони и Т. И. Сильман и др.). Стремление к комплексно-филологическому решению проблемы перевода отразилось в двухтомнике «Актуальные вопросы теории художественного перевода», изданном Советом по художественному переводу (1967) и представляющем собой материалы всесоюзного симпозиума, который был проведен в Москве в начале 1966 г.; анализируя этот сборник, польский рецензент Ст. Баранчак писал о том, что его авторы стремятся, с одной стороны, «к полной нобилизации переводческого дела как процесса творческого», а с другой, к созданию «однородной системы нормативных критериев, которая бы позволила справедливо оценивать перевод и давала бы возможность переводчику сделать правильный выбор из множества возможных решений. Получается, что, с одной стороны, переводчики претендуют на признание за ними права на творческую свободу, с другой стороны, жаждут, чтобы этой свободе были положены определенные границы»²².

С. Баранчак верно уловил главное противоречие, которое в настоящее время характерно для теории перевода. В сущности, это противоречие между двумя аспектами перевода: как искусства и как науки. По-видимому, необходимо перейти от общих деклараций к конкретным исследованиям.

²² Журн. «Nurt», Warszawa, 1968, 8.

Важнейшие постулаты теории перевода как определенного и теперь уже окончательно утвердившегося раздела филологии можно считать прочно установленными. Это — вопрос о переводимости («Переводимость не есть какая-либо природная способность того или иного языка или литературы по отношению к другим языкам, другим литературам. Эта способность развивается в процессе общего движения культур, литератур, языков, контактов между народами»²³); о принципе функциональных соответствий, вытекающих из понимания художественного произведения как словесно-образной системы; о соотношении объективного и субъективного начал в творчестве переводчика-писателя; о необходимости выработать достаточно отчетливые критерии для оценки художественной ценности переводного произведения; о пределах использования национально-специфических реалий и просторечных фразеологизмов в переводном тексте и т. д.

Теперь представляются насущно необходимыми конкретные исследования соотношения пар языков и национальных культур. Сопоставительная стилистика, задачи которой формулированы выше, опирается на сопоставительные изучения синтаксиса и семантики, фонетики и метрики, речевых и традиционно-литературных стилей, поэтических жанров, даже этнографии — такие изучения диктуются общим уровнем гуманитарной науки.

Есть еще одна важная проблема, стоящая перед теорией перевода как филологической дисциплиной. Новейшие исследования в области поэтики и стилистики открывают новые методы и формы анализа художественного произведения, позволяют увидеть в нем все более сложную систему (ср. работы В. В. Виноградова, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, чешских ученых Л. Долежала и К. Гаузенбласа, польского — Р. Ингардена и др.) — теория перевода заметно отстает от этих исследований: необходимо привести ее в соответствие с нынешним уровнем филологии. В этом нуждается не только отвлеченная наука, предъявляющая к исследователям свои особые требования, но и реальная практика художественного перевода, достоинства которого находятся в непосредственной зависимости от уровня теории именно потому, что перевод — деятельность двуединая, являющаяся в такой же степени искусством, как и наукой.

²³ А. В. Федоров, К вопросу о переводимости, в кн. «Актуальные проблемы теории художественного перевода», I, М., 1967, стр. 38.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Д. ШВЕЙЦЕР

К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА

Проблемы перевода привлекают за последнее время все большее внимание лингвистов. Нельзя не признать, что этому в немалой мере содействовали работы в области машинного перевода, пробудившие интерес к изучению лингвистических аспектов переводческой деятельности. Те трудности и препятствия, с которыми столкнулись теоретики автоматического перевода, сами по себе имели несомненное положительное значение, поскольку их преодоление потребовало более углубленного анализа механизма перевода с одного естественного языка на другой, осуществляемого человеком¹.

Вместе с тем характерный для машинного перевода формально-структурный подход к изучению процесса перевода нашел свое отражение в явно одностороннем освещении общетеоретических проблем перевода. Так, в интересной и содержательной книге И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга² делается попытка свести все многообразие переводческой деятельности к тем ее аспектам, которые поддаются рассмотрению с помощью «строго объективных методов» структурного анализа. Предвидя упрек в сознательном упрощении сложного и противоречивого явления, авторы ссылаются на известный принцип научного познания «от простого к сложному». Однако в ответ на это можно было бы возразить, что всякое упрощение имеет свои допустимые пределы. Если сведение сложного и многообразного явления к его простейшим, элементарным формам вполне закономерно и допустимо на определенном этапе научного анализа, то едва ли можно согласиться с таким упрощением, которое исключает из рассмотрения существенные, конституирующие признаки данного явления.

Поэтому никак нельзя признать способствующей уяснению сущности проблемы модель процесса перевода, которая исключает из него такой важнейший момент, как обращение к действительности, к реальной ситуации. Представление о переводе, осуществляемом человеком, как о порождении текста на переводящем языке (ПЯ), равнозначного тексту на исходном языке (ИЯ) по заданным соответствиям без обращения к действительности или к предшествующему опыту переводчика, явно идет вразрез со всем, что нам известно о реальных процессах перевода, осуществляемого человеком.

Отсюда следует, что деление переводческой деятельности на собственно перевод, осуществляемый по заданным правилам без обращения к

¹ A. G. Oettinger, *Automatic (transference, translation, remittance, shunting)*, «On translation», Cambridge (Mass.), 1959; см. также: И. Бар-Хиллел, *Будущее машинного перевода*, ВЯ, 1969, 4.

² И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, *Основы общего и машинного перевода*, М., 1964.

действительности, отраженной в опыте или восприятии переводчика, и интерпретацию, включающую привлечение экстралингвистических данных, не может быть признано плодотворным для лингвистического изучения процесса перевода. Для перевода, осуществляемого человеком, характерно органическое и неразрывное единство собственно лингвистических и экстралингвистических аспектов. Подход, основанный на анализе лишь формально-структурных закономерностей, не позволяет вскрыть взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на процесс «человеческого» (т.е. немашинного) перевода и определяющих его специфику. Не случайно искусственность дихотомии «перевод/интерпретация» обратила на себя внимание специалистов в области перевода, отмечающих, что «обращение к действительности (интерпретация) необходимо во всех случаях живой переводческой практики»³.

Говоря о том положительном вкладе, который внесли работы в области машинного перевода в разработку проблем общего перевода, следует указать, что они, несомненно, способствовали уточнению ряда важных понятий теории перевода и, в частности, сосредоточили внимание на изучении перевода как коммуникативного процесса. Помимо этого, они сыграли полезную роль, выявив некоторые существенные недостатки «традиционной» теории закономерных соответствий.

Теория закономерных соответствий, разработанная в трудах таких видных представителей советской переводческой школы, как А. В. Федоров и Я. И. Рецкер⁴, оказала и продолжает оказывать значительное влияние на разработку лингвистической теории перевода и на практику его преподавания как языковой дисциплины. Именно эта теория лежит в основе большинства учебников и практических пособий по переводу. Положительное значение этой теории заключается, прежде всего, в том, что вместо туманных и зачастую субъективно окрашенных рассуждений об адекватности она впервые предложила подход к переводческой проблематике, основанный на лингвистических принципах.

В настоящей статье едва ли есть необходимость перечислять те многочисленные ценные обобщения, которые удалось сделать сторонникам этой теории и которые, кстати говоря, нашли применение и в работах по машинному переводу⁵. Вместе с тем становилась очевидной уязвимость теоретического принципа, лежащего в основе установления закономерных соответствий между языком оригинала и языком перевода. Речь идет о том методе сопоставительного анализа, сущность которого заключается в том, что «от формальной категории как от объективной данности (например, от определенного типа слов, словообразовательных моделей, от порядка слов, от двусоставных предложений с определенным типом подлежащего и т. д.) исследователь идет к определению ее значений в одном языке и далее к выражающим эти значения формальным средствам другого языка (сопадающим или иным типам слов, к одинаковому или отличному порядку слов, двусоставным или односоставным предложениям и т. п.)»⁶.

Несмотря на признание роли контекста и необходимости учета функционально-жанровых характеристик переводимого текста, метод сопо-

³ Ю. Г. Кузьмин. К вопросу о предмете и методе теории перевода, сб. «Вопросы теории и практики научно-технического перевода», Л., 1968, стр. 8; ср. также: А. В. Федоров, Основы общей теории перевода (лингвистический очерк), М., 1968, стр. 19—20.

⁴ А. В. Федоров. Введение в теорию перевода, М., 1953; Я. И. Рецкер, О закономерных соответствиях при переводе на родной язык, сб. «Теория и методика учебного перевода», М., 1950.

⁵ См., например: И. И. Резвин, В. Ю. Розенцвейг, указ. соч., § 22.

⁶ А. В. Федоров, О задачах сопоставительного изучения языков, в кн. «Немецко-русские языковые параллели», М., 1961, стр. 19.

ставления «от языковой единицы к языковой единице» до сих пор продолжает занимать видное место в работах, основанных на теории закономерных соответствий. Об этом свидетельствует, в частности, цитируемая выше книга А. В. Федорова, где под рубрикой «Передача функции грамматического элемента, не имеющего формального соответствия в языке перевода» рассматриваются такие вопросы, как «Передача на русском языке функции артикля», «Перевод конструкций с неопределенно-личным местоимением» и др.⁷

Можно согласиться с И. И. Ревзиным и В. Ю. Розенцвейгом, полагающими, что при таком методе делается попытка установить непосредственную эквивалентность между сопоставляемыми единицами, следуя процедуре, принятой в двуязычных словарях⁸. Недостатком теории закономерных соответствий является, прежде всего, то, что она не учитывает или во всяком случае в недостаточной мере учитывает то обстоятельство, что перевод ни на стадии анализа исходного текста, ни на стадии порождения текста на другом языке не представляет собой простого сложения соотношенных друг с другом элементов. Более того, при таком подходе единицы различных уровней (морфологии, синтаксиса, лексики) рассматриваются раздельно, хотя известно, что в процессе перевода и исходным материалом, и конечным продуктом являются не языковые единицы, а речевые произведения, в которых явления разных уровней, взаимодействуя друг с другом, выступают в тесном нерасторжимом единстве.

Нельзя не заметить и другой недостаток подхода, основанного на нахождении закономерных соответствий между ИЯ и ПЯ — его статичность. Вместе с тем для построения теории перевода чрезвычайно важно выявить динамику процесса перевода. Иными словами, недостаточно сравнивать начальную стадию этого процесса с его результатом. Чрезвычайно важно ответить на другой вопрос: каким образом был достигнут такой результат. Ответ на этот вопрос обычно носил чрезмерно общий характер, формулировался в логических терминах (конкретизация, генерализация и т. д.) без должного лингвистического обоснования и фактически сводился опять-таки к сопоставлению единицы в исходном тексте с единицей в тексте перевода.

Допущение возможности перевода «на уровне языковых знаков» встречается даже в работах, авторы которых полностью отдают себе отчет в том, что в процессе перевода равнозначные отношения устанавливаются не между языковыми единицами, а между речевыми произведениями. Так, Л. С. Бархударов, справедливо указывающий на то, что «в отличие от внутриязыковой трансформации... трансформация переводческая заключается в изменении не языковых единиц, а речевых произведений»⁹, в одной из своих работ пишет о переводе на уровне слов, морфем и даже фонем¹⁰. При этом приводятся такие примеры, как англ. *lady* — русск. *леди* («перевод на уровне фонем») и англ. *president* — русск. *председатель* («перевод на уровне морфем»). Что касается первого примера, то даже если считать транслитерацию переводом, то и в этом случае совершенно ясно, что, во-первых, это слово, будучи однажды подвергнутым транслитерации в процессе заимствования, в дальнейшем не транслитерировалось каждый раз заново, а использовалось переводчиками как готовая едини-

⁷ А. В. Федоров, Основы общей теории перевода, стр. 208—247.

⁸ И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, указ. соч., стр. 33—34.

⁹ Л. С. Бархударов, Процесс перевода с лингвистической точки зрения, сб. «Конференция по вопросам теории и методики преподавания перевода. Тезисы докладов», М., 1964, стр. 9.

¹⁰ Л. С. Бархударов, Уровни языковой иерархии и перевод (на материале перевода с английского языка на русский), «Тетради переводчика», 1969, 6.

да и, во-вторых (что еще важнее), выбор именно этого варианта при переводе, т.е. *леди*, а не *дама* (ср. *a great lady* «знатная дама»), *жена* (ср. *Give my best regards to your lady*) или *богородица* (ср. *Our Lady*) определяется контекстом речевого произведения и невозможен без учета последнего. То же самое относится и к другому примеру. Разумеется, никто не переводит *president* поморфемно (*pre-sid-ent* — *пред-сед-атель*), а сам выбор именно этого варианта, т.е. *председатель*, а не *президент* (ср. *The President of the United States*) или *ректор* (ср. *the President of a University*) и в этом случае зависит от речевого контекста. Нетрудно доказать, что та же закономерность наблюдается и при сопоставлении слов.

Прав О. Каде, считающий, что вся сущность лингвистической проблематики перевода заключается именно в том, что в процессе перевода происходит актуализация языковых средств на уровне речи, тогда как на уровне языка семантико-функциональная сторона языковых знаков, как правило, не совпадает. Иными словами, отношения эквивалентности устанавливаются не непосредственно между знаком ИЯ и знаком ПЯ, а между знаком ИЯ + контекст и знаком ПЯ + контекст, т.е. между речевыми произведениями¹¹.

В связи со сказанным выше возникает вопрос: может ли общая теория перевода быть построена лишь путем выявления межъязыковых соответствий на том или ином уровне? Если это так, то в чем же тогда ее отличие от сопоставительной грамматики, сопоставительной семасиологии и сопоставительной стилистики¹²? Думается, что те межъязыковые параллели и расхождения, которые выявляются в этих дисциплинах, могут быть лишь базой для теории перевода¹³, но ни в коей мере не подменяют ее. Задача теории перевода заключается, на наш взгляд, в другом — в установлении общих закономерностей перевода как определенного вида речевой деятельности, в систематизации и обобщении тех операций, которые осуществляет переводчик в процессе перевода с одного естественного языка на другой и в выявлении факторов, определяющих принимаемое переводчиком решение.

На разработке теоретических проблем перевода в лингвистическом аспекте не могла не сказаться та внутрилингвистическая ориентация, которая до недавнего времени характеризовала некоторые школы и направления структурного языкознания. Исключение из рассмотрения экстралингвистических факторов или отведение им явно второстепенной, маргинальной роли, акцент на языке как на абстрактном конструкторе и связанный с этим взгляд на речь как на исходный материал, но не самостоятельный объект лингвистического описания — все это, как мы видели выше, нашло известное отражение и в теории перевода.

Нынешний этап развития науки о языке характеризуется, как известно, преодолением узости и ограниченности микролингвистического направления, отказом от чрезмерно упрощенных схем, стремлением к глубокому и всестороннему анализу естественных языков во всей их сложности и многообразии¹⁴. В связи с этим заметно расширился фронт исследовательских работ в области социолингвистики и психолингвистики, повысился интерес к изучению речи как «точки приложения» психологических и

¹¹ O. K a d e, Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung, Beihefte zur Zeitschrift «Fremdsprachen», Leipzig, 1968.

¹² Именно этот вопрос поставил в свое время А. А. Реформатский в своей статье «Лингвистические вопросы перевода» («Ин. яз. в шк.», 1952, 6).

¹³ См.: А. Ш в е й ц е р, К вопросу об анализе грамматических явлений при переводе, «Тетради переводчика», 1963, 1.

¹⁴ См.: О. С. А х м а н о в а, Естественный человеческий язык как объект научного исследования, «Ин. яз. в шк.», 1969, 2.

социальных факторов, оказывающих воздействие на язык ¹⁵. Тем самым были созданы объективные условия для расширения лингвистической базы теории перевода как прикладной отрасли языкознания. Те существенные аспекты перевода, которые в прошлом либо вовсе не принимались в расчет, либо явно недооценивались, стали объектом самого пристального внимания ¹⁶. В настоящей статье не представляется возможным подробно остановиться на всех этих аспектах. В дальнейшем изложении будет сделана попытка осветить ряд вопросов, связанных с двумя коренными проблемами теории перевода — перевод как коммуникативный акт и схемы реализации процесса перевода.

Вопрос о переводе как о коммуникативном акте уже неоднократно освещался в научной литературе ¹⁷. Представляется целесообразным взять за основу схему перевода как коммуникативного процесса, предложенную О. Каде ¹⁸.

Согласно этой схеме, перевод условно распадается на три фазы: I. Коммуникация между отправителем О и переводчиком, выступающим в функции получателя исходного сообщения П.

II. Мена кода ИЯ → ПЯ, осуществляемая переводчиком, выступающим на этот раз в функции «перекодировщика» ПК.

III. Коммуникация между переводчиком, выступающим в роли отправителя О' и основным получателем П'.

Рассматривая эту схему, следует иметь в виду, во-первых, что понятия «код» и «перекодировка» используются здесь не в строго терминологическом смысле, а скорее метафорически, так как, в отличие от простого перекодирования, когда между знаками одного кода и другого имеются сравнительно простые однозначные соответствия, преобразование речевых произведений (текстов) ИЯ в речевые произведения (тексты) ПЯ ставит переводчика перед неизмеримо более сложной проблемой ¹⁹, а во-вторых, что если фазы I и II действительно разделены во времени, то фазы II и III во времени совмещены и представляют собой скорее не различные этапы коммуникативного процесса, а различные задачи — нахождение варианта перевода, соответствующего содержанию исходного сообщения и нормам ПЯ, и учет специфики аудитории или адресата. Подробнее на этом мы остановимся ниже.

Однако важно другое — в этой схеме правильно обращается внимание на следующие существенные стороны перевода как коммуникативного акта: 1) акт перевода по существу распадается на два взаимосвязанных коммуникативных акта — коммуникацию между отправителем и переводчиком и коммуникацию между переводчиком и получателем; 2) переводчик, будучи одним из участников процесса коммуникации, попеременно выступает то в роли получателя, то в роли отправителя, и эта смена ролей оказывает существенное влияние на процесс перевода.

¹⁵ См., например: А. А. Леонтьев, *Общественные функции языка и его функциональные эквиваленты*, сб. «Язык и общество», М., 1968.

¹⁶ См., например, опубликованный в ГДР чрезвычайно интересный сборник «Grundfragen der Übersetzungswissenschaft» (Beihefte zur Zeitschrift «Fremdsprachen»), Leipzig, 1968.

¹⁷ См.: И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, указ. соч., стр. 46—47, 51—56.

¹⁸ O. Kade, *Kommunikationswissenschaftliche Probleme, der Translation*, «Grundfragen der Übersetzungswissenschaft», стр. 7.

¹⁹ См.: А. Д. Швейцер, *Возможна ли общая теория перевода*, «Тетради переводчика», 1970 (в печати). Это, по существу, признает и О. Каде, когда отмечает, что такой широко распространенный прием перевода, как парафраза, вообще нельзя считать перекодированием («Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation», стр. 16).

О. Каде справедливо указывает на то, что «в рамках взаимодействия между О и П и между О' и П' существуют факторы, оказывающие воздействие на процесс перевода»²⁰. Иными словами, конечный результат процесса перевода зависит не только от соотношения между текстом ИЯ и текстом ПЯ, но и от отношения между переводчиком и другими участниками коммуникативного акта. Даже в тех случаях, когда между переводчиком и другими участниками коммуникативного акта отсутствует прямой контакт (как, например, при письменном переводе), переводчик воспринимает текст на ИЯ как сообщение, исходящее от определенного отправителя и адресованное определенному получателю, и, строя сообщение на ПЯ, все время видит за ним ту аудиторию, которой адресуется перевод.

Рассматривая процесс перевода как двуязычный коммуникативный акт, необходимо иметь в виду, что для его характеристики чрезвычайно важно учитывать взаимодействие всех его компонентов — участников (отправителя, получателя, переводчика), каналов (устная и письменная речь, пресса и т.д.), ситуаций, в которых допускаются те или иные формы сообщений, форм сообщений и их жанров, а также тем или содержания сообщения. В соответствии с указанными компонентами в двуязычном, как и во всяком другом коммуникативном акте, выделяются следующие определяющие этот факт характеристики — металингвистическая (установка на код), денотативная или референтная (тема или содержание сообщения), экспрессивная (отношение отправителя к другим компонентам коммуникативного акта), идентификационная (идентификация отправителя), директивная (установка на получателя), контактоустанавливающая (установка на поддержание контакта), контекстуальная (установка на ситуацию или контекст), стилистическая или поэтическая (установка на форму сообщения)²¹.

Важность учета всех перечисленных выше речевых функций в процессе перевода самоочевидна. Компетентное владение ИЯ и ПЯ и умение сопоставлять их (металингвистическая функция) являются само собой разумеющейся предпосылкой успешного осуществления процесса перевода. Столь же очевидны и общеизвестны важность знания предмета или реальной ситуации (денотативная функция), необходимость учета контекста, стилистической и экспрессивной окраски подлинника. Поэтому представляется более существенным остановиться на других, менее ясных вопросах — на взаимодействии этих функций в процессе перевода и на их относительной важности.

Функциональные характеристики речевого произведения тесно переплетаются друг с другом. При этом функциональная роль казалось бы однотипных языковых средств может варьировать в зависимости от других функциональных параметров данного речевого произведения. Так, в романе М. Шолохова «Поднятая целина» диалектизмы и просторечная лексика в речи персонажей выполняют идентифицирующую функцию, придавая этой речи определенную социальную и локальную окраску. Эта функция передается немецким переводчиком с помощью немецкой разговорно-просторечной лексики: «Воротись зараз же, а то в амбар запру» — «Komm hierher, sag ich, sonst sperr ich dich in den Speicher»; «Сама с собой уж начала я гутарить» — «Ich fange schon an, Mensch, mit mir selber zu reden»; «...А вы сеете мелким рядком, наполовину реже, чем всегда...» — «...ihr sät sie nicht dicht, sondern etwa um die Hälfte weiter voreinander entfernt,

²⁰ О. К а д е, Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation, стр. 7.

²¹ См.: D. H y m e s, Introduction: toward ethnographies of communication, «American anthropologist», 66, 2, 1964; ср. также: R. J a k o b s o n, Poetics and linguistics, сб. «Style and language», New York, 1960.

versteht ihr?»; «Но ваше дело рисковое» — «Aber ihre Sache ist verdammt gefährlich»²².

Разумеется, оригинал, как это чаще всего бывает в письменном переводе, адресован не непосредственно получателю перевода. Включая в текст характерные для немецкой разговорной речи обороты *sag ich, Mensch, versteht ihr*, переводчик вводит тем самым поправку на директивную функцию перевода.

Совершенно иную функцию выполняют диалектизмы в поэзии Бернса:

And turned me round to hide the flood
That in my een was swelling.
Wi' altered voice, quoth I, Sweet lass,
Sweet as yon hawthorn blossom,
O! Happy, happy may he be,
That's dearest to thy bosom.

Ср. перевод этого текста, выполненный С. Маршаком:

С ресниц смахнул я капли слез
И, голос изменяя,
Я задал девушке вопрос,
Какой — и сам не знаю.
Потом сказал я: ты светлей,
Чем этот день погожий;
И тот счастливей всех людей,
Кто всех тебе дорожже²³.

Если в цитированных выше примерах из романа Шолохова диалектизмы выполняли идентифицирующую функцию, контрастируя с литературным языком автора, то здесь подобное противопоставление отсутствует. Шотландский диалект — это и есть язык автора произведения, а не средство речевой характеристики персонажа. Поэтому отказ С. Маршака от передачи диалектной окраски подлинника следует считать вполне обоснованным решением.

Переадресовывая сообщение иноязычной аудитории и вводя поправку на различие в директивных функциях исходного текста и перевода, переводчик часто стремится найти не просто смысловые эквиваленты, а те функциональные аналоги, которые способны вызвать у иноязычного получателя «коммуникативный эффект» (термин О. Каде), сходный с тем, который данное сообщение вызывает у тех, кто читает или слышит его в подлиннике. Нельзя не согласиться с мнением известного французского исследователя лингвистических проблем перевода Ж. Мунена, считающего, что переводчик, не выступающий одновременно в роли этнографа, не может полностью выполнить свою задачу²⁴. В самом деле, в процессе перевода имеет место не только сопоставление различных языковых систем, но и соприкосновение различных культур и даже цивилизаций. Этот аспект перевода выступает особенно рельефно при переводе реалий. Ср. примеры перевода реалий, приводимые американским лингвистом Ю. Найда (*белоснежный* переводится на язык народа, у которого отсутствует понятие «снег» как «белый как оперенье белой цапли»; *сердце* переводится на языки народов, у которых слово, обозначающее данный референт, лишено соответствующей коннотации, как «печень»²⁵).

Из сказанного выше следует, что директивная функция перевода как бы накладывается на другие и в определенном смысле может рассматриваться как суперфункция. Она вносит заметные коррективы как в восприятие

²² Примеры из ст.: E. Fleischmann, Die Übersetzung von lexicalischen Substandardismen, сб. «Grundfragen der Übersetzungswissenschaft», стр. 93—94.

²³ Пример из ст.: В. Л. Россельс, Заботы переводчика классики, «Тетради переводчика», 1967, 4, стр. 25—26.

²⁴ G. Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, 1963, гл. 13.

²⁵ См.: «On translation», стр. 29—31.

исходного текста, так и в построение текста перевода. Эта функция занимает центральное место среди того круга проблем, которые немецкий ученый А. Нойберт относит к прагматическим аспектам перевода²⁶. К последним принадлежат отношения между «формативами», т. е. фонологическими, морфологическими и синтаксическими элементами, образующими материальную базу языкового кода, и участниками коммуникативного акта. В процессе перевода текст, грамматически и семантически соответствующий тексту оригинала, включается в сетку прагматических отношений. Прагматические отношения могут быть сведены к стилистическим правилам отбора языковых средств для определенных целей коммуникации.

В этой связи выделяются различные типы текстов: тексты, ориентированные на носителя ИЯ, тексты, ориентированные на носителя ПЯ, тексты, занимающие промежуточное положение между первыми и вторыми, т. е. адресованные в первую очередь носителю ИЯ, но не только ему, а в известной мере и любой другой аудитории, и наконец, тексты, не имеющие специальной ориентации на носителя ИЯ. Примером текстов первой группы могут служить некоторые законоположения, материалы местной прессы, реклама, примером текстов второй группы — тексты радиопередач и других информационных материалов для иностранной аудитории, примером третьей — художественная литература и примером четвертой — научная литература.

Разумеется, предлагаемое А. Нойбертом деление в известной мере условно. Однако из приведенного выше перечня видно, что в качестве решающего критерия при определении прагматического содержания сообщения выдвигается его директивная функция. Именно эта функция лежит в основе выделения двух видов перевода: перевода, передающего семантико-грамматическое и прагматическое содержание оригинала, и перевода, учитывающего прагматические отношения ПЯ.

Разницу между этими видами переводов можно проиллюстрировать следующим примером, который приводит в своей работе А. Нойберт:

«I came to Warley on a wet September morning with the sky the grey of Guiseley sandstone (J. Braine).

Es war an einem regnerischen Septembermorgen mit einem Himmel wie aus grauem Sandstein, als ich in Warley ankam.

... Sandstein aus Guiseley...

... Guiseley-Sandstein...».

Первый вариант является примером прагматически адекватного перевода. В самом деле, словосочетание *Guiseley sandstone* вполне понятно английскому читателю, у которого оно вызывает конкретные образные ассоциации. В переводе, ориентированном на немецкого читателя, учет директивной функции требует модификации: *the grey of Guiseley sandstone — wie aus grauem Sandstein*. Второй и третий варианты, разумеется, нельзя считать прагматически адекватными при переводе художественного текста. С другой стороны, при переводе научного текста, адресованного специалистам, выбор этих вариантов вполне оправдан.

Отсюда следует, что учет функциональной значимости тех или иных элементов исходного текста важен не только для выбора соответствующего варианта в языке перевода, но и для решения принципиального вопроса — подлежит ли данный элемент переводу вообще. Так, например, при переводе на английский язык русского предложения *Бриджтуан, что в переводе означает «город-мост», расположен на берегу узкого залива* ссылка на перевод (*что в переводе означает...*), разумеется, опускается.

²⁶ A. Neubert, *Pragmatische Aspekte der Übersetzung*, сб. «Grundfragen der Übersetzungswissenschaft».

Учитывая взаимодействие и взаимообусловленность различных функций коммуникативного акта, следует иметь в виду, что в определенных условиях та или иная функция может приобретать первостепенное значение, подчиняя себе все остальные. Рассмотрим следующий пример из русского перевода романа Диккенса «Крошка Доррит»: „Papa is a preferable mode of address“, observed Mrs. General. „Father“ is rather vulgar, my dear. The word *Papa*, besides, gives a pretty form to the lips. *Papa*, *potatoes*, *poultry*, *prunes* and *prisms*, are all very good words for the lips, especially *prunes* and *prisms*» — «Предпочтительнее говорить „папа“, моя милочка, — заметила миссис Дженерал. — „Отец“ звучит несколько вульгарно. И, кроме того, слово „папа“ придает изящную форму губам. Папа, пчела, пломба, плющ и пудинг — прекрасные слова для губ, в особенности плющ и пудинг» (перевод Е. Калашниковой)²⁷. Передача аллитерации (стилистическая функция) оказалась более важной и коммуникативно релевантной, чем передача денотативного значения соответствующих слов.

Жанр речевого произведения и его целевая установка выдвигают некоторые речевые функции на первый план и соответственно отводят другим второстепенную, подчиненную роль. Так, денотативная функция, которой принадлежит ведущая роль в научных текстах, технических описаниях, информационных сообщениях, может порой занимать подчиненное положение по отношению к экспрессивной и стилистической функциям в поэтических произведениях. Функциональные характеристики, играющие доминирующую роль в том или ином коммуникативном акте, могут быть названы его функциональными доминантами.

Поскольку функциональные доминанты сообщения по определению являются переменными величинами, возникает вопрос: что же все-таки является инвариантом перевода? Существует немало определений инварианта перевода²⁸. Чаще всего инвариант перевода определяется как общность семантического содержания разноязычных текстов или как неизменность плана содержания этих текстов при замене одного текста другим. При этом под содержанием имеется в виду информация, которую несут лексические, грамматические и стилистические средства, используемые в подлиннике²⁹. Такого рода определение явно исходит из того, что весь объем содержащейся в подлиннике информации подлежит передаче при переводе. Однако как мы видели выше, дело обстоит иначе. Функциональные доминанты коммуникативного акта не только определяют закономерности анализа и отбора языковых средств, но и видоизменяют в известных пределах сам объем передаваемой информации.

Иное определение инварианта дает Ю. Г. Кузьмин³⁰, согласно которому инвариантом перевода является «ситуация в действительности, как она воспринимается автором сообщения». С таким определением можно было бы согласиться, если бы все речевые высказывания представляли собой описание ситуаций и если бы восприятие тождественной ситуации автором сообщения и его иноязычным получателем было бы идентичным. Однако, как было показано выше, это далеко не всегда соответствует истинному положению вещей. Ю. Г. Кузьмин исходит из неверной, на наш взгляд, посылки, согласно которой «объективная действительность есть та единственная основа, на которой достижимо взаимопонимание через перевод».

²⁷ См.: Ч. Диккенс, Собр. соч., 24, 1960, стр. 59.

²⁸ См. критический обзор этих определений в кн.: А. А. Леонтьев, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969, стр. 170—172.

²⁹ Ср.: Л. С. Бархударов, Общелингвистическое значение перевода, сб. «Теория и критика перевода», Л., 1962, стр. 11; его же, Процесс перевода с лингвистической точки зрения, стр. 8.

³⁰ Ю. Г. Кузьмин, указ. соч., стр. 11—12.

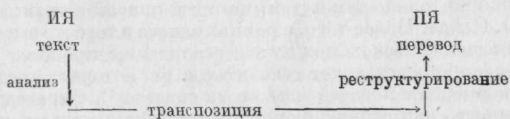
С таким утверждением никак нельзя согласиться. Непосредственной основой, на которой возможно двуязычное общение, является, разумеется, не сама объективная действительность, а универсальность категорий человеческого мышления, наличие семантических универсалий и известная общность человеческого опыта.

Английский исследователь лингвистических проблем перевода Дж. Кэтфорд рассматривает инвариантность как «соответствие между дифференциальными признаками (по крайней мере, некоторыми из них) текста на исходном языке и текста на языке перевода»³¹. Под дифференциальными признаками автор имеет в виду ситуативные черты, существенные для данного текста и определяющие выбор тех или иных языковых форм. К сожалению, как отмечает в своей рецензии на работу Дж. Кэтфорда В. Аврамов³², эти дифференциальные признаки выделяются автором интуитивно, без опоры на какие-либо определенные критерии. Сведение проблематики перевода к вопросу о дифференциальных ситуативных признаках едва ли можно считать оправданным в свете того, что было сказано выше о многоаспектности процесса перевода.

Что же в таком случае можно считать инвариантом перевода? Думается, что в процессе перевода неизменным всегда остается содержание исходного сообщения (не только семантическое, но и прагматическое), детерминируемое и модифицируемое функциональными характеристиками данного коммуникативного акта и соотношением между ними³³. Иными словами, перевод может быть представлен как процесс поиска решения, отвечающего определенному набору варьирующих функциональных критериев.

Рассмотрим вопрос о путях реализации процесса перевода. В этой области еще многое продолжает оставаться неясным. В то же время за последние годы было выдвинуто несколько гипотез относительно того, как именно протекает этот процесс и каковы его основные этапы. Так, в некоторых работах выдвигается трансформационная модель перевода, осуществляемого человеком. Ниже мы остановимся на модели, предложенной американским лингвистом Ю. Найда³⁴, хотя попытки приложения трансформационной теории к переводу делались и в более ранних работах³⁵.

Ю. Найда считает, что процесс перевода, особенно в тех случаях, когда ИЯ и ПЯ резко отличаются друг от друга по своим грамматическим и семантическим структурам, не осуществляется путем простого перехода от одного набора поверхностных структур к другому. Вместо этого имеет место более сложный процесс, в ходе которого переводчик, анализируя исходное сообщение, преобразует его в более простые и четкие формы, транспонирует их на этом уровне в систему ПЯ и затем реконструирует сообщение на ПЯ



³¹ J. Catford, A. linguistic theory of translation, Oxford, 1965.

³² В. А. Аврамов, «Тетради переводчика», 1969, 6.

³³ Иное понимание инварианта перевода (в психолингвистических терминах) см.: А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 172.

³⁴ E. Nida, Science of translation, «Languages», 45, 3, 1969; E. Nida, C. R. Taber, The theory and practice of translation, Leiden, 1969.

³⁵ См., например: И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, указ. соч., стр. 85—120.

На грамматическом уровне анализ сводится к обратной трансформации (back transformation) поверхностной структуры в структуру, близкую к ядерной (near-kernel structure). Так, например, поверхностная структура *John preached the baptism of repentance unto the forgiveness of sins* трансформируется в *John preached that the people should repent and be baptized so that God would forgive the evil they had done*. Разумеется, это сложное предложение может быть далее развернуто в цепочку ядерных, но это будет связано с потерей информации о смысловых связях между ядерными предложениями. Целью же переводчика является довести трансформируемую структуру до уровня, на котором смысловые связи между элементами наиболее ясны и контрасты между структурами ИЯ и ПЯ сведены до минимума. Именно на этом уровне, т.е. на уровне, приближающемся к ядерному, легче всего осуществлять транспозицию. Что касается проблемы передачи лексического значения, то она решается Ю. Найда в терминах компонентного анализа (передаются не слова, а семантические компоненты; при переводе происходит перераспределение компонентных структур). В процессе реструктурирования принимаются в расчет экспрессивно-стилистические и функционально-жанровые характеристики ПЯ, а также фактор воздействия на адресата (т.е. директивная функция).

Думается, что такой способ реализации процесса перевода вполне возможен в переводческой практике. По сути дела, он представляет собой упрощение сложной синтаксической конструкции и устранение ее многозначности путем преобразования ее в синтаксическую конструкцию с однозначным отношением между компонентами. Так, при переводе с английского языка на русский именные словосочетания нередко трансформируются в предложно-именные, где предлог уточняет синтаксические отношения между компонентами (в дальнейшей трансформации нет необходимости): например, *pupil use* — *use by a pupil*, *neighbourhood projects* — *projects in the neighbourhood*, *the river tube plan* — *the plan of building a tube under the river*.

Вместе с тем возможность сведения процесса перевода к одной модели вызывает большие сомнения. Не следует забывать, что перевод — это один из видов речевой деятельности, и к нему в полной мере относятся высказываемые советскими психолингвистами соображения о необоснованности концепции единого принципа порождения высказывания. «Есть основания предполагать, — пишет А. А. Леонтьев, — что в зависимости от конкретной экспериментальной ситуации субъект может избрать тот путь психолингвистического порождения, который в данных обстоятельствах является оптимальным»³⁶. Основываясь на собственном опыте перевода и на знакомстве с работой других переводчиков, автор настоящей статьи имеет основания утверждать, что поиски оптимального решения при переводе осуществляются не только тем путем, который описан в трансформационной модели Ю. Найда. Более того, в рамках одного и того же высказывания возможно совмещение нескольких путей реализации процесса перевода.

В этой связи представляет значительный интерес предложенная В. Г. Гаком концепция моделей языкового синтеза³⁷. Справедливо отмечая ограниченность как структурной (порождающей) модели, предусматривающей лишь те преобразования высказываний, в которых лексемы и непосредственные синтаксические связи остаются неизменными, так и семантической модели сем или семантических компонентов, предполагающей неизменность элементарных смыслов, В. Г. Гак конструирует ситуационную модель (ситуация — текст), допускающую варьирование самого набо-

³⁶ А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 264.

³⁷ В. Г. Гак, О моделях языкового синтеза, «Ип. яз. в шк.», 1969, 4.

ра семантических компонентов при обозначении одинаковых отрезков действительности. При отборе семантических компонентов, описывающих те или иные однотипные ситуации и образующих смысловую структуру высказывания, каждый язык (и, следует добавить, каждый функциональный стиль языка) имеет свои предпочтения. Ср. следующие примеры: «Les bombardements tuent en priorité les gens qui habitent près de la gare» (Courtade); «Во время бомбежек погибают прежде всего те, кто живет подде сортировочных станций»; «De l'autre côté de la route, ... le lac étalait la surface glacée et recouverte de neige» (Hériat); «По ту сторону дороги простиралась застывшая, покрытая снегом поверхность озера». Здесь высказывания на французском и русском языках отличаются друг от друга наличием семантического компонента «каузации действия».

Ситуативная модель языкового синтеза может быть с успехом применена в теории перевода. С ее помощью, по-видимому, можно будет объяснить многие из тех лексико-синтаксических парафраз, к которым часто прибегают переводчики. Она обладает тем несомненным преимуществом по сравнению с моделью Ю. Найда, что рассматривает синтаксические и лексические преобразования не отдельно, а в их взаимосвязи и взаимодействии. Более того, она убедительно показывает недостаточность процедуры компонентного анализа применительно к переводу, поскольку далеко не все преобразования высказываний в переводе представляют собой простое перераспределение одних и тех же семантических компонентов.

Следует, однако, сказать, что эта модель, как признает В. Г. Гак, пока лишь к описанию тех случаев, которые относятся к денотативной функции речи. Думается, что положенный в ее основу принцип может быть в дальнейшем распространен не только на высказывания, содержащие описание предметных ситуаций. В самом деле, в приведенных выше примерах отношения равнозначности устанавливаются не непосредственно между отрезками действительности, а между теми суждениями, которые отражают эту действительность и образуют смысловую сторону данных высказываний. Эти примеры убедительно свидетельствуют о том, что смысловое содержание высказывания не представляет собой простой суммы элементарных смыслов. Иными словами, проблема может быть сформулирована и шире: каковы закономерности определяющие эквивалентность высказываний, отличающихся друг от друга набором элементарных смыслов, не только в плане отражения ситуаций, но и с точки зрения других функциональных характеристик коммуникативного акта? Для теории перевода чрезвычайно важно выявление закономерностей, лежащих в основе межязыковых лексико-синтаксических парафраз, осуществляемых с учетом различных функциональных доминант высказывания.

Собственный опыт автора статьи и опыт других переводчиков свидетельствует о том, что процесс поиска оптимального решения при переводе, как правило, не является одноразовым актом, если не считать синхронного перевода. Этот поиск обычно осуществляется «методом проб и ошибок», который заключается в последовательном приближении к оптимальному варианту путем перебора нескольких возможных вариантов и отклонения тех, которые не отвечают изложенным выше функциональным критериям. При этом наряду с предварительной обработкой исходного сообщения на ИЯ путем трансформаций или путем лексико-синтаксических парафраз (т.е. путем так называемого «внутриязыкового перевода») вполне возможно установление и прямых соответствий между высказыванием на ИЯ и соответствующим высказыванием на ПЯ. У начинающего переводчика такое соответствие устанавливается по принципу наибольшей близости к грамматической и компонентной структуре исходного сообщения. Квалифицированный переводчик, опираясь на предшествующий опыт, начинает

с наиболее частотного структурного и лексического соответствия. Представляется маловероятным, чтобы, переводя аналогичные конструкции, переводчик каждый раз заново проделывал операцию «анализ — транспозиция — реструктурирование», описанную Ю. Найда; очевидно, в ряде случаев опытный переводчик оперирует «готовыми блоками» соответствий.

Однако эти «готовые блоки» чаще всего являются лишь первым приближением к оптимальному решению. В дальнейшем вводятся поправки на функциональные параметры данного коммуникативного акта, и текст подвергается более или менее значительным модификациям.

Высказанные выше соображения в значительной мере носят гипотетический характер и нуждаются в экспериментальной проверке. Однако это в равной мере относится и к большинству суждений, высказываемых по поводу «человеческого перевода». Теория перевода нуждается в экспериментально обоснованных обобщениях, основанных на углубленном изучении реальной переводческой практики в свете последних достижений науки о языке и, в особенности, тех языковедческих дисциплин, в центре внимания которых находятся различные стороны речевой деятельности, в том числе ее прагматические аспекты. Для ее успешной разработки необходим учет взаимодействия различных функций коммуникативного акта и в первую очередь его функциональных доминант, зависящих от жанра и целевой установки речевого высказывания.

Н. А. БАСКАКОВ

АРЕАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ДРЕВНЕЙШИХ НАРЕЧИЙ
И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОДСТВО АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Проблема генетического родства алтайских языков привлекает все больше и больше внимание ученых. Наличие противоположных концепций *pro et contra* генетического единства алтайских языков создает благоприятные условия и для научной дискуссии, и для более глубокого изучения этой проблемы. Высказываются различные точки зрения, касающиеся значительного числа лексических и грамматических элементов, общих для монгольских, тюркских и других алтайских языков — одни исследователи объясняют их генетическими связями этих языков между собой, а другие — заимствованием или типологическим их сходством. Любопытно, что исследователи, скептически относящиеся к генетическим связям этих языков, в большей степени останавливаются на лексических схождениях, которые в одинаковой мере могут быть объяснены как генетическим единством, так и взаимодействием языков¹, в то время как сторонники генетического родства алтайских языков апеллируют в большей степени к грамматическим их схождениям.

В настоящей статье делается попытка объяснить материальную общность грамматической структуры алтайских языков (и прежде всего самых непроницаемых элементов этой структуры — словоизменения) не взаимодействием этих языков и не заимствованием этих элементов, а генетическими связями алтайских языков в процессе консолидации древнейших родственных наречий в определенные группы и семьи языков.

Таким образом, предлагаемая статья, с одной стороны, уравнивает высказывания противников и защитников алтайской теории в поднятой журналом «Вопросы языкознания» дискуссии, а с другой — представляет исходный материал для дискуссии также и в отношении грамматической структуры алтайских языков.

Все основные ареалы распространения родственных языков представляют собой относительно ограниченную определенными границами территорию, расположенную либо в виде больших компактных островов, либо в виде растянутых полос, чаще локализованных определенными широтами и реже расположенных по меридианам.

В Евразии, условно разделенной горными хребтами на Европу и Азию, можно без особого труда установить несколько значительных по территории ареалов распространения языков. Почти всю Западную Европу, центральные широты Восточной Европы, средние широты Средней Азии до полуострова Индии и границ Китая занимает обширная семья индоевропейских языков с выделившимися подареалами: на юге Европы — романским и греко-албанским, на севере — германским и балто-славянским, в средних широтах Западной Азии — армянским и иранским и да-

¹ См.: А. М. Ш е р б а к, О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, ВЯ, 1966, 3; Д. Ж. К л о у с о н, Лексико-статистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5.

лее на Восток — тохарским и индийским. В этот огромный ареал только незначительными островками включаются поселения (более поздние по времени) иноязычных неиндоевропейских по языку народов.

Южнее и севернее этого ареала господствуют другие семьи языков: на юге и юго-западе — семитические, а на севере колоссальную территорию, расположенную параллельной к индоевропейским ареалам полосой от Финляндии до Якутии и Японии, занимают языки, главным образом, урало-алтайские с небольшими островками палеоазиатских и некоторых других языков.

Урало-алтайские языки, как и индоевропейские, членятся на территориальные ареалы: западный ареал с господствующими финно-угорскими, восточный — с алтайскими языками. Финно-угорский и алтайский ареалы в свою очередь подразделяются на соответствующие подареалы, расположенные в виде последующих друг за другом в известном порядке звеньев единой цепи. Так, например, в ареале алтайских языков более западную территорию занимали турки, далее на восток — монголы, непосредственные соседи монголов — маньчжуры и тунгусы, на крайнем востоке — корейцы и японцы.

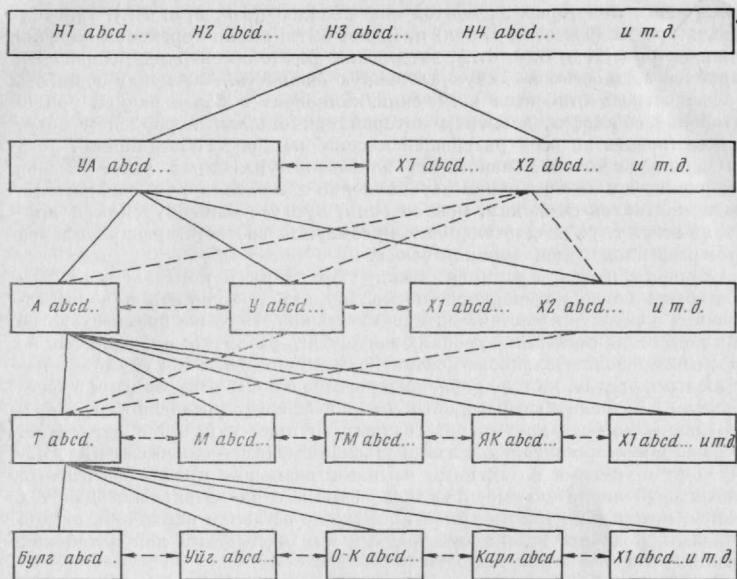
Этот северный евразийский ареал в глубокой древности представлял собой непрерывную цепь родов и племен с близкими родственными наречиями. В результате перманентного процесса соединения и распада племен при господствующей их дифференциации этот ареал распался сначала на два больших ареала — уральский на западе и алтайский на востоке (ср. более поздний такой же распад племенного союза хунну на западных и восточных хунну или более позднего племенного союза тую — на западных и восточных), а затем каждый из них разделился на более дробные подареалы: уральский — на угорский, финский, самодийский, а алтайский — на тюркский, монгольский, тунгусо-маньчжурский и корео-японский. (Ср., например, дифференциацию западнохуннской ветви тюркских языков на булгарские, огузо-кыпчакские и карлукские).

Следует отметить, что интенсивность связей между алтайскими языками сохранилась в прямой пропорции от древнего географического распространения соответствующих ареалов, а следовательно, и более близкого родства. Так, более тесные связи и большая материальная близость сохранились между тюркскими и монгольскими и меньшая — между тюркскими и другими алтайскими языками, в то время как монгольские языки, ареал распространения которых был близок к ареалу тунгусо-маньчжурских языков, имеют значительно больше схождений с тунгусо-маньчжурскими языками, чем тюркские языки с теми же языками.

Однако такой процесс дифференциации усложнялся также и процессом интегрирования, т. е. соединения не только близкородственных родов и племен и соответственно их диалектов и наречий, но и дальнеродственных (например, алтайских и финно-угорских), а иногда и неродственных адстратных наречий, которые соответствующим образом воздействовали на формирование новых общностей.

Хотя процессы образования алтайских языков несколько отличаются от процессов перекрещивания диалектов индоевропейских языков наподобие концентрических кругов или волн, как это представлял себе И. Шмидт, некоторые положения его теории, а также положения более поздних его интерпретаторов, *mutatis mutandis* могли бы быть применимы также и для объяснения некоторых процессов образования алтайских языков². В частности, утверждение И. Шмидта о том, что совре-

² См.: J. Schmidt, *Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen*, Weimar, 1872; F. Wrede, *Ethnographie und Dialektwissenschaft*, «Historische Zeitschrift», 88. Bd., N. F. 52. Bd., München—Berlin, 1902, стр. 22 и сл.; E. T a p-



менные территориальные соотношения диалектов отражают то же распределение языков и диалектов, которое существовало в древности, можно бы было распространить, например, на сопоставление современной локализации карлукских, огузских и кыпчакских диалектов узбекского языка и территориального их распределения по Махмуду Кашгарскому в X—XI вв.

Однако характер образования алтайских языков и процессы их формирования имели также и специфические черты, отличавшие их от процессов становления индоевропейских языков и диалектов. Так, для алтайских языков характерны не концентрические волны распространения тех или иных изменений в языке, как предполагал И. Шмидт, но перманентная дифференциация и интеграция диалектов и их консолидация в языковые группы на определенной территории и в определенное время при господствующем процессе их дифференциации (теория И. Шмидта отрицала дифференциацию языков на группы). Таким образом, теория И. Шмидта не может в полной мере объяснить процессы образования алтайских языков.

Итак, общий процесс дифференциации и интеграции алтайских языков и их общностей может быть представлен в схеме (см. выше).

Каждая подчиненная общность, например тюркская (Т а, b, c, d...), является результатом развития и дифференциации более ранней алтайской общности (А а, b, c, d...) и представляет собой в то же время результат консолидации близких между собой наречий и диалектов и интеграции

polet, Über die Bedeutung der Sprachgeographie mit besonderer Berücksichtigung französischer Mundarten, «Aus romanischen Sprachen und Literaturen. Festgabe H. Morf», Halle a. d. S., 1905, и др.

(включения) некоторых элементов монгольских (М а, b, c, d...), тунгусо-маньчжурских (ТМ а, b, c, d...) и, может быть, японо-корейских наречий и диалектов (ЯК а, b, c, d...), входивших вместе с консолидировавшейся тюркской общностью в единую алтайскую общность. Алтайская общность в свою очередь относится как некий компонент к более ранней урало-алтайской общности, элементы которой как отдельные рефлексy могут наличествовать во всей развившейся цепи языковых объединений.

Однако включение некоторых элементов указанных выше языков в тюркские языки проходило неравномерно и зависело от продолжительности контактов тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и других языков, т. е. от длительности пребывания соответствующих племен в том или ином родоплеменном союзе.

Степень родства, например, между тюркскими и монгольскими языками была более интенсивной, поскольку они находились в непосредственном контакте в системе алтайских языков. В то же время сходство этих языков на отдельных уровнях могло быть различно: оно зависело не только от продолжительности контактов между отдельными группами наречий и диалектов, но и от рефлексов родства с более отдаленными в генетическом отношении языками, которые могли внести особенности, отсутствовавшие во всех других родственных группах наречий и диалектов. Ср., например, числительные в монгольских языках — они имеют мало общих черт с другими алтайскими языками; возможно предположить, что монгольские числительные являлись общими с числительными для тех языков, которые по той или иной причине не оставили после себя следов и оказались исчезнувшими субстратами или адстратами для алтайских языков.

В предлагаемой схеме развития алтайских языков как бы объединяются и синтезируются обе основные теории о происхождении алтайских языков — теория генетического их родства и теория образовавшегося родства в результате взаимодействия в период длительных их контактов между собой.

Обратимся к конкретному материалу, который собран алтаистами и, который, по нашему мнению, убедительно доказывает родство алтайских языков и в первую очередь — тюркских и монгольских. Подводя итоги своего исследования алтайских языков, В. Л. Котвич пришел к выводам о том, что общий фонд схождений между монгольскими и тюркскими языками равен в морфологии около 50%, в лексике — 25%, а между тунгусо-маньчжурскими, с одной стороны, и тюркскими и монгольскими, с другой, — 10% в лексике и около 5% в морфологии³.

Высокий процент морфологических схождений между монгольскими и тюркскими языками, охватывающих почти половину всех грамматических форм и явлений, и меньший процент лексических схождений убедительно доказывают близость этих языков, причем близость, характеризующую генетическое их единство, поскольку наиболее пронцаемым уровнем во взаимодействии неродственных языков является не морфология, а лексика: при взаимодействии неродственных языков между собой в первую очередь изменяется не грамматический строй каждого из языков, а их словарный состав. Явственно выраженная грамматическая близость тюркских и монгольских языков (в большей степени, чем общее количество лексических схождений в тех же языках) позволяет предполагать в отношении их не постепенный процесс типологического схождения этих языков, а обратный процесс постепенного расхождения некогда близкородственных языков.

³ В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 351.

Соотношение, при котором в сравниваемых языках господствует грамматическая близость и большее расхождение в словарном составе, характерно только для родственных языков; ср., например, соотношение турецкого или азербайджанского языков, с одной стороны, и хакасского или алтайского, с другой: для них соотношения грамматических и лексических сходжений будут примерно те же, что и для тюркских и монгольских языков.

Любопытно, что грамматические сходжения между монгольскими и тюркскими, а также другими алтайскими языками касаются не периферийных грамматических категорий и не только общей системы словообразования, но и самых непроницаемых во взаимодействии неродственных языков грамматических категорий, какими являются, например, морфологические категории, выражающие отношения слов в составе словосочетания и предложения, т. е. затрагивают категории словоизменения и из них самые непроницаемые формы — формы падежей.

Все основные категории словоизменения в монгольских и тюркских языках — категория лица, выражающая синтаксические отношения субъекта и предиката, категория принадлежности, выражающая атрибутивные отношения, и категория падежей, выражающая объектно-предикатные отношения, — являются общими не только в типологическом, но в значительной мере и в материальном отношении, т. е. выражаются генетически общими аффиксами.

Не касаясь пока материально совпадающих формантов категорий лица и принадлежности — показателей родственных отношений между языками не только алтайскими, но даже и урало-алтайскими, обратимся к системе падежей, представляющей наименее проницаемую систему форм во взаимодействии неродственных языков, а следовательно, указывающую на ближайшее родство алтайских языков.

Во всех алтайских языках, как это отмечено в исследованиях крупнейших алтаистов В. Л. Котвича и Г. И. Рамстеда, система склонения обнаруживает чрезвычайную близость форм, всех наиболее важных падежей, что по существу граничит с их единством. Вот основные данные Г. И. Рамстеда, характеризующие это единство⁴.

1. И м е н и т е л ь н ы й, или основной, или неопределенный, падеж во всех алтайских языках совпадает с основой слова. Имеющиеся некоторые отклонения в оформлении им. падежа объясняются иными фонетическими закономерностями; например, в основе монг. *naran* «солнце» конечный *n* утрачен в им. падеже — *naran* > *nara*; ср. корейск. *pat* «пашня» < **path*.

2. Р о д и т е л ь н ы й падеж: тюрк. *-nuy*, *-nyn*, *-ny*, *-yn*, *-žn*; монг. **-nyn* > *ni*^а > *ni*; **-n[n]* > *-n[* > *-ni*: *ger* «дом», *ger-ün* «дома», калм. *ger-in*; тунг. исконное окончание *-i*, *-ni*: *maja* «отец», род. п. *maja-i*, *wang-ni* «короля», *bi* «я», род. п. *min*, *hi* «ты», род. п. *hin*; корейск. *-n*: *hai* «день», род. п. *hai-n*; современные показатели — *-ai*, *-ii*, *-i*: *saram* «человек», *saram-ii* «человека».

Во всех алтайских языках существует сочетание род. п. + частица отношения *ki*; ср. тюрк. *-niki*: *aγaniki* «принадлежащее брату», монг. *-jinki*: *aqajinki* то же; тунг. *-ŋi*, *-nŋi*: *akaji* < *akanŋi* то же; маньчж. *inge*, *-niŋge*.

Во многих алтайских языках род. падеж служит основой для образования других падежей; ср.: тюркск. *biz-iŋ-ge* «к нам» (дат. п.); монг. *xān-ā-dā* «у хана» (местн.-дат. п.); корейск. *saram-ii-ge* «в (доме) человека» (местн. п.).

⁴ Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание. Морфология, М., 1957.

Во многих алтайских языках существует типичная конструкция определительных словосочетаний с род. падежом, ср.: тюрк. *qayınuı oğlu* «сын хана», монг. *xāni xöwün* «сын хана».

3. В и н и т е л ь н ы й п а д е ж: тюрк. -уу, -ү, -ну, -у; чуваш. -а, -ја, -па совпадает с показателем дат. п.; монг. -i после согласных, -ji после гласных: *gar-i* «руку» вин. п.; тунг. -а, -ја < -i: *tu-jə* «воду»; *mō-ja* «дерево» вин. п.; тунгусский показатель -ба / -wa / -та (*oron-to* «оленья») сходит к омертвевшему деепричастию глагола *poda* «смотреть» (ср. тюрк. *köre* или *qarayanda*); маньчж.: -be < *-ba (из той же формы деепричастия глагола *poda*).

4. Д а т е л ь н ы й п а д е ж: тюркск. -ға, -ја, -а; монгольская ранняя форма -а (*dotur-a* «во внутрь») теперь встречается только в послеложных и некоторых глагольных формах. В функции дат. падежа используется местн. падеж на -du; тунгусский дат. падеж не продуктивен, вместо падежной формы используется послелог *ja* «сторона», который сохранился в древнетюркском *jura-ja* «на севере».

5. М е с т н ы й и и с х о д н ы й п а д е ж и: тюрк. -да; -дан, -дин, -даг; др.-тюрк. *oğuz-da* «у огузов» и «от огузов»; в древнем написании *oğuz-da-jan* ~ *oğuz-da-ñan*, *oğuz-dan-dan* «от огузов (= огузами)»; из -da-jan- > -dan-dan > аффикс исх. падежа -dan; монгольские местн. и дат. -да, -ду: -да при наречиях и послелогах и -ду при существительных. В письменном языке еще и -dur; тунг. -ду: *žū-du* «в доме»; корейской данной формы падежа нет; для указания на местонахождение предмета используется существительное *taj* «место», *je daj* «здесь», *če dgi* «там».

В тюркских и монгольских языках существует общий сложный аффикс местонахождения, состоящий из аффикса местн. падежа -да, -де и аффикса отношения -ki > -daki, ср. тюрк. *üj-degi* «находящийся в доме»; монг. *ger-te-ki* «находящийся в доме»; *en-deki* «здешний»; *er-teki* «ранний» и пр.

6. Д и р е к т и в н ы й п а д е ж: тюрк. -ru: *ābiru* «по направлению к моему дому»; *bā-rū* «сюда»; с дат. *taş-garu* «по направлению из»; монг. в диалектах -ru: *got-ru* «по направлению к реке, к середине»; корейск. -ru, -ro: *san-ro* «вдоль горы, через гору, горой» (южн. корейск.); *čibu-ru* «домой» (сев. корейск.).

Такое исключительное единство падежной системы алтайских языков, безусловно, указывает на самое ближайшее родство тех диалектов и наречий, которые в результате консолидации были источниками для образования последующих языковых групп, какими являются тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская и корейско-японская группы.

Итак, можно констатировать, что помимо общих типологических черт алтайских языков, огромного общего фонда их лексики всех отраслей (включая слова, обозначающие не только предметы, но и статические и динамические признаки, местоимения, служебные слова, слова образности и звукоподражательные), во многих деталях общей системы словообразования, а также весьма сходной фонологической структуры, алтайские языки обладают по существу и общей структурой словоизменения. Чрезвычайная близость в алтайских языках личных аффиксов, аффиксов принадлежности и аффиксов падежей, т. е. тех грамматических показателей, которые относятся к показателям категорий, непроницаемых при взаимодействии неродственных языков, и которые, следовательно, не могут быть заимствованы из одного языка в другой, убедительно свидетельствует о генетическом единстве алтайских языков.

Каким же образом можно объяснить развитие отдельных групп алтайских языков: тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской и других и их расхождение по другим признакам?

Развитие тюркских языков как результат консолидации многочислен-

ных диалектов и наречий, вышедших из алтайской общности, как бы содержит в себе те процессы, которые происходили в свое время в алтайских языках. Все современные тюркские языки представляют собой результат тех схождений и расхождений диалектов и наречий, носителями которых были отдельные племена, входившие в различные союзы племен, образовавшие позже устойчивые общности огузов, карлуков, кыпчаков, булгар и прочих племен. Племена эти родственны между собой, но характеризуются специфическими чертами различий своих наречий и языков, имеющих общую основу.

Если пристально проследить на материале тюркских языков, какие уровни языков и какие конкретные явления и факты этих родственных языков сохранили общие черты и какие явления этих языков претерпели изменения, то можно установить следующий индекс языковых явлений, которые остаются незабываемыми и непроницаемыми в отношении воздействия других языков, и перечень тех явлений, которые быстро поддаются изменению.

Наиболее устойчивыми, неподдающимися существенным изменениям, общими для всех тюркских языков, а следовательно, гомогенными характерными чертами являются, прежде всего, категории словоизменения и формы, которые их выражают. Это личные аффиксы, аффиксы принадлежности и аффиксы падежей; в меньшей степени — аффиксы множественного числа, находящиеся на грани между формантами, выражающими словоизменительные и словообразовательные категории. Незначительные сдвиги и отклонения по конкретным тюркским языкам наблюдаются в отношении структуры и характера словообразовательных моделей при относительном единстве фонетического оформления формантов, их образующих. Не меньшей устойчивостью обладают некоторые разряды лексики и в том числе — существительные и прилагательные. Из существительных это те, которые выражают родственные отношения и обозначают части тела человека, явления природы, а также животных, предметы домашнего обихода; устойчива терминология, связанная с основным занятием тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских племен — скотоводством. Среди прилагательных устойчивостью отличаются названия цветовых оттенков, качеств и свойств человека. Из других частей речи устойчив значительный слой глаголов как с конкретной семантикой действия и состояния, так и с абстрактными значениями; то же можно сказать о некоторых разрядах местоимений, наречий, послелогов, а также об образно-звукоподражательных словах.

Из синтаксических категорий и особенностей наибольшей устойчивостью обладают притяжательные словосочетания; во всех алтайских языках употребляются обороты вместо придаточных предложений, определяющие члены в словосочетаниях неизменяемы, отсутствует согласование в числе определяемого, обычна функциональная полисемия именительного (или основного) падежа и другие особенности.

Характерными и устойчивыми чертами фонетической структуры тюркских языков являются, прежде всего, симметричный по ряду, подъему и лабиальности состав гласных фонем, общий в основных чертах состав согласных и сохранение в той или иной степени закономерностей сингармонизма слова.

Все эти явления — как в области лексики и грамматики, так и в области фонетики — присущи всем алтайским языкам. Устойчивость и слабая степень изменяемости этих явлений в алтайских языках является убедительным доказательством родства этих языков. Единая система словоизменения, структура и характер основных словообразовательных моделей и совпадение в значительном большинстве формантов, образующих

эти модели, материальная общность значительного слоя основного лексического фонда как в отношении имен, так и глаголов, совпадающий синтаксический строй и общие детали строя предложений и словосочетаний, а также общие черты фонетического состава — все эти данные исключают возможность считать монгольские, тунгусо-маньчжурские, а возможно, и некоторые другие группы языков Евразии генетически неродственными языкам тюркским.

Какие же черты тюркских языков, а следовательно — и алтайских, являются менее устойчивыми, подвергающимися во взаимодействии с другими языками значительным изменениям?

Наиболее проницаемым уровнем при взаимодействии языков, безусловно, является лексика. Если бы тюркские и монгольские языки (resp. другие алтайские языки) не были бы родственными, можно было бы ожидать больший процент лексических сходжений, чем грамматических, в то время как в действительности мы имеем обратную закономерность для этих языков.

Наибольшие заимствования из неродственных взаимодействующих языков, как это можно наблюдать на примере тюркских языков, падают на следующие отрасли лексики: 1) лексика, связанная с различного рода мифологическими и космическими представлениями и понятиями; 2) лексика, выражающая отвлеченные понятия; 3) различного рода терминология, связанная с ремеслами и занятиями; 4) отвлеченные понятия чисел, счет и пр.

В лексике тюркских языков наибольший процент заимствованной лексики обнаруживается именно в этих отраслях. Относительно слабым звеном в лексике являются и числительные. Таковы различные слова для обозначения десятков во многих тюркских языках, замена заимствованными числительными отдельных разрядов (например, порядковых числительных) в саларском языке, особый счет десятков у древних тюрков, особый двадцатиричный счет у карачаево-балкарцев и пр. Поэтому различие числительных в монгольских и тюркских языках нельзя признать убедительным аргументом противников генетического родства.

Любопытно, что противники генетического родства для доказательства своих положений, как правило, опираются именно на эти разряды лексики: наименования космических явлений, отвлеченных понятий, числительных, т. е. как раз на наиболее проницаемые отрасли лексики. Пользуясь подобными примерами, скептики при анализе и сопоставлении лексики алтайских языков не учитывают или вернее — не исследуют глубоко возможность не прямых соответствий слов, выражающих то или иное понятие, а косвенных соответствий, исторически возникших, например, в результате семантической филиации значений от других лексических основ или различного рода переносных значений других слов и семантических полей, в которые они входят, и пр.⁵

В области синтаксиса наиболее слабыми, проницаемыми звеньями являются, прежде всего, синтаксические конструкции, порядок слов в составе словосочетания и предложения, подчинительные конструкции в сложном предложении и пр., а в морфологии — некоторые словообразовательные модели и спрягаемые основы глагола.

Для фонетики характерна только весьма относительная проницаемость скорее количественная, чем качественная, при довольно устойчивой общей фонетической структуре. Для тюркских языков в результате взаимодействия их с другими языками характерно появление вместе с заимствованными словами новых звуков, которые, однако, действуют на

⁵ Ср.: А. М. Щербак, указ. соч.

изменение общей структуры весьма медленно, оставаясь, как правило, инородными включениями, находящимися вне той или иной подсистемы (гласных или согласных). Тем не менее, длительное воздействие того или иного адстрата приводит к видоизменению некоторых фонетических закономерностей (ср., например, относительное разрушение сингармонизма в узбекском языке под влиянием иранских языков), к возникновению новых коррелятивных соотношений в составе согласных в связи с появлением новых согласных (ср., например, образование придыхательных согласных под влиянием соседних адстратов — в турецких диалектах восточных вилайетов под влиянием армянского языка или в тюркских языках и диалектах Сибири — под влиянием китайского языка и пр.).

Многие из субстратов и адстратов, воздействовавшие на формирование алтайских языков, пока остаются невыясненными⁶, впрочем, различия индоевропейских языков по всем языковым уровням также объясняются воздействием невыясненных, неизвестных субстратов. «У каждого из индоевропейских языков,— пишет А. Мейе,— свой собственный тип: произношение и морфология каждого из них характеризуются своими особыми чертами; едва ли можно предположить иные причины этого своеобразия, к тому же довольно глубокого, кроме тех особенностей, которыми характеризовались языки прежнего населения, сменившиеся индоевропейским. Это влияние языков, сменивших языком индоевропейским, называется „действием субстрата“. К несчастью, субстраты почти всюду нам неизвестны, так что приходится довольствоваться недоказуемыми гипотезами»⁷.

Итак, из обзора наиболее устойчивых элементов языка и явлений, подвергавшихся в большей степени изменению при взаимодействии языков, совершенно очевидно, что в алтайских языках устойчиво сохраняются именно те элементы, которые характеризуют генетическую их общность, поскольку те же элементы являются обычно устойчивыми и неизменяемыми также и в группе близкородственных языков, как это мы видели на примере тюркских языков.

Совершенно очевидно, хотя бы на примере общего материального единства такой непроницаемой для воздействия неродственных языков категории, как склонение, развитие алтайских языков шло не в направлении от типологического (аналогического) к органическому (гомологическому) родству, как это предполагает Г. Дёрфер⁸, а от близкого родства и максимальных схождений в области грамматики и лексики к дивергенции и приобретению большего количества расхождений по отдельным группам и по конкретным алтайским языкам. Однако близость отдельных родственных групп алтайских языков не была равномерной и зависела, с одной стороны, от близости соответствующих ареалов родственных языков, а с другой — от соседних адстратных, а также и субстратных языков.

Первоначальное единство наиболее непроницаемых явлений по всем уровням каждой конкретной группы языков сохранилось во всех алтайских языках, в то время как наиболее проницаемые звенья в системе отдельных языков постепенно видоизменялись, причем эскалация этих изменений зависела от времени консолидации ареалов и подареалов, а также от степени воздействия соседних неродственных языков.

⁶ См. об этом, например: W. Winter, *Tocharians and Turks*, «Aspects of Altaic civilization» («Uralic and Altaic series», 23), Bloomington, 1963.

⁷ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 59.

⁸ G. Doerfer, *Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen*, IF, 71, 12, 1966; его же, *Zur ural-altaischen Sprachverwandtschaft*, 2, UAJb, 36, 1—/, 1965, стр. 174—178.

Таким образом, алтайские языки представляют собой результат ареальной консолидации группы близкородственных племенных наречий, образовавшихся в древности в цепной последовательности звеньев на территории Северной Евразии; позже из них последовательно образовались конкретные группы языков: тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская, корео-японская. При формировании каждой группы происходило включение элементов различных соседних адстратных языков, благодаря которым возникали значительные расхождения в грамматике и лексике конкретных языков каждой группы.

Так, при формировании подареала тюркских языков, занимавших в цепи родственных алтайских наречий западное положение и непосредственно соприкасавшихся с подареалом монгольских языков, основа тюркских языков, естественно, имеет большое число общих элементов по всем уровням языка и максимальное количество схождений с монгольскими как в области лексики, так и в особенности грамматики. В свою очередь подареал монгольских языков формировался в непосредственной близости с тунгусо-маньчжурскими языками, которые имеют больше родственных черт и схождений в области лексики и грамматики с монгольскими языками, чем с тюркскими. Что же касается родственных отношений тунгусо-маньчжурских языков с тюркскими, то и те и другие имеют общую непроницаемую грамматическую основу и, в частности, общую падежную систему, хотя тунгусо-маньчжурские языки благодаря воздействию адстратных языков и благодаря тому, что их подареал занимает крайнее восточное положение в цепи алтайских наречий, получили большее количество общих родственных черт, с одной стороны, с монгольскими языками, а с другой — с корейским.

Минимальное количество схождений в лексике имеют полярные подареалы, т. е., с одной стороны, тюркская группа языков, а с другой — корео-японская группа, хотя самые непроницаемые звенья в системе, например грамматики тюркских языков и корейского, как показали исследования Г. И. Рамстеда, являются общими.

Каждая из групп языков в составе алтайской семьи, имея общую алтайскую основу, приобрела своеобразные черты, во-первых, благодаря своему положению в общей цепи родоплеменных древних наречий, а во-вторых, благодаря включению элементов субстратных и соседних адстратных неродственных языков и наречий. Тюркские языки, кроме элементов близкородственных языков монгольских и тунгусо-маньчжурских и дальнеродственных — финно-угорских, приобрели элементы индоевропейские, семитические, палеоазиатские, китайские, тибетские и пр. В монгольские языки, кроме близкородственных тюркских и тунгусо-маньчжурских и дальнеродственных — финно-угорских, проникли элементы в меньшей мере индоевропейских языков, в большей степени — палеоазиатских, тибетского, китайского, корейского и других языков. Для тунгусо-маньчжурских, кроме родственных языков, значительно воздействие палеоазиатских, китайского и других языков, для корео-японских, кроме родственных языков, — влияние китайского, малайских и других языков.

Подводя итоги, мы приходим к общему выводу о гомогенной или гомологической природе всех алтайских языков, входивших ранее в более крупный ареал дальнеродственных урало-алтайских языков, автохтонная территория распространения которых находилась к северу от такого же крупного ареала индоевропейских языков. Относительные расхождения между алтайскими языками и различный характер этих расхождений между конкретными подгруппами алтайских языков вызван, во-первых, близостью и интенсивностью контактов между этими подгруппами языков, ареалы которых были территориально расположены в цепной

последовательности, и, во-вторых, воздействием различных адстратных и субстратных родственных и неродственных языков и наречий. Примечательно, что характер расхождений и схождений в алтайских и уральских языках в некоторых чертах напоминает характер отношений между собой отдельных подгрупп индоевропейских языков: романских и албаногреческих, германских, балто-славянских и иранских и т. д.

Изучение связей и отношений между родственными языками алтайской (и шире — урало-алтайской) семьи затруднено отсутствием древних источников, которые в значительной мере представлены для индоевропейской семьи языков. Поэтому существенную помощь в анализе родственных отношений между алтайскими, шире — урало-алтайскими — языками окажет сравнительное изучение развития конкретных языков и их подгрупп как в системе алтайской (resp. урало-алтайской) семьи, так и в системах других семей, а также позитивный и более глубокий всесторонний подход как в отношении анализа схождений в этих языках, так и анализа имеющих расхождений.

Примечание. В схеме (стр. 45.) заглавные буквы обозначают названия общностей соответствующих языков: *H* — различных евразийских наречий и диалектов; *УА* — урало-алтайских; *X₁, X₂* и т. д. — различных потенциальных групп наречий и диалектов; *A* — алтайских; *У* — уральских; *T* — тюркских; *M* — монгольских; *ТМ* — тунгусо-маньчжурских; *ЯК* — японо-корейских; *Булг.* — болгарских; *Уйг.* — уйгурских; *O — K* — огузо-кыпчакских; *Карл.* — карлукских; *a, b, c, d* — диалекты соответствующих языковых общностей. Линии, соединяющие соответствующие буквенные обозначения, указывают на процессы дифференциации и интеграции в развитии языков.

В. М. РУСАНОВСКИЙ

ВОПРОСЫ НОРМЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Понятия литературного языка и языковой нормы — т. е. общественно осознанного и узаконенного практикой отбора языковых средств — неразрывно взаимосвязаны. По отношению к современным литературным языкам это положение не оспаривается. Возникают, однако, сомнения, можно ли считать норму обязательным признаком литературных языков старшего периода, отличающихся, как известно, большой вариативностью языковых средств. Отрицание нормы в этом случае было бы равносильно отказу им в праве называться литературными. Вариативность можно рассматривать как одно из доказательств наличия нормы в донациональных языках: ведь выбор средства выражения предполагает возможность выбора.

Прежде чем перейти к обоснованию этих положений, следует остановиться на системной взаимосвязанности понятий «национальный литературный язык», «донациональный литературный язык» и «языковая норма». В употреблении и толковании этих терминов до сих пор нет точности и согласованности ¹.

С исторической точки зрения можно говорить о донациональных литературных языках и национальных литературных языках. Разница между обоими типами литературных языков не только социально-историческая; они отличаются друг от друга также характером функционирования, стиливой разветвленностью, источниками развития, а отсюда различным характером языковой нормы ². Объединение этих типов под общим названием «литературный язык» возможно потому, что оба они, во-первых, нормированы, т. е. при выборе средств выражения ориентируются на узаконенные общественной практикой употребления варианты; во-вторых, имеют наддиалектный характер.

Донациональные литературные языки (или литературные языки донационального периода) делятся на международные и литературные языки народностей. Первый тип в донациональный период преобладает. Так, не нуждается в специальных доказательствах международный характер латинского языка в Западной и Центральной Европе, арабского — в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, старославянского — на

¹ См.: В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 70, 98—99.

² В применении к литературному языку периода развития нации можно употреблять термин «общенародный язык». Однако понятия национального литературного и общенародного языка не совпадают. Последний является абстракцией от литературного национального и различных внелитературных территориальных и социальных разновидностей, взаимодействующих с данным национальным литературным языком, имеющих с ним общую основу и находящихся под его влиянием. При ретроспективном диахронном изучении общенародного языка по отношению к нему можно также пользоваться термином «этнический язык» (см.: S. Urbāńczyk, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, сб. «Z dziejów powstania języków narodowych i literackich», Warszawa, 1956, стр. 12).

Руси и у южных славян³. Наддиалектным типом языка, функционировавшим на правах международного, можно назвать также деловой язык Юго-Западной Руси XIV—XV вв. (украинско-белорусский), который являлся видоизмененным (под влиянием местных говоров и латинских юридических документов)⁴ вариантом делового языка Киевской Руси. Югозападнорусский литературный язык был не только общим деловым языком украинцев и белоруссов; определенное время он выполнял также роль международного языка в Польше, Литве и Молдавии⁵.

Второй тип донационального литературного языка был ограничен рамками определенной языковой и этнической территории и в период сложения наций становился базой или одним из компонентов формирования национального литературного языка. Эту разновидность литературного языка донационального периода представляют старорусский (среднерусский), старочешский, старопольский, старословацкий («бернолаковщина»), старобелорусский и староукраинский (XVI — середина XVIII в.) языки.

Характерно, что литературные языки народностей, как правило, сосуществовали с международными языками. «В XV—XVII ст., т. е. в эпоху существования языка великорусской народности, не было единого литературного языка как в сфере письменной, так и в сфере устной речи. В сфере письменной речи, которая является для нас единственно прямым источником изучения языковых процессов того времени, находились в употреблении два близкородственных языка: церковнославянский и народно-литературный»⁶.

У южных славян международный старославянский язык, в определенной мере сербизованный (до середины XVIII в. — «сербульский» тип, а с конца XVIII до начала XIX в. — «славяно-сербский» тип) или болгаризованный, существовал как единственный репрезентант письменно-литературного языка. Становление литературных языков народностей донационального периода здесь не завершилось, возможно, в связи с отсутствием нормированного делового языка⁷.

Место донациональных литературных языков в формировании национальных литературных определялось: 1) степенью близости к живому разговорному языку, представленному диалектами и городским койне, а также степенью диалектной раздробленности той языковой территории, на которой он функционировал; 2) близостью к литературному международному языку, употреблявшемуся параллельно на этой же языковой территории. Интересно, что оба фактора, обуславливающие место древнего литературного языка в структуре нового, национального литературного языка, состоят в отношении обратной зависимости: структурная отдаленность литературного языка народности от международного языка

³ См.: Н. И. Толстой, Древнеславянский язык как общий литературный язык южных и восточных славян, «Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени», М., 1960, стр. 33—38.

⁴ См.: Л. Л. Гумецкая, Общие и специфические особенности формирования украинского литературного языка, «Славянские литературные языки в донациональный период (Тезисы докладов)», М., 1969, стр. 8.

⁵ См.: W. Ku r a s z k i e w i c z, Pół społeczne rozwoju polskiego języka literackiego, сб. «Z dziejów powstania...», стр. 74; Я. Д а ш к е в и ч, Турецьке дипломатичне листування українською мовою в 40-х рр. XIX ст., «Slavia», XXVIII, 1, 1969, стр. 110.

⁶ Ф. П. Филин, К вопросу о так называемой диалектной основе русского национального языка, сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», М., 1962, стр. 24.

⁷ См.: Н. И. Толстой, Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв., сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», стр. 8.

(старопольский, старочешский языки — латинский язык) обуславливала его тесную связь с живым языком значительных политических центров и основными диалектами⁸; наоборот, структурная близость литературного языка народности к международному языку (старорусский — старославянский; староукраинский и старобелорусский — старославянский и юго-западнорусский деловой язык) отводила диалектам и живому языку городов второстепенную роль⁹.

Вполне естественно, что те донациональные литературные языки, которые сосуществовали с международными донациональными языками отличной структуры, сыграли более заметную роль в формировании национальных литературных языков¹⁰, нежели те, что сосуществовали с международными донациональными языками близкой структуры. В последнем случае донациональные литературные языки обоих типов конкурировали между собой за место в составе национального литературного языка. Например, можно говорить о том, что современные польский и чешский национальные литературные языки сложились на базе соответствующих литературных языков донационального периода¹¹. Современный русский национальный литературный язык, слагаясь на базе московского койне, которое становится образцовым, общерусским и утверждается в больших городах¹², в большей мере опирался на донациональный международный язык (церковнославянский), чем на старорусский. Правда, границы между обоими языками ко времени формирования национального русского были довольно условными¹³. Словенский литературный язык в донациональный период (протестантская литература XVI в.) базировался на группе нижних диалектов. С середины XVIII в., превращаясь в национальный, древ-

⁸ Вследствие этого национальные польский и чешский языки мало связаны с каким-то определенным диалектом (см.: W. Ku r a s z k i e w i c z, указ. соч., стр. 39), поскольку нивелиция диалектов состоялась еще при формировании литературного языка донационального периода.

⁹ С этой точки зрения представляет интерес мнение Д. Брозовича о том, что Вуку Караджичу было значительно труднее создавать стандартный сербский язык, чем Кемалю Ататурку стандартный турецкий: последний отталкивался от иносистемного языка — арабского, тогда как для появления первого нужно было преодолеть традиции употребления близкородственного церковнославянского, функционировавшего для выражения интеллектуальных и абстрактных понятий (D. B r o z o v i c, Vuk i naš standardni jezik, «Mogućnosti», 11, 1964, стр. 912).

¹⁰ Ср.: «К языку Яна Гуса и Кралличкой библии были обращены взоры создателей чешского национального литературного языка. Язык художественной польской литературы, начиная от Рея и Кохановского, был во многом образцом при нормировании польского литературного языка XIX в.» (В. В. В и н о г р а д о в, указ. соч., стр. 64).

¹¹ Что касается польского литературного языка, то в нем, очевидно, переход от одного периода к другому характеризовался значительным расширением стиливых возможностей и качественным скачком в развитии устной литературной речи (ср.: S. U r b a ŋ s z y k, указ. соч., стр. 35). Заметных изменений на всех уровнях, кроме лексического, при превращении донационального польского литературного языка в национальный не произошло (ср.: T. L e h r - S p ł a w i ŋ s k i, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa, 1947, стр. 298 и далее). Между чешскими донациональными и национальными литературными языками существовал значительный хронологический разрыв (R. A u t y, Někteřé problémy vývoje slovanských spisovných jazyků, «Slavia», XXVII, 2, 1958, стр. 164). Поэтому чешский национальный литературный язык, в основе которого лежал донациональный, непосредственно не был связан не только с каким-то определенным диалектом, но и ни с одним из существовавших в то время интердиалектов. Между чешским литературно-письменным языком национального периода и устными формами общения возник разрыв, который заполняют: разговорный вариант литературного языка, народно-разговорный язык высшего типа, близкий к разговорному варианту литературного языка, областные интердиалекты, являющиеся переходным типом от диалектной речи к литературной (ср.: K. H a u s e n b e l a s, Stylý jazykových projevů a rozvrstvení jazyka, SaS. XXIII, 3, 1962, стр. 190).

¹² Ф. П. Ф и л и н, указ. соч., стр. 27.

¹³ Там же, стр. 24.

ний словенский литературный язык опирался на группу верхних диалектов. Следовательно, новый литературный словенский язык фактически строился на компромиссе между обоими средними диалектами¹⁴. При формировании украинского национального литературного языка роль нормализующего компонента играл прежде всего донациональный украинский литературный язык, который успел уже к тому времени сплавить югозападнорусский и церковнославянский компоненты вместе с элементами народных говоров и городского просторечия в единое целое. В развитии белорусского литературного языка не было прямой наследственности между донациональным и национальным периодами¹⁵, так как после выхода из употребления старобелорусского литературного языка новый, национальный литературный язык возник не сразу¹⁶.

Что же касается литературных языков, в истории которых не было донационального периода, то они формируются, как правило, на двух основаниях: диалектном и фольклорном, составлявшим вместе своеобразное койне¹⁷. Так, современный сербский язык вследствие проведенной Вуком Караджичем реформы складывался на базе новоштокавского фольклорного койне¹⁸.

Каково же место языковой нормы как главного показателя стандартизованности языка в донациональный и в национальный периоды? При ответе на этот вопрос ограничимся только рассмотрением международного югозападнорусского языка, донационального украинского литературного языка и национального украинского литературного языка.

Понятие нормы исторически обусловлено. Его определяет, прежде всего, характер и соотношение компонентов рассматриваемого языка. Норма предполагает наличие вариантных способов выражения¹⁹. Вариантность выражения как реальность или как потенциальная возможность свойственна и литературным языкам донационального периода, и национальным литературным языкам. Литературные языки донационального периода и национальные литературные языки различаются не по отсутствию нормы в первом случае и наличию ее во втором, а по отношению к источникам становления и развития вариантов. Литературные языки донационального периода поддерживают стабильность своей системы путем отрицания разговорных, прежде всего диалектных, вариантов²⁰.

На лексическом уровне это достигается ориентацией на один из наиболее активных в данный период литературных источников. Таким источником для украинского (и белорусского) делового языка XIV—XV вв.

¹⁴ R. A u t y, указ. соч., стр. 165.

¹⁵ Л. М. Ш а к у н, Образование белорусского национального литературного языка, сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», стр. 121.

¹⁶ Там же, стр. 119.

¹⁷ Ср.: В. В. В и н о г р а д о в, указ. соч., стр. 62.

¹⁸ D. В г о з о в і ć, указ. соч., стр. 912.

¹⁹ Ср.: К. С. Г о р б а ч е в и ч, Нормы литературного языка и толковые словари, сб. «Нормы современного русского словоупотребления», М.—Л., 1966, стр. 7—8.

²⁰ Речь идет о литературных языках с древними письменными традициями, которым предшествовали письменно-литературные языки иного качества (например, донациональному украинскому — международный деловой украинско-белорусский, деловому украинско-белорусскому — деловой язык общерусский и т. п.). Что же касается языков донационального периода, развившихся на базе устноразговорного «культурного диалекта» или интердиалекта под влиянием другого международного языка, то их нормы отличаются «меньшей ригористичностью» (S t. U r b a ñ c z y k, указ. соч., стр. 33). В связи с этим некоторые исследователи истории славянских литературных языков утверждают, что по отношению к литературным языкам донационального периода следует говорить не о норме, а о языковом образце (W. T a s z y Ń s k i, *Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historyczno-językowych*, «Lingua posnaniensis», 3, 1951, стр. 222). Справедливые возражения по поводу употребления этого термина см.: S t. U r b a ñ c z y k, указ. соч., стр. 34.

был древнерусский деловой язык и, частично и не раньше XV в., — польский; для украинского литературного языка донационального периода в XVI — первой половине XVII в. — польский и в определенной степени церковнославянский, во второй половине XVII — XVIII в. — церковнославянский, со временем русский. Нельзя, однако, не отметить, что расширение функций донационального языка и реформационные веяния, проникавшие на Украину с Запада, принуждали лиц, пользующихся литературным языком, все чаще обращаться к народно-разговорному языку. Это приводило к появлению на всех уровнях языка сперва стилистически нейтральных, а со временем стилистически дифференцированных дублетов, которые вследствие широкого проникновения в письменные источники постепенно приобретали значение вариантов нормы²¹.

Характерные примеры введения ненормативных стилистически нейтральных слов в старый украинский литературный язык содержит Пересопницкое евангелие 1556—1560 гг., представляющее одну из первых попыток перевода канонического текста в истории украинского языка. Традиционно употребляемые церковнославянские, нередко греческие или древнееврейские по происхождению, слова объясняются в тексте украинскими народно-разговорными или заимствованными западнославянскими, например: *кѣкобѣ* (або коурица)²² (Пе, 283), *пѣрь* (честь або калацію) (284 об.), *бѣновою* (або фоудоментъ) (286 об.), *на рамена свои* (або на плечѣ) (287 об.), *десѣть драгѣ* мѣ (або десять гривень. або десять грошей) (288), *вѣ висѣ сонѣ* (в шарлатѣ а в дорогомѣ одѣнѣ) (293 об.), *на кровѣ* (на дахоу. або на стрѣбѣ) (298), *фѣрисей* (законникѣ) (299 об.), *мытарѣ* (ювногрѣшникѣ) (299 об.), *вѣ скоудѣлницѣ* водоу понесе(т) (в збанкоу. або вѣ глекоу) (318), *без мѣхѣ* ѿ бѣзѣ *мѣгалищѣ* (без мѣшка. або безѣ калиты) (320 об.), *коурѣ* запѣ(л). (або пѣвень) (323), згѣтовалѣ *арѣматѣ* ѿ *миро* (пахочуци рѣчи и масти) (329 об.), трѣтегѣ пакѣ дѣна бы(л) *брѣжѣ* вѣ канагалилен (весѣла) (346 об. — 347), ѿ рѣклѣ *ѣмоу*, *равѣи* [томуу выкла(д) оучѣлю] (349), злий *дѣла* (оучинѣки) (351), *колодѣзѣ* *йковѣ* [стоу(д)на або криница] (353), *скѣти* *ѣгѣ* (товарѣ, або быдло) (354) и др.

Акклиматизация простонародных слов в старом украинском литературном языке приводит к стилистической дифференциации традиционно употребляемых слов и нововведений, а отсюда — к возникновению двух разновидностей староукраинского языка: языка «простого», «русского» и языка «славеноросского». Это стихийное распределение закрепляется в практике после разработки в стенах Киевской академии теории трех стилей²³.

На фонетическом уровне ненормативные варианты могли допускаться либо как результат невнимательности и незнания литературных стандартов, либо вследствие введения новых слов, не охваченных еще влиянием литературных норм. Последние этимологически не совпадали с традиционными древнерусскими или церковнославянскими словами. Стилистической роли ненормативные (народно-разговорные) варианты не играли, однако чаще всего их можно встретить в источниках, написанных «простым языком», — документах местного самоуправления.

²¹ «Новые элементы, проникающие в язык (инновации) и утверждающиеся в нем, — пишет А. Едличка, — имеют, как правило, характер вариантов по отношению к традиционным элементам» (A. Jedlicka, Studium současných spisovných jazyků slovanšských a problematika variantnosti normy, SaS, XXIX, 2, 1968, стр. 120).

²² В тексте оригинала украинские синонимы-соответствия пишутся красными чернилами и обводятся рамками.

²³ См.: И. К. Білодід, Вчення М. В. Ломоносова про три стилі і його значення в історії російської і української літературних мов, «Ломоносовський збірник», Київ, 1963, стр. 40—41.

На морфологическом уровне норма допускала довольно широкий выбор вариантов. Среди них различаются: позиционные (фонологически или морфологически обусловленные), например, *-н/-ен-* (варианты суффикса страдательных причастий прошедшего времени, первый из которых выступает после гласных основы, второй — после согласных), *-ова-* $\left| \begin{smallmatrix} -ую- \\ -уе- \end{smallmatrix} \right.$ (варианты суффикса основы глаголов I класса), морфологические, например, *-у/-ови* (варианты флексии дательного падежа ед. числа существительных мужского рода, в равной степени допускаемых системой старого украинского литературного языка), графические и графически-фонетические, например, *-ти, -ті, -ты* (графические варианты суффикса инфинитива, возможно, отражающие уже в период XIV—XV вв. существующие варианты произношения) и стилистические. Среди последних можно выделить варианты книжного, церковнославянского происхождения, например, *-ч- [-щ-]* (варианты суффикса причастий и деепричастий настоящего времени, первый из которых характеризует восточнославянскую морфологическую структуру, второй — структуру церковнославянского языка) *-мѣ- [-мо]* (варианты аффикса 1-го лица ед. числа настоящего будущего времени, первый из которых является традиционным, а второй — усвоенным из народно-разговорного языка).

Тенденции развития нормы в старом украинском литературном языке (включая и деловой украинско-белорусский язык XIV—XV вв. — факт истории украинского и белорусского языков донационального периода) отчетливо видны при анализе изменений в соотношении вариантов глагольных аффиксов в различные периоды. Например, аффикс возвратных глаголов в деловом языке XIV—XV вв. состоит (не принимая во внимание документов, написанных латинским письмом) из четырех пар вариантов: *сѣ-/сѣ* (вариантная пара, отражающая возможность употребления аффикса в пре- и постпозиции), *ся-/ся, сѣ-/сѣ, се-/се*. Каждой из этих пар противопоставлен сокращенный позиционный вариант *-с*. Если варианты *сѣ-/сѣ* и *ся-/ся* отражают общеязыковые правописные нормы и встречаются в документах со всей украинско-белорусской территории, а также с польских, литовских и молдавских земель, то *сѣ-/сѣ* характерен только для молдавских грамот. Он отражает свойственную именно этому региону взаимозамену букв *е, ѣ, а*, и²⁴. Варианты *се-/се* свидетельствуют о диалектной неоднородности делового языка XIV—XV вв. и встретились только в двух документах — письме польского короля Казимира гродненскому наместнику Александру Юрьевичу (Радомль, 1489) и в разграничительной грамоте Ванько Чжусича из Квасилова (Львов, 1478). Наличие варианта *-с* дает право предполагать существование сокращенного возвратного аффикса в определенных фонологически обусловленных позициях. Это предположение подтверждает материал следующего периода в развитии старого украинского литературного языка.

Развитие нормы в литературно-письменном языке донационального периода происходило прежде всего в плане определенного сокращения графических и графически-фонетических вариантов. Ср. употребление отдельных аффиксов, представленных вариантными рядами в XIV—XV и XVI—XVIII вв.: $\frac{-ти, -ты, -ті, [-ть, -тѣ]}{-т}$, $[-чи] > -ти, -ты, [-ть/-т]$, $[-чи]$ (жяловати Улян., 12; обѣменѣты Гр. Влад.; роубати, оупоуцати Роз., 56; давати Укр. гр., 15; брать Укр. гр., 18; писати Улян., 65;

²⁴ В. Я ро ш ен ко, Українська мова в молдавських грамотах XIV і XV ст., «Збірник Комісії для дослідження історії української мови», I, Київ, 1931, стр. 262—263.

торговать Роз., 1; прилучитсѣ Укр. гр., 18; даѣ, загинуѣ Роз., 71; наѣчи Роз., 18 — мѣвити Бер., Сл., 109; ползоватися В. 1786, 144; молчать В. цн, 12; убитъ Розм., 101; быт АЮЗР, 8/III, 217; росказаѣ Ж., 43; мочи ПЕ, 142; спомочи АЮЗР, 1/I, 41 и др.); пере-, [пре-, прѣ-] > пере-, [пре-] (переходиѣ Роз., 52; перевозили Укр. гр., 49; прѣѣзлюбленнѣх/ Укр. гр., 61 — перебыѣает Бер., 59; пребѣываетъ Пан. Рог., 27, Пал., 320 и т. п.).

Интересно отметить, что в языке XVI — первой половины XVII вв. не встречаются употребляемые в деловом языке XIV—XV вв. отдельные локальные варианты, не свойственные, очевидно, большинству местных говоров и городскому просторечию. Например, в деловом языке XIV—XV вв. засвидетельствованы формы деепричастий с вариантом аффикса -о (оузревѣшо, не хотѣчо Роз., 72), не фиксируемые памятниками более позднего времени.

Основные изменения в употреблении морфем происходят в двух направлениях: 1) появление новых морфем, свойственных, очевидно, структуре народно-разговорного языка со всего этнического пространства Украины, что подтверждается территориальным распределением источников, содержащих эти формы; 2) расширение вариантных рядов морфем за счет элементов, заимствуемых из основных источников пополнения украинского литературного языка донационального периода: а) церковнославянского языка; б) польского языка; в) народно-разговорного языка.

В XVI — первой половине XVII вв. спорадически, а во второй половине XVII—XVIII вв. регулярно, хотя сравнительно с другими элементами морфологической структуры не часто, входит в постоянное, не ограниченное территориальным происхождением памятников и их стилиевой принадлежностью употребление парадигма аффиксов будущего синтетического времени -му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть, например, *торгати́муть* ДОС, 33; *подлежатиметь* ЦАЛМ, 11; *ночоватимуть* АЮЗР, 1/VI, 103; сѣ *ненадеватиметь* КА, 492; *мовитиметь* Г. К., 140²⁵; *видѣтимуть* ib., 139; *бачитимуть* ib., 140; *лежѣтимемъ*, *лежѣтимете* Рад. Ог. 281; *мѣтимуть*, *мѣтимуть* ib., 329, и др.

На протяжении всей истории украинского литературного языка донационального периода в нем активно употреблялись идущие из юго-западных диалектов — не без регулирующего влияния польского языка — позиционно не фиксированные личные аффиксы глагольных форм прошедшего времени

$\frac{-емъ, -ем/-омъ}{-мъ, -м}$ — *-есъ-есъ/-сѣ, -с* и др., например: *абымъ освѣдчилъ* Пал., 318; *которого сѣ визналъ* Пал. 359; *допѣлесь* В. цн., 12; *упѣлесь* Розм., 99; *почалисьмъ* Бер., 65 — *упросилемъ* Прот., 121; *продалемъ* АКПУГ II, 81; *моглемъ/мъ* К. Зин., 15; *вчиниле[с]* К. Зин., 17; *смю зрозумѣли* Галат., 762а; *приблисими* Прот., 121 и т. д. Личные аффиксы прошедшего времени в истории старого украинского литературного языка имеют тенденцию к уменьшению: в XVI — первой половине XVII в. средняя частота этих аффиксов равняется 2,62 (при $\varepsilon = 0,45$), а во второй половине XVII—XVIII в. соответственно 0,6 (при $\varepsilon = 0,55$).

Более заметные изменения происходят в соотношении вариантов аффиксов. В украинском языке XVI—XVIII вв. удерживаются и даже получают большее распространение употребляемые и в украинско-белорусском деловом языке XIV—XV вв. церковнославянские варианты восточнославянских аффиксов. При этом в соотношении традиционных восточнославянских и церковнославянских вариантов произошли ощутимые функ-

²⁵ Этот и последующие примеры см. в работе: П. Ж и т е ц к и й, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., Киев, 1889, стр. 53.

циональные изменения. В деловом языке XIV—XV вв. церковнославянские элементы, естественно, не были признаком стиля. Их наличие или отсутствие скорее может объясняться территориальным происхождением памятника. Отдельные варианты церковнославянского происхождения, например, морфы *-ни-/ени-*, представляющие вместе с морфами $\frac{-н-/ен-}{-т-}$ аффикс страдательных причастий прошедшего времени, употреблялись без отчетливого стилистического назначения до конца XVII в. Однако в большинстве случаев в языке XVI—XVII вв. употребление вариантов церковнославянского происхождения (*-щ-* наряду с *-ч-*, $\frac{иш-/ис-}{со-}$ наряду с *э-/с-*, *раз-/рас-* наряду с *роз-/рос-*, *пре-* наряду с *пере-* и т. п.) было признаком высокого стиля.

Польский компонент в вариантных рядах почти не ощущается. Примером польского влияния следует считать только редко употребляемый вариант [зе-], принадлежащий в XVI — первой половине XVII в. к вариантному ряду $\frac{э-/э-, э-/сэ-, с-}{иэ-, иэть-/ис-} \left| \frac{эо-, [ээ-]}{со} \right.$, например: *зепсовати* (Розм., 100, Хр. п., 76).

Заметно пополняются вариантные ряды, особенно во второй половине XVII—XVIII вв., морфами народно-разговорного происхождения. При этом симптоматичным является допущение нормой донационального литературного языка лишь тех элементов, которые были свойственны украинскому языку в целом, во всей совокупности его местных разновидностей. Как правило, появление народно-разговорных вариантов было обусловлено действием аналогии или давлением фонологического уровня языка на морфологический. Так, наряду с инфинитивным вариантом суффикса глаголов I класса *-ова-* появляется вариант *-ува-* (*згадувати* Ак. Ст. ²⁶), вариантный ряд корневой морфемы *бы-* $\left| \frac{ес-}{буд-} \right.$ пополняется морфой *бу-* (*добувати* Вел., II, 162; *пробува/т/* К. Зин., 41; *пробути* В. 1786, 146), наряду с вариантом *-и* в формах мн. числа прошедшего времени распространяется морфа *-ы* (*говорили* В. 1786, 143; *прот*рлы* В. 1790, 109; *не жесали* В. 1786, 146), значительно активизируются ранее редко употребляемые варианты суффиксов прошедшего времени *-въ*, *-е/-ё* (*стае/т* В. 1786, 146; *крае* АКПГУ, I, 27; *обецовався* ЖГС, 15 об.; *рассказе/т* Прот., 60; *украе* К. Зин., 32 об.; *пользе/т* В. 1790, 109), выступают варианты префиксов, отражающие озвонченное произношение отдельных глухих согласных и их вокализацию на стыке морфем (*о/ѳ/* — *праве/т/* ЖГС, 35 об.; *одо-слалъ* Вел., II, 364, *одобрати* Вел., II., 180), в глаголах I спряжения в 3-м лице ед. числа наряду с традиционными морфами *-тъ* и *-ть* выступает нулевая морфа (*думает* В. 1790, 109; *не хоче* В. 1790, 109; *не може* ЖГС, 33; *не зможе* К. Зин., 56; *повѣдае* К. Зин., 64; *достане* Мил. б., 372а; *буде* Вел., II, 108) и т. д.

Возрастание народно-разговорных элементов в украинском литературном языке донационального периода не изменяло его структуры, так как оно происходило в основном в пределах существующих микроструктур — вариантных рядов, которыми представлены морфемы.

Допустимость определенных народно-разговорных элементов в литературном языке донационального периода в большой мере обусловила нормы национального литературного языка. Этот момент следует особенно подчеркнуть, потому что одним из популярных в наше время взглядов

²⁶ См.: Ф. А. Непийвода, *Форми дієслів в «Актовій книзі Стародубського міського уряду 17 ст.»*, «Наук. зап. Черкаськ. держ. пед. ін-ту ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією», V. Серія філолог. наук, 5, 1960, стр. 168.

на закономерности образования большинства современных литературных языков (в частности тех, что развивались на основе параллельного функционирования донационального литературного языка народности и структурно близкого к нему международного языка) базируется на констатации разрыва между донациональным и национальным литературными языками²⁷.

Норма литературного языка национального периода, особенно в период его зарождения, отличается ориентацией на народно-разговорные формы. В литературный язык допускаются лишь те элементы, которые соответствуют современному состоянию и историческому прошлому его структуры. Следовательно, норму национального литературного языка можно рассматривать как среднее звено в цепи: система (структура) — норма — индивидуальная речь (текст). Подобный взгляд на норму национального литературного языка устанавливается в работах советских и чехословацких лингвистов²⁸. Базой нормы национального литературного языка от самого его зарождения является определенный литературный образец. Для морфологического — наиболее показательного в создании нового литературного языка²⁹ — яруса в истории национального украинского языка подобным образом были, прежде всего, допустимые в литературно-письменном языке донационального периода народно-разговорные варианты морфем. Высказываемое в дореволюционной и советской лингвистике мнение о том, что в XVIII в. происходит разрыв с традицией старого украинского литературного языка³⁰, основано на недооценке присутствия старой нормы в новом литературном языке³¹.

Признание нормализующей роли донационального литературного языка в становлении национального литературного языка ни в какой мере не находится в противоречии с тем положением, что основными компонентами современных литературных языков являются народно-разговорный язык города, территориальные диалекты и язык фольклора. Справедливость этого доказывается анализом украинских письменных источников XVIII — первой половины XIX в., отражающих процесс развития нормы национального украинского языка дошевченковского периода.

Уже автор первой украинской грамматики А. Павловский, говоря об источниках украинского литературного языка, называл живой разговорный язык городских жителей среднего сословия и язык фольклора³². Что же касается литературного языка донационального периода как регулятора новой нормы, то он, наряду с двумя остальными, реализуется в творчестве украинских писателей — известных и анонимных. Нормы древнего языка служат своеобразным фильмом при введении народно-

²⁷ Ср.: Н. И. Толстой, Славянские региональные литературные языки и их функции в современный и донациональный период, «Славянские литературные языки в донациональный период», стр. 15—16.

²⁸ См.: Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966, стр. 99; М. А. Жоборух, Прогноз теоретичний аспект культури української мови, «Мовознавство», 1967, 3, стр. 53—60; М. М. Пилинський, Поняття «норми» і культура мови, «Мовознавство», 1968, 4, стр. 69; А. Jedlička, указ. соч., стр. 117, и др.

²⁹ См.: Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, М., 1959, стр. 126.

³⁰ См.: П. Житецький, «Енеїда» Котляревського в зв'язку з оглядом української літератури XVIII ст., Київ, 1919, стр. 94; Ф. Т. Жилко, Некоторые особенности развития украинского национального языка, сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», стр. 107 и др.

³¹ На это указывал уже И. К. Белодед при анализе структурных компонентов языка Т. Г. Шевченко. См.: И. К. Білодід, Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови, Київ, 1964, стр. 19.

³² А. л. Павловскій, Грамматика малороссійскаго нарѣчія, СПб., 1818, стр. 110.

разговорных форм в новый литературный язык. Количество узкодиалектных форм в это время не только не возрастает, но даже уменьшается. Так, традиционно употребляемые в литературном языке донационального периода личные аффиксы прошедшего времени в литературных произведениях с территорий Поднепровья и Левобережья исчезают; они выступают как живые только в языке западноукраинских писателей (М. Шашкевича, И. Вагилевича, Я. Головацкого и др.) и регламентируются западноукраинскими грамматиками, например «Грамматикой языка славенор8ского» И. Могильницкого (1823). Из большого количества графических и фонетических вариантов аффикса инфинитива, свойственных литературному языку донационального периода, в языке писателей с Поднепровья в конце XVIII — первой половине XIX в. остаются лишь *-ти/-ты* и *-ть*. Традициями старого литературного языка можно объяснить и наличие в грамматиках и словарях того времени действительных причастий на *-чий*: *квітнуцій* Б.-Нос., 182; *торохтяцій* Б.-Нос., 355; *пишучій* Б.-Нос., 390, и др. Старый украинский литературный язык почти не знал действительных причастий прошедшего времени с суффиксами *-ви/-и*. Вместо них развиваются формы на *-лий*, например: *збівський* В., 187; *прилеглихъ* Пер., 211; *припалу* В. Цн., 12; *згиноулу* Бер., 65, и др. Эта тенденция была унаследована и новым украинским литературным языком. Формы действительных причастий прошедшего времени с морфемой *-ви/-и* употребляются в нем лишь со стилистической целью. Зато формы на *-лий* становятся вполне закономерными и стилистически нейтральными.

Употребление вариантов суффикса прошедшего времени $-л/\frac{-л}{-о}$, характерных и для донационального литературного языка, в национальном языке обусловлено лишь фонологической позицией: *не чула* Б. Кукул., 50 об.; *забув* Котляр., 2,6; *змерз* Инт., 131. То же самое можно сказать об употреблении вариантов аффикса страдательных причастий прошедшего времени. В активном употреблении остаются только узаконенные старым литературным языком фонетические и морфологические варианты, свойственные большинству говоров украинского языка: $\frac{-н/-ен}{-м}, \frac{-ен}{-м}$.

Другие возможные варианты, фиксируемые этнографически-диалектологическими записями позднейшего времени, в том числе и на территории Поднепровья, в новом литературном языке не используются. Это, в частности, касается варианта *-ян*, широко распространившегося в юго-восточных говорах (типа *принесяна* Крим., Звин., 16; *зробляна* Крим., Звин., 17, *городяно* Крим., Звин., 31 и др.).

Новый украинский литературный язык унаследовал от старого, донационального, суффиксы глагольных основ. И здесь древние, традиционные морфы сохраняют более прочные позиции, чем их народно-разговорные фонетические варианты. Например, из двух параллельно функционировавших до середины XIX в. инфинитивных вариантов суффикса основы I класса *-ова-* и *-ува-* значительно чаще употребляется первый, например: *розказовав*, *жаловався* Котляр., 2,10; *танцював* Котляр., 2,23, *мальовав* Кв.-Основ., 3; *розказовав* Кв.-Основ., 4, и др. Не последнюю роль сыграли древние литературные образцы и в становлении системы префиксов в новом украинском литературном языке.

В качестве ориентира для становления национального литературного языка не обязательно выступает донациональный литературный язык этого же этнического единства. Бывают случаи, когда роль образца играет национальный литературный язык близкого народа. Например, немалое значение в истории словацкого национального литературного языка

имел чешский литературный язык, выступающий в качестве образца при создании переходных литературно-письменных языков донационального периода, в частности бернолаковщины, способствующей появлению позднейшей штуровщины³³. Р. Оти справедливо замечает, что «для словаков... чешский язык был тем же, чем являлся для ортодоксальных славян церковнославянский язык; и он не мог не замениться новым литературным языком, который базировался бы на живых народных говорах»³⁴.

Характерной тенденцией в развитии национальных литературных языков является интеграция диалектов. Ее можно обнаружить в любой из периодов истории литературного языка, даже тогда, когда диалектная основа как таковая утрачивается и ее место занимают различные смешанные говоры, местные варианты просторечья³⁵. И диалекты (генетически целостные единицы), и местные просторечные варианты (смешанные системы, образованные на основе одного или нескольких диалектов, литературного языка, иноязычных нелитературных заимствований и местных инноваций) постоянно взаимодействуют с национальным литературным языком, составляют его питательную среду, являются залогом его развития.

Ведущую роль в регулировании взаимосвязей литературного языка, диалектов и других нелитературных разновидностей, охватываемых влиянием определенного литературного языка, играет язык художественной литературы. Последний в значительной степени является индивидуальным (в поэзии) или индивидуализирующим (в прозе и особенно в драматургии). Поэтому «...в прозе, особенно там, где этого требует идейный замысел писателя, жанр произведения (ср., например, способы стилизации языка эпохи в историческом романе) и его композиция, можно мобилизовать „архивные средства“ языка, можно использовать элементы классовых жаргонов социально-групповых или народно-региональных способов выражения; в качестве иллюстрации можно назвать документальное использование стилей литературных и исторических памятников. Однако язык истинно художественного произведения не должен слишком далеко отходить от структуры, от основ общенародного языка»³⁶, т. е. от кодифицированного национального литературного (стандартного) языка.

Так, в языке украинской классической и современной художественной литературы можно найти те формы выражения грамматических категорий, которые были свойственны литературному языку донационального периода или представлены в современных украинских говорах. Примером использования в художественной литературе морфологических средств, соответствующих нормам старого украинского литературного языка, могут быть личные формы глагола *бути*. Ср.: «...диравилъ еси себѣ уши часто, а приправлялъ еси заушницѣ з перель...» (ДОС, 30) — «Слава тобі, Шафаріку, Вовіки і віки! Що звів еси в одно море Слав'янські ріки!» (Шевч., I, 263); «...иже ес'мо еще нѣколи таковоу рѣчи не видали» (ПЕ, 138) — «...Ми відкинули назву „українофілі“, а звемось просто українці, бо ми такими ес'мо» (Українка, 9, 63); «...ваши милости, ксендзове бискупі, тое славите в своем писаню, што есте возлюбилі...» (В., 66) — «Ви месники есте» (Бажан, 22) и т. п. Употребление устаревших форм и конструкций в языке современной художественной литературы —

³³ Л. Н. Смирнов, О роли А. Бернолака (1792—1813) в истории словацкого литературного языка, «Славянские литературные языки в донациональный период (Тезисы докладов)», стр. 18—19.

³⁴ R. A u t y, указ. соч., стр. 168.

³⁵ Ср.: А. Мартин, Основы общей лингвистики, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 511.

³⁶ St. U r b a ŋ i c z y k, указ. соч., стр. 22.

это проявление присутствия старой нормы в системе норм языка современной художественной (и публицистической) литературы.

Еще более отчетливо выступает этническая обусловленность системы норм: охват практически всей совокупности форм, представленных в подвергающихся влиянию литературного языка диалектах. Проникновение их в язык художественной литературы является ярчайшим свидетельством направленности нормы национального литературного языка на общенародный язык, представленный в его территориальных и социальных проявлениях. В современной украинской литературе представлены почти все диалектные системы глагольных форм. Например, наряду с возвратным аффиксом *-ся/-сь* фиксируется западноукраинский *си* (*переродив си* Стеф., 1, 216); наряду с аффиксами *-и-ть*, употребляемыми в качестве показателей 3-го лица ед. числа глаголов II спряжения, выступает юго-восточная форма на *-е-ѣ* (*мороче* Кроп., 5, 563, *позице* Стор., 233), нулевой вариант показателя 3-го лица ед. числа возможен и в глаголах I спряжения, где он выступает в позиции после сокращенного суффикса основы (*балака*, *слуха* Шевч., 1, 116, *позира*, *спостеріга* Кроп., 5, 563, *одбива* Коцюб., 2, 107 и др.); в 3-м лице мн. числа может выступать *-т* — диалектный (юго-западный) вариант личного окончания (*продають* Стеф., 1, 75, *в'януть*, *гинуть*, *плачуть* Стеф., 1, 216 и др.); встречаются личные формы прошедшего времени (*був-ем*, *взив-ем*, *ілав-ем* Стеф., 76, *вчитали-смо* Правда, 74) и др.

Употребление диалектных и просторечных соответствий к традиционным вариантам является признаком языка художественной литературы, особенно прозы и драматургии. Принято считать, что в таких случаях авторы отступают от нормы³⁷. В этом проявляется смещение двух близких, но далеко не идентичных понятий: нормы и кодификации³⁸. Норма регулирует развитие литературного языка как определенного исторического явления, развивающегося путем интеграции нескольких исторически изменяющихся языковых систем: системы донационального литературного языка, международного донационального или близкородственного другого национального языка, системы устноразговорного языка ведущего в истории народа центра, системы языка фольклора, системы одного или нескольких территориальных проявлений (диалектов), системы других литературных языков, находящихся в контакте с данным литературным языком.

В истории конкретного литературного языка роль каждого из названных источников не одинакова. Некоторые из них (например, система другого близкородственного донационального или национального языка) вообще могли не принимать участия в его формировании. Однако неоспоримо, что основным приобретением национального литературного языка является выработка на базе ряда источников стойких культурных традиций. «Писать сегодня так, как говорит народ, понимая это дословно, — замечает Л. Ионке, — означало бы возврат к прошлому, утрату драгоценного обогащения литературного языка, возврат к фольклору, а то и к диалекту... Пословица XX в. („Пиши, как пишут хорошие писатели!“) включает в себя и пословицу XIX в. („Пиши так, как говорит народ!“); она не отрицается, а лишь расширяется и обогащается»³⁹.

³⁷ См.: Л. В. Щербач, Спорные вопросы русской грамматики, «Р. яз. в шк.», 1939, 1, стр. 10; Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, стр. 249.

³⁸ Ср.: «Норма устанавливается учреждениями или авторитетными лицами и предписывается обществу» (Т. П. Ломтев, Язык и речь, «Вестник МГУ», VII, 1961, 4, стр. 65).

³⁹ L. Jonke, Književni jezik i teoriji i praksi, «Znanje», Zagreb, 1964, стр. 16.

В отличие от нормы кодификация является результатом научного познания закономерностей проявления нормы на определенном этапе развития языка и представляет собой собрание правил об употреблении слов и форм во всех стилях литературного языка⁴⁰. Степень кодификации литературного языка не одинакова в различные периоды его развития. Так, приведенные выше примеры употребления диалектных вариантов в языке украинской художественной литературы имеют различное отношение к кодификации в дореволюционный и послереволюционный периоды. Кодификация — это прежде всего наличие грамматик и словарей. Чем их больше, чем шире ими пользуются, чем меньше в них расхождений и противоречий, тем выше степень кодифицированности литературного языка. Недостаточное количество такой литературы отрицательно сказывалось на развитии украинского литературного языка дореволюционного периода. Частные дискуссии по поводу нормативности или ненормативности определенных слов и форм в какой-то мере способствовали унификации литературного языка, но в большинстве случаев все же кончались бесплодно, так как отсутствовало надлежащее научное описание системы языка. В советское время ситуация коренным образом изменилась. Наличие нормативных (кодификационных) грамматик и словарей, преподавание украинского языка в средней и высшей школе — это серьезные фильтры для проникновения в литературный язык диалектных и других слов и форм⁴¹.

Некодифицированные элементы квалифицируются в нормативных грамматиках и словарях как областные, диалектные, разговорные, жаргонные и т. п. Следовательно, нормы украинского литературного языка допускают их употребление, однако с учетом кодифицированности они могут быть использованы лишь в некоторых функциональных стилях и с определенным экспрессивным назначением. Нормированность языка выступает в виде двух ярусов: верхнего (кодифицированные элементы) и нижнего (некодифицированные, но системно обусловленные и исторически оправданные нормативные варианты, употребляемые преимущественно со стилистической целью). Кодификационные принципы наиболее полно проявляются в специальных стилях языка. В рамках художественной литературы, а также эпистолярной и частично публицистической возможно употребление вариантов языковых средств, не кодифицированных, но и не противоречащих существующим нормам слово- и формоупотребления.

Как видно, вопросы нормы на различных этапах развития славянских языков рассматриваются неодинаково. Изучение конкретных проявлений языковой нормы в славянских языках может явиться одним из оснований пока еще не созданной сравнительной истории славянских литературных языков⁴².

⁴⁰ B. Havránek, Studie o spisovném jazyce, Praha, 1963, стр. 119; A. Jedlička, K problému normy a kodifikace spisovné češtiny (oblastní varianty ve spisovné normě), SaS, XXIV, 1, 1963, стр. 9 и др.

⁴¹ І. К. Білодід, Контакти української мови з іншими слов'янськими та уніфікація її усної літературної форми, Київ, 1968, стр. 24.

⁴² B. Havránek, Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských, «Slavia», XXVII, 2, 1958, стр. 153.

ЛИТЕРАТУРА

(принятые в статье сокращения названий)

- Ак. Ст. — «Актовая книга Стародубского городского уряда 1693 г.», под ред. В. Л. Модзалевского, Чернигов, 1914.
- АКПГУ — «Актовые книги Полтавского городского уряда XVII века», ред. и примеч. В. Л. Модзалевского, I—II, Чернигов, 1912.
- АЮЗР — «Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею по разбору древних актов...», ч. 1, т. I, Киев, 1859; ч. 8, т. III, Киев, 1909.
- В. Кукул. — рукописная книга с записями религиозных и светских народных песен, сделанными Б. Кукуловским в 1791 г. Хранится в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. I. 7541.
- Бажан — М. Бажан, Наша рідна Москва, Київ, 1951.
- Бер. — «Вѣршѣ» П. Беринды (В. Резанов, Драма українська, I, Київ, 1926).
- Б.-Нос. — П. Білецький-Носенко, Словник української мови, Київ, 1966.
- В. — И. Вишневский, Соч., М. — Л., 1955.
- В. 1786 — «Вѣрша» 1786 г. (сатира на духовенство). Содержится в рукописной книге конца XVIII в. «Наставления врачевная», хранящейся в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. I. 7574.
- В. 1790 — «Вѣрша, сказиванна 1790 году в свѣтлый день князю Григорію Петровичу Потемкину козаками чорноморцами». Содержится в рукописной книге конца XVIII в. «Наставления врачевная», хранящейся в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. I. 7574.
- Вел. II — «Лѣтопись событий въ Юго-Западной Россіи в XVII в. Составилъ Самойлъ Величко, бывший канцеляристъ канцеляріи Войска Запорожского, 1720», II, Киев, 1851.
- В. пн. — панегирик А. Митуры «Вѣзерункъ цнотъ» (В. Перетц, Панегірик «Вѣзерункъ цнотъ» перевел. о. Е. Плетенецкого, Київ, 1909).
- Галят. — І. Галытовский, Ключ розумѣнія, Київ, 1659.
- Гр. Влад. — Грамота польского короля Владислава 1379 г., Жидачев. Хранится во Львовском филиале Центрального исторического архива УССР, ф. 129, оп. 1, свит. 16, ед. хр. 6.
- ДОС — Ю. А. Яворский, Пропавшая западнорусская книга «Диалог о смерти» 1621 г., СПб., 1912.
- Ж. * — Актова книга Житомирского мѣського уряду кінця XVI ст. (1582—1588), Київ, 1965.
- ЖГС — Актовая книга Житомирского городского суда 1649—1650 гг. Хранится в Государственном историческом архиве УССР (Киев), ф. 11, оп. 1, ед. хр. 13.
- Інт. — «Українські інтермедії XVII—XVIII ст. Пам'ятки давньої української літератури», Київ, 1960.
- КА — Креховский Апостол. Рукопись хранится во Львовской библиотеке АН УССР под № 1291.
- Кв.-Осн. — Г. Квітка-Осн. Яненко, Вибрані твори в одному томі, Київ, 1937.
- К. Зин. — К. Зино́в'єв, Вірші і приказки. Машиннопись, подготовленная к печати И. П. Чепигой и В. П. Колосовой по рукописи, хранящейся в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. VIII. 73.
- Котляр. — І. П. Котляревський, Повне зібрання творів у 2-х томах, Київ, 1952—1953.
- Коцюб. — М. Коцюбинський, Твори в 3-х томах, Київ, 1955.
- Крим., Звин. — А. Кримський, Звинигородщина з погляду етнографічного та діалектологічного, ч. I. Побутово-фольклорні тексти, Київ, 1928.
- Кроп. — М. Кропивницький, Твори в 6-ти томах, Київ, 1958—1959.
- Мил. б. — «Милость Божія», рукопись первой половины XVIII в. Хранится в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. I. 6527.
- Пал. — «Палинодія» З. Копыстенского («Русская историческая библиотека», т. 4. Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. I, СПб., 1876).
- Пан. Рог. — панегирик М. Рогозе (С. Голубев, Панегірик, поднесений в 1591 г. Львовским братством митрополиту Михаилу Рогозе — отд. отт.).
- Пер. — «Пересторога» («Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археологическою комиссіею», IV (1586—1632, СПб., 1851).
- ПС — Пересопницкое евангелие 1556—1561 гг. Рукопись хранится в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР, инв. н. I. 15512.
- Правда. — «Правда» 30 I 1876, Львов.
- Прот. — «Протокулъ до записована справ поточныхъ на рокъ 1690», Чернигов, 1852.
- Роз. * — В. Розов, Южнорусские грамоты, I, Киев, 1917.

* В сокращениях, обозначенных звездочкой, последующие цифры соответствуют номеру документа. В остальных сокращениях цифрами обозначены том и страница.

- Розм.— «Розмышляньє о муцѣ Христа Спасителя нашего» И. Волковича (В. Резанов, Драма українська, 1, Київ, 1926).
- Стеф.— В. Стефаник, Повне зібрання творів у 3-х томах, Київ, 1—1949, 2—1953, 3—1954.
- Стор.— О. Стороженко, Твори в двох томах, 1, Київ, 1957.
- Українка — Л. Українка, Твори в 10-томах, Київ, 1963—1965.
- Укр. гр.* — «Українські грамоти XV ст.», Київ, 1965.
- Улян.* — В. О. Уляницький, Материалы для взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV—XV вв., М., 1887.
- ЦАЛМ — А. Лазаревский, Цеховые акты Левобережной Малороссии (1622—1645) (отд. отт.).
- Шевч.— Т. Шевченко, Повне зібрання творів у 10-ти томах, Київ, 1—1951, 2—1953.
-

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. М. МУХИН

МОДЕЛИ ВНУТРЕННИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. В последние годы лингвисты уделяют значительное внимание вопросу о том, как свести бесконечное разнообразие предложений каждого языка к конечному числу их структурных «моделей», «схем» или «формул». Касаясь славянских языков, А. В. Исаченко отмечал: «для того чтобы рельефно описать репертуар элементарных синтаксических структур славянских языков, необходимо определить для каждого языка какое-то минимальное количество предложений-моделей...»¹. Обоснованию понятия «синтаксической формулы предложения как абстрактной единицы синтаксической системы» посвятил ряд работ Фр. Данеш, полагая при этом, что «...для чешского языка существенными элементами формул можно считать два отношения синтаксической связи, а именно: зависимость и присоединение, части речи, некоторые морфологические категории, и в меньшей степени также и порядок слов»². В сторону определения конечного списка структурных схем предложения» направляет свои усилия (на материале русского языка) Н. Ю. Шведова, которая исходит из того, что для этих схем «первостепенны два признака: а) отвлеченный характер, делающий их собственно образцом, представляющим перед нами в речи в самых разнообразных конкретных выявлениях; б) достаточность для независимого функционирования образованных на их основе высказываний, необусловленность их каким-нибудь соседством, вхождением в состав другого, более сложного построения или речевой ситуации»³.

В настоящей статье речь будет идти о построении моделей внутренних синтаксических связей предложений, или, короче, юнкционных (от лат. *functio* «связь») моделей предложений, которые являются знаковыми структурными моделями (в знаках отражается внутренняя организация предложений)⁴. Термин «модель» употребляется здесь в соответствии с той

¹ А. В. Исаченко, К вопросу о специфике структурного изучения грамматического строя славянских языков, «Slavia», 3, 1965, стр. 404. См. также: А. В. Исаченко, Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных, сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

² Фр. Данеш, Опыт теоретической интерпретации синтаксической омонимии, ВЯ, 1964, 6, стр. 4. См. также: Фр. Данеш, Syntaktický model a syntaktický vzorec, «Ceskoslovenské přednášky pro V. Mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963; его же: A three-level approach to syntax, «Travaux linguistiques de Prague», 1, 1964; его же: K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků, SaS, 2, 1965.

³ Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке (опыт типологии), сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 4—5. См. также: Н. Ю. Шведова, Построение раздела «Синтаксис словосочетания и простого предложения», в кн.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 147.

⁴ Ср. постановку вопроса о структурных моделях в общем, гносеологическом плане: Б. А. Глиньский, В. С. Грязнов, В. С. Дынин, Е. П. Никитин, Моделирование как метод научного исследования (Гносеологический анализ), М., 1965, стр. 118 и сл.

характеристикой модели как заместителя оригинала (служащего целям получения знаний об оригинале), которая является, можно сказать, общепризнанной в специальной литературе, посвященной моделированию как методу научного исследования⁵. Укажем также еще на два момента, обычно отмечаемых в специальной литературе по моделированию. Один из них заключается в акцентировании той роли, которую играют в процессе моделирования отношения изоморфизма (взаимно однозначное, или одно-однозначное, соответствие) и гомоморфизма (много-однозначное соответствие)⁶. Другим моментом, тесно связанным с предыдущим, является акцентирование тех возможностей, которые открываются при моделировании в отношении количественных исследований⁷.

2. С помощью экспериментов, заключающихся в последовательном исключении синтаксических связей (или, иначе, отбрасывании соответствующих компонентов), в структуре предложений английского, а также русского и других языков можно установить наличие существенно различных синтаксических связей. Одна из этих связей, именуемая обычно *предикативной связью*, характеризуется тем, что сама по себе способна создавать предложение. Другие же синтаксические связи лишены этой способности, и поэтому их можно назвать *непредикативными*. Например, в английских предложениях *I wander round the coast* (Sh.) и *He walked rapidly towards the door* (J.)⁸, включающих в себя, соответственно, две и три синтаксические связи, предикативной является связь между первым и вторым компонентами (*I wander, he walked*), непредикативной — связь между третьим и вторым компонентами (*wander round the coast, walked rapidly*), а также — связь между четвертым и вторым компонентами (во втором предложении: *walked... towards the door*). Кроме признаков предикативности и непредикативности (способности и неспособности создавать предложение), указанные синтаксические связи имеют еще некоторые другие существенные признаки, а именно: предикативная связь в рассматриваемых двух случаях связывает два компонента предложения, в одинаковой мере предполагающие друг друга, т. е. характеризуется двусторонней направленностью, непредикативная же связь связывает один компонент с другим компонентом предложения, имея одностороннюю направленность (в первом предложении третий компонент *round the coast* предполагает второй *wander*, так же как во втором предложении третий и четвертый компоненты *rapidly* и *towards the door* предполагают второй *walked*, но не наоборот). Учитывая эти два существенных

⁵ См., например: Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин, указ. соч., стр. 18, а также: А. А. Зиновьев, И. И. Резвин, Логическая модель как средство научного исследования, ВФ, 1960, 1, стр. 83; В. А. Веников, Некоторые методологические вопросы моделирования, ВФ, 1964, 11, стр. 76; Л. Баженов, Б. Бирюков, В. Штофф, Моделирование, в кн. «Философская энциклопедия», 3, М., 1964, стр. 478—479; И. Б. Новик, Моделирование сложных систем (философский очерк), М., 1965, стр. 42; В. А. Штофф, Моделирование и философия, М.—Л., 1966, стр. 19; А. А. Зиновьев, Основы логической теории научных знаний, М., 1967, стр. 143.

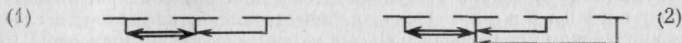
⁶ Подробнее об отношении гомоморфизма и изоморфизма в связи с проблемой моделирования см.: Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин, указ. соч., стр. 26—27, 120—122; В. А. Штофф, указ. соч., стр. 128—129, 142, 147—148.

⁷ Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин, Гносеологические проблемы моделирования, ВФ, 1967, 2, стр. 69. См. также о наглядных моделях (широко используемых, в частности, в физике и химии) как средстве «перехода от качественного этапа в процессе познания объекта к его точной количественной характеристике» (Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин, указ. соч., стр. 33).

⁸ Приводимые в настоящей статье примеры взяты в основном из рассказов Шоу (Sh.) и Джойса (J.) («Modern English short stories», Moscow, 1961).

признака, предикативную связь в рассматриваемых двух примерах можно было бы точнее назвать предикативной социативной (от лат. *socio* «соединяю; объединяю») связью, непредикативную же вполне адекватно можно назвать — в соответствии с распространенной терминологией — с у б о р д и н а т и в н о й, или подчинительной, связью (о других непредикативных связях см. ниже).

Обозначим признак предикативности двойной прямой линией (=), признак двусторонней направленности (социативности) связи — двумя стрелками (обращенными в сторону того и другого компонента), признак односторонней направленности — одной стрелкой (обращенной в сторону того компонента, которому подчинен данный компонент предложения), компоненты же предложения обозначим штрихами. Тогда получим следующие юнкционные модели (сокращенно — ю.м.) английских предложений *I wander round the coast* и *He walked rapidly towards the door*:



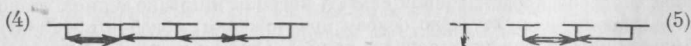
С помощью тех же самых приемов можно установить природу синтаксических связей и в таком, например, предложении, как: *Dusk — of a summer night* (Dr.)⁹. Последовательно исключая синтаксические связи, наличествующие в данном предложении между вторым (*summer*) и третьим (*of a... night*), между третьим (*of a... night*) и первым (*dusk*) компонентами, нетрудно убедиться в том, что они относятся к тому же типу синтаксической связи, что и связь между третьим и вторым компонентами предложения *I wander round the coast* или связи между третьим и вторым, четвертым и вторым компонентами предложения *He walked rapidly towards the door*, т. е. каждая из них является субординативной связью (см. ю.м. 3). Однако в отличие от рассмотренных выше случаев, при исключении субординативных связей из структуры предложения *Dusk — of a summer night* мы в остатке получаем один, а не два компонента, причем такой компонент, который сам по себе может образовывать предложение (*Dusk*). Данный факт можно было бы истолковать с помощью понятия особой «нулевой предикативной связи», которая в предложениях второго типа составляет структурную основу предложения, подобно предикативной связи в предложениях первого типа¹⁰. Однако подлинной необходимости в понятии «нулевой предикативной связи» нет. Более того, оно оказывается излишним, если мы оперируем понятием структурной основы предложения, образуемой в одних предложениях двумя компонентами (при наличии между ними предикативной связи), в других — одним компонентом. Двойная прямая линия в юнкционных моделях предложений первого структурного типа (см. ю.м. 1 и 2) может быть интерпретирована как знак структурной основы предложения. Соответственно этот же знак (без стрелок) должен быть использован и при построении юнкционных моделей предложений второго структурного типа, в частности предложения *Dusk — of a summer night*, ср.:



⁹ Этот пример из «Американской трагедии» Т. Драйзера (Dr.) приведен в кн.: Б. А. И л ь и ш, Строй современного английского языка (B. I l y i s h, The structure of modern English), М. — Л., 1965, стр. 195.

¹⁰ По этому пути — с опорой на понятие «нулевой предикативной связи» — автор пошел в своей книге, анализируя, в частности, предложения типа *Море. Тропики. Абсолютный стиль* (см.: А. М. М у х и н, Структура предложений и их модели, Л., 1968, стр. 79 и сл.).

Кроме субординативной связи, к числу непредикативных связей в структуре предложений, в частности английских, следует отнести еще две другие существенно различные синтаксические связи. Одна из них представлена, например, в английском предложении *They made me do it*. В этом предложении синтаксическая связь, налицующая между третьим и четвертым компонентами (*me do*), имеет нечто существенно общее с предикативной связью, а именно она связывает два компонента, в одинаковой мере предполагающие друг друга (характеризуется двусторонней направленностью). Однако данная связь лишена способности создавать предложение, т. е. является непредикативной связью (подобно субординативной связи). В отличие от предикативной связи ее можно назвать *социативной* связью (понимая под «социативностью» двустороннюю направленность синтаксической связи). Третьей непредикативной связью, существенно отличной как от рассмотренной выше субординативной, так и от только что упомянутой социативной связи, является *интродуктивная* связь, налицующая, например, в следующем английском предложении: *Of course, you've seen about the room (I.)*. Специфика этой третьей непредикативной связи, по сравнению с двумя другими непредикативными связями, заключается в том, что она связывает данный компонент (*of course*) со всеми другими компонентами предложения (но не с отдельным компонентом, как субординативная или социативная связь) и при этом характеризуется односторонней направленностью (*of course* предполагает другие компоненты данного предложения, но не наоборот). С учетом сказанного относительно интродуктивной и социативной связей можно построить юнкционные модели последних двух предложений, из которых первое (*They made me do it*) включает в себя предикативную, социативную и две субординативные связи, второе же (*Of course, you've seen about the room*) — предикативную, субординативную и интродуктивную (при обозначении в юнкционной модели последней связи простая прямая линия приобретает вертикальное положение, поскольку стрелку нельзя направить в сторону какого-нибудь отдельного компонента, как в случае субординативной связи):



Специфика каждой из указанных трех непредикативных связей может быть подтверждена с помощью трансформаций. Так, если субординативная связь допускает трансформацию синтаксической конструкции в другую конструкцию, включающую в себя ту же субординативную связь (ср., например, глагольные конструкции *wander round the coast*, *walked rapidly* или *walked towards the door*, выделенные в первых двух предложениях, и их трансформы с отглагольными существительными: *wandering round the coast*, *rapid walking*, *walking towards the door*), то интродуктивная связь, также характеризуемая односторонней направленностью, не допускает подобных трансформаций. Специфика же социативной связи находит яркое проявление в следующих трансформациях: во-первых, предложения, подобные приведенному *They made me do it* (ю.м. 4), допускают трансформацию их в другие предложения, также включающие в себя социативную связь: *I was made to do it* (ср. также: *He allowed them to do that* и *They were allowed to do that*; *They supposed him to be innocent* и *He was supposed to be innocent* и т. п.)¹¹; во-вторых, многие подобные предложения транс-

¹¹ См., например, о подобного рода трансформациях (перестройках, соответствиях): А. С. Хорнби, Конструкции и обороты современного английского языка, М., 1958, стр. 32, 36, 40, 41, 45, 46, 49, 52.

формируются в более сложные синтаксические образования (так называемые сложноподчиненные предложения), в которых соответствующие компоненты предложения связаны между собой предикативной связью (ср., например: *They supposed him to be innocent* и *They supposed that he was innocent*, *They proved him to be wrong* и *They proved that he was wrong* и т. п.)¹². При этом обнаруживается, что возможность трансформации одних синтаксических конструкций в другие (особенно в случаях последнего рода) находится в зависимости от лексических факторов, т. е. подвержена определенным лексическим ограничениям. В частности, семантика глагольной леммы *to make* в нашем примере (из Хорнби) *They made me do it* (ю.м. 4) препятствует трансформации данного предложения в «сложноподчиненное предложение» (хотя не препятствует трансформации этого предложения в соответствующее предложение с социативной связью — в пассивную конструкцию *I was made to do it*).

Ограничения со стороны лексического материала дают себя знать не только при трансформациях, подобных указанным. Рассматривая выше субординативную связь по отношению к предикативной связи (на материале первых двух предложений *I wander round the coast* и *He walked rapidly towards the door*), мы отметили ее одностороннюю направленность (см. ю.м. 1, 2). Это значит, что можно опускать соответствующие компоненты (*round the coast*, *rapidly*, *towards the door*), получая при этом то, что потенциально является предложением (ср. *I wander...*, *He walked rapidly...*, *He walked... towards the door*). Равным образом опущение соответствующих компонентов возможно и на материале третьего предложения (ср. *Dusk — of a... night*, *Dusk...*). Иначе обстоит дело в отношении третьего компонента четвертого предложения *They made me do it* (ср. также: *He allowed them to do that* и т. п.), где он также связан субординативной связью со вторым компонентом (см. ю.м. 4): опущению данного компонента противится лексико-семантическая природа глагольной леммы *to make*, которая обозначает — в отличие от глагольной леммы *to wander* или *to walk* — действие, переходящее на объект (характеризуется лексико-семантическим признаком переходности). Аналогичные помехи при опущении компонента предложения, устанавливаемого на базе субординативной связи, возникают и при наличии субстантивных лексем, обозначающих действия переходного характера, например в случаях: *Tim now took a quick look at the scene*; *Nan took hold of his arm*¹³. Все это говорит о том, что при экспериментальном изучении внутренних синтаксических связей предложений следует учитывать факторы лексического порядка (как и морфологические и другие факторы, которых мы здесь не касаемся), ограничивающие возможности эксперимента¹⁴, необходимо дифференцировать явления, относящиеся к разным уровням языковой структуры. Различая переходность — непереходность как лексико-семантическую характеристику и субординативную связь как специфически синтаксическую связь, нетрудно построить юнкционные модели, например, следующих двух англий-

¹² См.: А. С. Хорнби, указ. соч., стр. 35—36. Ср. также в русском языке (где предложений с социативной связью меньше, чем в английском): *Он попросил ее прийти* и *Он попросил, чтобы она пришла*; *Я приказал ему стоять* и *Я приказал, чтобы он стоял*, и т. п.

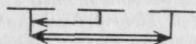
¹³ См. о случаях этого рода (в английском языке): G. G. Pocheptsov, Indispensable attributive adjuncts in English, «Lingua», 20, 1, 1968, стр. 4—5.

¹⁴ Ср. также «неопускаемость» предложно-именного сочетания *of operation* в предложении *She had some kind of operation* и т. п. (там же, стр. 1). См. также: В. Г. Адмони, Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, ВЯ, 1958, 1, стр. 112; M. Ivič, Non-omissible determiners in Slavic languages, «Proceedings of the 1X International congress of linguists», The Hague, 1964.

жих предложений (структура которых, как отмечает О. С. Ахманова, не поддается анализу по „непосредственно-составляющим“¹⁵):

Flying planes is dangerous; Flying planes are dangerous

(6)



(7)

Итак, в построенных нами юнкционных моделях предложений (ю.м.1—7) находит отражение факт наличия в структуре английских предложений четырех существенно различных синтаксических связей: предикативной, субординативной, социативной и интродуктивной¹⁶. Указанные юнкционные модели мы строили, исходя в каждом случае из какого-нибудь одного предложения. Следует, однако, заметить, что под каждую из этих семи моделей можно подвести множество, точнее бесконечное множество других предложений (повествовательных, вопросительных, восклицательных). Так, под первую юнкционную модель подводятся: *I look over the rail (Sh.)*, *I won't hear of it (J.)*, *Gabriel recognized the prelude (J.)*, *That won't delay you* и мн. др.; под вторую юнкционную модель подводятся: *He stared blankly down the staircase (J.)*, *I left her there (Sh.)* и т. д. Примечательно, что под вторую юнкционную модель наряду с предложением *I left her there* нельзя было бы подвести предложение *There I left her*, так как в этом последнем предложении порядок синтаксических связей иной, чем в первом. Иначе говоря, для построения юнкционных моделей предложений существенное значение имеет не только то, какие синтаксические связи обнаруживаются в структуре данных предложений, но и то, наличествует ли синтаксическая связь определенного типа (в частности, субординативная) между, например, четвертым и вторым компонентами (*I left her there*) или первым и третьим (*There I left her*) и т. д.

Строгое соответствие между знаками связей, расположенными в определенном порядке, и реальными синтаксическими связями в структуре предложений дает возможность рассматривать знаковые схемы, подобные приведенным выше, именно как модели предложений. Это соответствие может быть охарактеризовано как отношение изоморфизма (см. выше)¹⁷, так как каждый знак связи (например, сложный знак $\Leftrightarrow$) однозначно соответствует синтаксической связи определенного типа, а порядок знаков связей (по отношению к штрихам, обозначающим компоненты предложений) однозначно соответствует порядку синтаксических связей в структуре предложений¹⁸. Отношение изоморфизма между моделью и оригиналом — предложением дает возможность проводить количественные исследования, в частности устанавливать статистические характе-

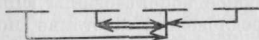
¹⁵ О. С. А х м а н о в а, «Смыслы» естественных человеческих языков и рациональная семантика, «Иш. яз. в шк.», 1968, 3, стр. 18. Важно обратить внимание на то, что, если бы мы направили стрелку при обозначении субординативной связи в первом из этих двух предложений в соответствии с признаком переходности (от *flying* к *planes*), то лишили бы себя возможности, опираясь на юнкционную модель, раскрыть природу второго компонента.

¹⁶ В настоящей статье мы не касаемся координативной связи, занимающей особое положение среди синтаксических связей в структуре предложений.

¹⁷ В данной статье понятие изоморфизма затрагивается лишь в связи с проблемой моделирования (построения знаковых структурных моделей, каковыми, в частности, являются юнкционные модели предложений). О попытках использования понятия изоморфизма в связи с изучением параллелизма или однотипности структуры лингвистических единиц различных уровней см.: Э. А. М а к а е в, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5.

¹⁸ Небезынтересно сравнение юнкционных моделей предложений с химическими формулами строения как знаковыми моделями. См.: В. А. Ш т о ф ф, Роль моделей в познании, Л., 1963, стр. 87—88, 89 и сл.

ристики юнкционных моделей. Например, можно сопоставить частотность реализации в английском языке второй из приведенных выше юнкционных моделей (*I left her there, He walked rapidly towards the door* и т. д.) и следующей юнкционной модели, включающей в себя знаки тех же трех синтаксических связей (ср. *There I left her* и т. п.):



(8)

Значение юнкционных моделей определяется не только теми возможностями, которые они открывают в отношении количественных (статистических) исследований. С построением юнкционных моделей связано дальнейшее исследование структуры предложений — выделение синтаксиса, которое составляет вторую фазу изучения структуры предложений (см. заключительное замечание в конце статьи)¹⁹. Здесь мы коснемся лишь компонентов предложения, выделяемых одновременно с синтаксическими связями в рамках первой фазы изучения структуры предложений. Приведенные юнкционные модели 1—8 отчетливо указывают на тот особый статус, которым обладают компоненты, входящие в структурную основу или ядро предложения (два компонента в предложениях первого типа и один компонент в предложениях второго типа). Адекватным наименованием таких компонентов предложения может быть термин *ядерные компоненты*, и тогда остальные компоненты, устанавливаемые на базе субординативной, социативной или интродуктивной связи, следует называть *неядерными компонентами*. Следовательно, одни из промоделированных выше предложений (ю.м. 1—2, 4—8) являются двухъядерными, другие же (ю.м. 3) — одноядерными. Далее, юнкционные модели 1—2, 4—8 указывают на то, что два ядерных компонента каждого из предложений, подводимых под эти модели, существенно отличаются (см. две стрелки в знаке предикативной связи) от единственного ядерного компонента предложений, подводимых под юнкционную модель 3. Из соответствующих предложений (*I wander round the coast, He walked rapidly towards the door* и др.) явствует, что один из двух ядерных компонентов (*I, he* и т. д.) наделен признаком предиктируемости, другой (*wander, walked* и т. д.) — признаком предиктирования, т. е. в предложениях первого типа различаются ядерный предиктируемый и ядерный предиктирующий компоненты. В предложениях же второго типа единственный ядерный компонент лишен как признака предиктируемости, так и признака предиктирования, т. е. он может быть охарактеризован просто как ядерный компонент. Соответственно признаками предиктируемости и предиктирования наделены и те два неядерных компонента, которые связаны между собой социативной связью (*They made me do it* и т. п., см. две стрелки в знаке социативной связи — ю.м. 4). Что же касается неядерных компонентов, выделяемых на базе субординативной и интродуктивной связей, то каждый из них характеризуется либо признаком зависимости (см. направление стрелки в знаке субординативной связи, ю.м. 1—8), либо признаком вводности (ю.м. 5). Наконец, юнкционная модель 4 указывает на то, что третий компонент соответствующих предложений (*They made me do it* и т. п.) находится в двойной синтаксической связи, или, иначе, в двух синтаксических связях: субординативной и социативной, т. е. является двухвалентным (будучи неядерным компонентом, он характери-

¹⁹ Подробнее о синтаксемах см.: А. М. Мухин, Функциональный анализ синтаксических элементов, М. — Л., 1964; его же, Структура предложений и их модели, стр. 29, 107, 127 и сл.

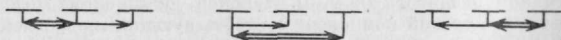
зуется одновременно и признаком зависимости по отношению к предшествующему компоненту и признаком предидируемости по отношению к последующему компоненту). Все же прочие компоненты таких предложений (как ядерные — первый и второй, так и неядерные — четвертый и пятый) являются одновалентными (характеризуются синтаксическими признаками, устанавливаемыми на базе лишь одной, или одинарной, синтаксической связи). Подобное использование юнкционных моделей при изучении компонентов предложений отчетливо показывает их роль как заместителей оригинала, служащих целям получения знаний об оригинале.

3. До сих пор, строя юнкционные модели предложений, мы шли индуктивным путем: исходной точкой при построении моделей служило то или иное конкретное предложение (английского языка) с его внутренними синтаксическими связями, дифференцируемыми с помощью экспериментов. Имеется, однако, и дедуктивный путь — путь исчисления возможного количества юнкционных моделей предложений с последующей проверкой их на материале того или иного конкретного языка²⁰. Этот второй путь становится возможным благодаря тому, что при изучении конкретных предложений (первый путь) была установлена специфика предложений, заключающаяся в наличии в их структуре ядерных и неядерных компонентов, из которых первые образуют структурную основу предложения (два ядерных компонента в предложениях первого типа и один ядерный компонент в предложениях второго типа). Отсюда следует, что юнкционная модель предложения должна содержать в себе по меньшей мере знак структурной основы предложения. Такая юнкционная модель была бы моделью нераспространенного предложения (двухъядерного). Нас же здесь интересуют юнкционные модели распространенных предложений, которые включают в себя, кроме того, один или более знаков субординативной связи (наиболее часто реализуемой в предложениях самых различных языков). Например, можно поставить задачу: сколько вообще возможно построить юнкционных моделей предложений при условии, если предложения содержат в себе предикативную и одну субординативную связь. Оказывается, таких юнкционных моделей предложений может быть не более шести (три из них — первые из следующих трех пар — уже приводились выше, см. ю.м. 1, 6, 7)²¹:



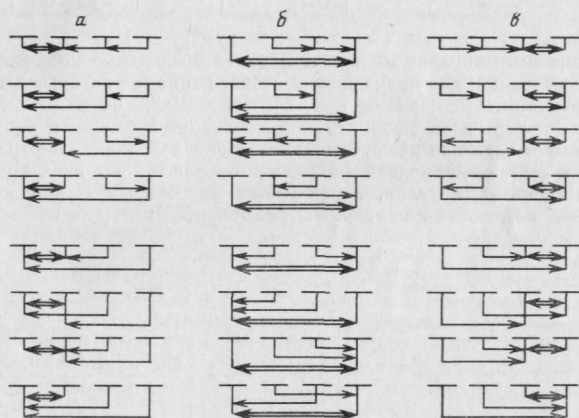
²⁰ В литературе по моделированию ставится вопрос о соотношении индукции и дедукции, о многозначности моделирования. (см.: И. Б. Новик, указ. соч., стр. 35—36).

²¹ При построении юнкционных моделей предложений нужно отличать правильные модели от неправильных. Неправильными, например, являются следующие юнкционные модели (ср. ю.м. 1, 6, 7).



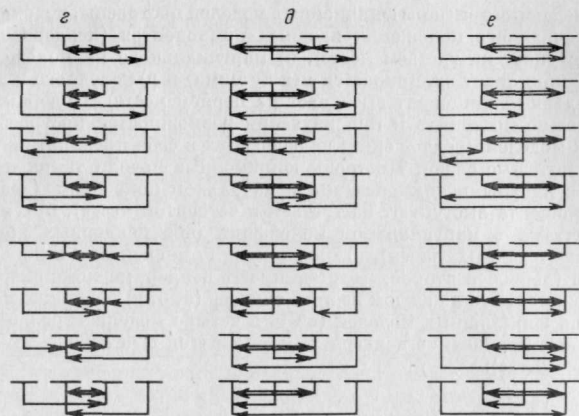
Неправильными они являются потому, что стрелка в знаке субординативной связи оказалась повернутой не в ту сторону. Если бы мы исходили из таких моделей при истолковании элементов в структуре предложений, то пришли бы к выводу, что, например, в предложениях, подводимых под первую из этих трех (неправильных) моделей, второй элемент входит в двойную синтаксическую связь (и предикативную, и субординативную), тогда как третий элемент оказывается вообще вне связи (ср. с другой стороны, ю.м. 1). Иными словами, следствием непра-

Приведенные три пары юнкционных моделей построены, исходя из учета: а) начального положения ядерных компонентов (неядерный компонент выступает на третьем месте), б) маргинального их положения (неядерный компонент вклинивается между ними) и в) конечного их положения (неядерный компонент выступает на первом месте). Подобным же образом можно поступить и при изучении возможностей построения юнкционных моделей предложений, включающих в себя предикативную и две subordinативные связи. Построим юнкционные модели таких предложений: а) с ядерными компонентами в начальном положении (два неядерных компонента выступают на третьем и четвертом месте), б) с ядерными компонентами в маргинальном положении (оба неядерных компонента вклиниваются между ними), в) с ядерными компонентами в конечном положении (первое и второе место занимают неядерные компоненты). При этом окажется, что в каждом из этих случаев (а, б, в) возможно построить по восемь юнкционных моделей (из них четыре модели отражают последовательное подчинение неядерных компонентов и четыре — их раздельное подчинение):

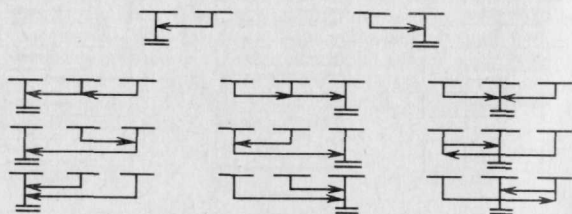


Указанными моделями (а, б, в) не исчерпываются возможности построения юнкционных моделей предложений, включающих в себя предикативную и две subordinативные связи. Кроме приведенных двадцати четырех моделей, возможны еще юнкционные модели предложений: г) с ядерными компонентами в срединном положении (восемь моделей, из них четыре отражают последовательное и четыре — раздельное подчинение неядерных компонентов), д) с ядерными компонентами, занимающими первое и третье место (также восемь моделей, соответственно подразделяемых) и е) с ядерными компонентами, занимающими второе и четвертое место (также восемь моделей — с последовательным и раздельным подчинением неядерных компонентов). Приведем и эти двадцать четыре юнкционные модели:

... вильного построения юнкционной модели была бы невозможность раскрытия дифференциальных признаков элементов в структуре предложений.



Аналогичным образом можно установить предельные количества юнкционных моделей и для предложений второго типа (из которых выше было рассмотрено лишь одно: *Dusk — of a summer night*, см. ю.м. 3). Например, при условии, если в структуре предложений второго типа (однойдерных) имеются одна или две субординативные связи, можно построить следующие юнкционные модели (в первом случае — две, во втором — девять юнкционных моделей, отражающих как последовательное, так и раздельное подчинение неядерных компонентов):



Рамки данной статьи не позволяют продолжить наметившуюся здесь линию исследования (дедуктивное построение юнкционных моделей предложений)²². Однако можно утверждать, что количество юнкционных моделей во всех случаях моделирования структуры предложений (при наличии, например, кроме предикативной связи, трех, четырех и т. д. субординативных связей, а также иных связей, о которых говорилось выше) будет конечным (при бесконечном количестве самих предложений, подводимых под ту или иную юнкционную модель). Кроме того, речь здесь идет лишь о теоретически возможном количестве юнкционных моделей. Практически же применительно к каждому языку количество юнкционных моделей предложений окажется намного меньше теоретически допустимого.

²² Следует ожидать, что закономерности построения юнкционных моделей предложений найдут строгое математическое выражение (исчисление возможного количества юнкционных моделей в том или ином случае с помощью математического аппарата).

Так, в английском языке вряд ли можно было бы обнаружить все те предложения с предикативной и двумя субординативными связями, которые подводились бы под построенные выше сорок восемью юнкционных моделей (а, б, в, г, д, е). С другой стороны, есть основания полагать, что в русском языке (с его сравнительно свободным «порядком слов») эти модели реализуются шире, чем в английском языке. Дедуктивное построение юнкционных моделей предложений с последующей проверкой их на материале конкретных предложений представляется особенно перспективным для типологического изучения языков. Опора на юнкционные модели предложений (а не на сами предложения, образующие бесконечные множества) позволит осуществить исследование количественного распределения в тех двух планах, о которых говорила В. Н. Ярцева в связи с вопросом о типологии родственных языков («определение соотносительной частотности однопорядковых моделей в данном языке» и «определение удельного веса той или иной модели в разных языках») ²³.

4. В заключение отметим, что юнкционные модели предложений значеют собой лишь начальную ступень структурной дифференциации предложений. Следующая ступень их структурной дифференциации (в рамках первой фазы изучения структуры предложений) связана с построением их компонентных моделей, т. е. таких структурных моделей, в знаках которых отражается природа самих компонентов предложений (прежде всего их содержательные признаки). Например, при построении юнкционных моделей не достигается дифференциация таких русских предложений («субъектно-предикатных конструкций»), как *Собака лает* и *Лает собака* ²⁴. Обращаясь же к помощи компонентных предложений (используя знак N для обозначения признака ядерности и знаки P_1 , P_2 для обозначения признаков предиктируемости и предиктирования), можно дифференцировать указанные русские предложения посредством следующих моделей: $NP_1 \cdot NP_2 \cdot NP \cdot NP_1$. Подводя предложения *Собака лает* и *Лает собака* под разные структурные (компонентные) модели ²⁵, мы устанавливаем отношение изоморфизма между моделью и оригиналом, которое заключается здесь в том, что знаки компонентов (сложные знаки NP_1 и NP_2) однозначно соответствуют конкретному предложению (соответственно ядерному предиктируемому и ядерному предиктируемому, обычно именуемым «подлежащим» и «сказуемым»), а порядок знаков в модели однозначно соответствует порядку компонентов конкретного предложения. Благодаря строгому учету порядка следования компонентов предложений становится возможным, например, отразить в компонентных моделях структурное различие между русскими двухъядерными нераспространенными повествовательными предложениями, в которых ядерный предиктируемый и ядерный предиктирующий компоненты могут меняться местами (*Собака лает* и *Лает собака* и т. д.), и соответствующими английскими предложениями, в которых ядерный предиктируемый компонент всегда предшествует ядерному предиктируемому компоненту (*The dog barks*, *The dog is barking* и т. п.). Далее, дифферен-

²³ В. Н. Ярцева, Типологическое исследование морфологических структур в родственных языках, сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966, стр. 14.

²⁴ C. L. Ebeling, Subject and predicate, especially in Russian, «Dutch contributions to the IV International congress of slavists», 's-Gravenhage, 1958, стр. 1 и сл.

²⁵ Ср. трактовку «форм предложения» *Ученик пишет* и *Пишет (бы) ученик...*, *Дом построен* и *Будь (бы) построен дом...* и др. как видоизменений одной и той же структурной схемы простого предложения (или иначе — одного и того же простого предложения) (Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, стр. 7 и сл.).

циации предложений в большой степени способствует использование в моделях знаков формальных признаков компонентов предложений, прежде всего — частей речи и их форм (в таком случае обозначениям компонентов предложений можно придать вид дроби, в числителе которой стоят знаки содержательных, а в знаменателе — знаки формальных признаков компонентов предложений). Наконец, следует также указать на необходимость построения синтаксемных моделей предложений, в знаках которых отражаются содержательные, а также формальные особенности синтаксиса, выступающих в позициях тех или иных компонентов предложения. Все это говорит о том, что решение задачи моделирования структуры предложений связано с построением не одной, а нескольких систем знаковых моделей предложений ²⁶.

²⁶ См. о «возможности создания нескольких структурных моделей для одного и того же оригинала»: Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин, указ. соч., стр. 119.

Т. П. СИЛЬМАН

СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОИМЕНИЙ (На материале немецкого языка)

УВ свете новейших исследований о структуре сложных синтаксических целых (отрезки текстов, абзацы, вообще синтаксические единства, большие, чем предложение), по-новому предстают некоторые языковые явления, в частности местоимение.

К работам, построенным на стремлении по-новому осветить уже известные разряды слов в плане открывшихся перспектив «текстовой грамматики» в противоположность «грамматике предложения» (Textgrammatik — Satzgrammatik), принадлежит книга Р. Гарвега, посвященная функциям местоимений в большом контексте¹.

Известная односторонность автора книги в трактовке этого вопроса хорошо показана в рецензии Г. Баумана². Его претензии к книге (к которым мы вполне могли бы присоединиться) сводятся к тому, что автор трактует местоимение односторонне — лишь как универсальное и как бы единственное средство скрепления текста, в связи с чем даже определение понятия «текст» выводится им из наличия в нем местоименных имя-заместителей (субститутов). Вот это определение: [«Текст ... есть последовательное расположение (Nacheinander) языковых единиц, осуществляемое с помощью непрерывного прономинального сцепления (pronominale Verkettung)»]³.

Бауман справедливо называет такое определение текста ограниченным и неполным, так как даже при наличии прономинальных связей подлинный текст все же может существовать лишь при условии, если отдельные его звенья будут подчинены единой семантике. Момент единства содержания, подчеркивает рецензент, при отделении текста от «не-текста» как случайного набора фраз, будь они даже искусственно связаны друг с другом местоименными субститутами, все же безусловно необходим⁴.

Однако наши собственные претензии к книге Гарвега идут несколько дальше. С одной стороны, критерий наличия местоименных межфразовых связей для определения текста, как мы видели, вне учета семантики, явно недостаточен. С другой стороны, так ли уж необходим этот критерий? При более пристальном рассмотрении оказывается, что он далеко не для всякого текста показателен. Существуют тексты, в которых местоимение в качестве связующего средства между предложениями вообще не употребительно. Речь идет о таких текстах, в которых отдельные предложения, входящие в их состав, по своей природе автосемантчны, строятся на полнозначной лексике и поэтому для своего включения в контекст

¹ R. Harweg, Pronomina und Textkonstitution, München, 1968.

² Н.-Н. Бауманн, [рец. на кн.:] R. Harweg, Pronomina und Textkonstitution, «Lingua», 23, 3, 1969.

³ R. Harweg, указ. соч., стр. 148.

⁴ В качестве примера такого случайного «нетекстового» сочетания предложений приводятся следующие два предложения: *Das Kind weint. Es hat zwei senkrecht aufeinander stehende, gleiche Diagonalen* (Н.-Н. Бауманн, указ. соч., стр. 285).

не нуждаются в субститутах местоименного или другого типа. В подобных текстах местоимение в качестве субститута обслуживает лишь внутрифразовые связи, в то время как межфразовое единство текста обеспечивается через простое примыкание предложений, обоснованное логическим развитием определенной темы⁵.

Далее: называя в качестве основной функции местоимения в сфере текстовой грамматики функцию субститута, Р. Гарвег тем самым воспроизводит ошибочное мнение, высказывавшееся уже до него.

Так, например, Л. Блумфилд причисляет к субститутам такие местоимения, как *I, we, you*, и при этом поясняет: «*I* заменяет любое субстантивное выражение единственного числа..., при условии, если данное субстантивное выражение обозначает говорящего того самого высказывания, в котором участвует *I*»⁶. Здесь следовало скорее сказать «выражает», поскольку *I* ничего не «заменяет», выражая лишь необходимое для данной ситуации — или для данного текста — значение личности в 1-м лице. О неправильности зачисления всех личных местоимений в разряд субститутов писал еще О. Есперсен: «... непредубежденному человеку показалось бы очень странным, что предложение *Я вижу вас* употребляется вместо предложения *Отто Есперсен видит Мери Браун*»⁷.

С другой стороны, местоимение 1, 2 или 3-го лица отнюдь не прикреплено к какому-нибудь одному носителю имени и может свободно перемещаться от одного к другому, подразумевая любого из участников определенной ситуации, в зависимости от того, с чьей точки зрения эта ситуация «подается»⁸. Но эта определяемость местоимения своеобразным той или иной коммуникативной ситуацией, его коммуникативно-грамматическая природа⁹, его семантическая подвижность отнюдь не равносильны тому, что местоимение что-либо «заменяет».

Из всего этого лишь вытекает, что местоимения обладают некоей особой природой, которая совершенно не исчерпывается функцией субститута, а нуждается в специфическом раскрытии, в особенности, когда речь идет о функциях местоимений в «текстовой грамматике». Но сначала отграничим от этого специфического значения значение субститута, — чтобы с тем большим основанием исключить его из наших дальнейших рассуждений.

Слова неполнозначной лексики, в частности местоимения, лишь при условии чередования с полнозначной лексикой превращаются в субститут, т. е. приобретают функцию указательности. Замещая какое-либо предшествующее или последующее слово (или группу слов) окружающего контекста, они одновременно указывают на то, что они замещают; *тот, этот, он, она, там, здесь* и т. д. (но не *я* и не *ты*!). Явлением субституции поэтому следует считать замену одной (полнозначной) языковой единицы (или целого текста) другой языковой единицей, имеющей по отношению к первой языковой единице указывающее значение. Если же этого нет, если отсутствует речевая ситуация «антецедент¹⁰ — субститут», тогда

⁵ См.: Т. И. Сильман, Проблемы синтаксической стилистики, Л., 1967 (разделы, посвященные прозе Винкельмана и Гёте).

⁶ Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 270—271.

⁷ О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 90. Обширный материал о взглядах лингвистов на соотношение местоимения и имени дан у В. В. Виноградова («Русский язык», М.— Л., 1947, стр. 317—326).

⁸ В этой связи Есперсен цитирует Норейна, который указывает на «непостоянный характер сигнификации посредством местоимений» (О. Есперсен, указ. соч., стр. 94).

⁹ Ср.: W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, М.— Л., 1956, стр. 153—154.

¹⁰ Л. Блумфилд, указ. соч., стр. 272.

местоимение свободно развивает в себе другую из своих важнейших функций — автосемантического обозначения личности внутри акта коммуникации. Это — особого рода функция, не менее уникальная, чем функции полнозначной лексики.

Можно сказать, что в сравнении со словами полнозначной лексики, каковы, например, существительные *человек, Петр, сын, ученик, столяр, друг*, — местоимение находится как бы в иной сфере действия: оно обозначает личность соотносительно с актом речевой коммуникации, но при этом с меньшей точностью и определенностью, чем все перечисленные существительные.

Язык обладает множеством средств отбора и дозировки информации (и в качественном, и в количественном отношении), необходимой в различных коммуникативных целях.

Человеку, который находится перед вами, совершенно нет надобности, говоря о себе и называя себя *я*, добавлять еще *имя рек*, достаточно сказать просто *я* — и это будет полноценным, поддерживаемым ситуацией обозначением данного человека. При этом предполагается, что либо имя этого человека вам известно, либо для данной конкретной ситуации оно «иррелевантно». Например, в бытовом диалоге: *Кто последний! Вы? — Нет, я!* — мы имеем тот уровень коммуникации, когда не только не возникает необходимость в употреблении имен, но когда и их имплицитное знание оказалось бы излишним. Та степень информации, которая заложена в местоимении 2-го лица *вы* и в местоимении 1-го лица ед. числа *я* здесь, следовательно, и необходима, и достаточна.

Что же касается чередования с существительным, то местоимения как 1, так и 2-го лица вообще не нуждаются в таком чередовании или в добавлениях имени собственного. При местоимении 2-го лица имя собственное может возникать лишь в качестве обращения, как в начале речи, так и в качестве эмоционально-окрашенного добавления.

Интересно, например, сравнить в этом плане речь Онегина, обращенную к Татьяне: «Вы ко мне писали, ...» (4, XII) — отнюдь не взволнованную и совершенно лишенную обращений по имени, с речью Татьяны, которая, наоборот, насыщена обращениями: «Онегин, помните ль тот час...» (8, XLII); «Онегин, я тогда моложе...» (XLIII); «А мне, Онегин, пышность эта...» (XLVI). Имя собеседника здесь, несомненно, возникает в порядке нарастания волнения говорящей, т. е. как момент модальный. Тем менее необходимо имя говорящего в текстах от 1-го лица. Более того, оно требует особых ситуативных условий, например, в начале знакомства, когда происходит «самоназывание» персонажей — иначе оно оказывается излишним.

В письмах, дневниковых записях, монологах, авторское *я*, *я* пишущего и говорящего — наиболее естественное и ничем незаменимое обозначение персонажа, которое может быть никак не связано с именем собственным. Так, например, в «Страданиях молодого Вертера» значительная часть романа вполне мыслима без знания имени героя, так что мы вообще могли бы теоретически представить себе, что роман этот мог быть назван «Страдания одного молодого человека».

Но еще более своеобразным представляется положение в лирическом жанре. Имя (реальное или вымышленное, героя или поэта — безразлично) в современной лирике, как правило, вообще отсутствует.

Безымянность заложена в самой природе лирического жанра, поскольку лирика также отражает некую «коммуникативную ситуацию», а именно — сугубо личное, интимное обращение поэта либо к другому *я*, либо к природе, к миру, ко вселенной, и все это на уровне глубинной интроспекции. Единственной возможной формой выражения личности в этих

условиях является местоимение, безымянное *я*, лирическое «инкогнито». Именно местоимение содержит в себе ту меру и ту степень информации, которая как раз и требуется лирике.

Можно сказать, что лирика отражает душевный мир человека во всей бесконечности его конкретных форм, превращая, однако, каждый частный случай индивидуального переживания в своего рода «парадигму переживания», в модель отношений между более или менее обобщенным «лирическим *я*» («всяким» *я*) и действительностью. Именно обобщающее местоимение, а не индивидуализирующее имя, оказывается поэтому адекватным лирическому заданию. И в этих условиях местоимение (выразитель «лирического *я*») приобретает ярко выраженный автосемантический характер, максимально удаленный от всякой идеи «субститута». В подлинной лирике имена или другие уточняющие координаты «лирического *я*», если и встречаются, то не далее, чем в заголовке стихотворения. В самом тексте лирический герой этих координат лишается, будучи целиком представлен местоимением.

Кстати, иной раз в лирике функционирует и местоимение 3-го лица в качестве обозначения носителя лирического переживания. Однако пусть в 3-м лице, но этот лирический *он* (или лирическая *она*) также весьма далеки от субститута и предстают перед нами, как «лирическое *я*», но только в 3-м лице, ничего собой не «замещая».

Впрочем то, что лирика — искусство прономинальной направленности, отмечалось уже не раз. Д. Н. Овсянко-Куликовский в своих работах, посвященных лирике, утверждал, что лирике свойственна тенденция «освободиться от всякой примеси образных элементов»¹¹, поскольку она есть искусство, лишенное образов¹².

В том же плане интерпретирует произведения лирической поэзии Р. Якобсон. В статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» он указывает на тот поразивший его факт, что в стихотворении Пушкина «Я вас любил» из 29 флексивных слов 14 приходится на местоимения. Далее автор пишет: «Местоимения явственно противопоставлены остальным изменяемым частям речи, как насквозь грамматические, чисто реляционные слова, лишенные собственно лексического, материального значения»¹³.

И несколько далее читаем: «Существенная роль, которую играют в грамматической фактуре поэзии разнообразные классы местоимений, обусловлена именно сплошь грамматическим, реляционным характером, отличающим местоимения от всех прочих автономных слов. Отношение местоимения к неместоименным словам неоднократно сравнивалось с отношением геометрических тел к физическим»¹⁴. И здесь, как мы видим, автор подчеркивает роль местоимений как особо важного фактора в создании «геометрического», «безобразного» характера лирики.

При всем остроумии приведенных замечаний, они трактуют местоименность лирики скорее в плане чисто структурной «грамматикализации» текста, но не с той точки зрения, каким путем именно местоимение, благодаря своеобразной обобщенности своих значений, служит особым заданием лирики в плане содержания.

Между тем, нам представляется важным подойти к этому вопросу не столько со стороны структурно-грамматической, сколько в аспекте стилистической грамматики, с учетом специфической семантики лирическо-

¹¹ Д. Н. Овсянко-Куликовский, Лирика как особый вид творчества, Собр. соч., VI, СПб., 1914, стр. 179.

¹² Д. Н. Овсянко-Куликовский, Теория поэзии и прозы, 4-е изд., Пг., 1917, стр. 49.

¹³ Сб. «Poetica», Warszawa, 1961, стр. 405.

¹⁴ Там же, стр. 409.

го жанра. С этой точки зрения местоимение, верное своей природе «дозировки информации», и в области лирики осуществляет эту дозировку, содействуя созданию обобщенного «субъекта переживания», — того, что мы обычно называем «лирическим я». И поэтому самый факт наличия значительного числа местоимений не может вызывать удивления: он действительно диктуется самой темой стихотворения, отраженной в нем «коммуникативной ситуацией», в частности, в пушкинском стихотворении — прямым обращением поэта к возлюбленной, с целью выяснения глубины своего чувства к ней. Концовка стихотворения и дает парадоксально заостренную формулу этого чувства: «...Как дай вам Бог любимой быть другим».

Количественная сторона употребления местоимений, следовательно, сама по себе еще не создает «геометризма». «Геометризм» создается скорее симметричностью расположения местоимений как в восьмистишии Пушкина, так и в пушкинском стихотворении «Что в имени тебе моем?», анализ которого проводится Р. Якобсоном далее. Но, как тонко и точно показывает автор, этот «геометризм» создается отнюдь не только за счет местоимений, но и за счет других языковых компонентов, расположенных в известной симметрии, что связано уже с архитектурными закономерностями поэзии вообще.

Таким образом, нам представлялось бы более естественным говорить о «местоименности» лирики не в связи с «геометрическим» характером местоимений, а в связи с их органической необходимостью для лирики, поскольку они являются существеннейшим смысловым звеном лирического жанра¹⁵, рисующего взаимоотношения между «лирическим я» и миром в обобщенном плане.

Выше мы говорили о «достаточной» конкретности местоимений в реальных жизненных ситуациях. Однако грамматическая природа местоимения глубоко противоречива. На фоне конкретной жизненной ситуации местоимение и само предельно конкретно, поскольку его указательность, его коммуникативность опираются на конкретные лица и на реально уловимую картину определенных взаимоотношений. Но стоит лишить местоимение этой осязаемой жизненной опоры, оторвать его от нее, как его собственная определенность бесследно исчезает, и перед нами оказывается тот самый «геометрический чертеж», та самая «алгебраическая формула» взаимоотношений «всякого я» со «всяким ты», которые и нужны лирике. «Геометризм» здесь, следовательно, скорее относим не к самому местоимению, а к обобщенному характеру взаимоотношений, с его помощью изображаемых.

Более того, самый процесс создания лирического стихотворения на базе некоей автобиографической ситуации строится на этом исконном противоречии местоимения. Для поэта это есть «коммуникативная ситуация», реальное «выяснение отношений», а для читателя получается превращенный в парадигму диалог или обращение-монолог безымянного я к безымянному ты. При этом количественное соотношение местоимений и других флексивных слов в том или ином лирическом стихотворении есть лишь отчетливый и естественный симптом коммуникативно-тематической сути данного стихотворения. Важно не большее или меньшее число местоимений, а то, что они абсолютно необходимы для создания и оформления лирического сюжета (скажем, при обрисовке взаимоотношений между «лирическим я» и «лирическим ты»).

¹⁵ Среди всего многообразия типов лирических стихотворений мы, в связи с нашей темой, ориентировались лишь на такие, в которых «лирическое я» не просто подразумевается (как, например, во многих примерах пейзажной лирики), но и находит свое формальное выражение, прежде всего в местоимении.

Таким образом, местоимение благодаря подвижности своих значений от самого конкретного к самому абстрактному содействует процессу создания лирики, «обслуживая» ее с самого момента возникновения, т. е. начиная с реальной жизненной ситуации и кончая лирическим стихотворением, с присущей ему безымянностью и обобщенностью его героев.

Но вернемся к вопросу об образах в лирике. Является ли «лирическое я» образом, невзирая на свою безымянность и обобщенность? Нам представляется, что это, несомненно, так. Только специфика этого образа заключается в том, что он не привносит с собой в произведение (в лирическое стихотворение) подробностей материального мира, как это бывает, например, в романе, — ни имени, ни семейных или социальных связей, ни внешности, ни костюма, что он лишен (или почти что лишен) заранее закреплённых за ним реалий. Это — персонаж почти что без экспозиции, «голый человек на голой земле», который в ходе тематического развертывания стихотворения вновь «обрастает» некоторыми данными, «одевается» ими, заново конкретизируется, притом только за счет таких данных, которые уже целиком продиктованы внутренними потребностями того или иного лирического сюжета. Происходит своеобразный дальнейший процесс развития образа, при котором «лирическое я», на стадии зачина стихотворения максимально обобщенное, конкретизируется как самой темой стихотворения, так и методом ее разрешения. Иначе говоря, происходит новая образная конкретизация местоимения, но уже теперь это не индивидуальный характер внутри эмпирической действительности, а неповторимое своеобразие некоего внутреннего мира, некоего душевного облика. Из «чертежа» снова получается «картина», но уже теперь на большой психологической глубине.

Лирика, следовательно, использует семантическую подвижность местоимений для своих специфических целей — для сложной перестройки образа героя — сначала от уровня эмпирической конкретности жизненной ситуации до предельной обобщенности «лирического я» (в зачине стихотворения), а затем — до степени новой конкретности, приобретаемой «лирическим я» с развитием и завершением лирического сюжета на уровне глубинной интроспекции.

Если перед нами целый цикл стихов, каким, например, являются сонеты Шекспира или циклы ранней лирики Гейне («Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину») — тогда и образ героя по мере развертывания произведения обогащается множеством конкретных данных (впрочем, опять-таки лишь таких, какие были необходимы для развития лирического сюжета). Кстати, примером того, как прямолнейная «образность» внутренне снимается в лирике, может служить стихотворение Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam». Оно органически входит в состав сборника «Лирическое интермеццо» лишь благодаря тому, что фигуры деревьев — кедра и пальмы — в конечном счете являются иносказанием известных уже по циклу персонажей¹⁶. Это все те же «он» и «она», только поданные в форме конкретных символов, и для того чтобы стихотворение было понято во всей своей глубине, как одно из звеньев романа в стихах, его герои должны быть «развеществлены».

Но если речь идет об одном изолированном стихотворении, не входящем в какой-либо цикл, то тем более обобщенным и целиком зависимым от реальных подробностей контекста оказывается образ «лирического я». Тогда степень конкретности образа может колебаться до чрезвычайности — от простого обозначения «субъекта переживания» до чуть ли не балладной

¹⁶ См.: Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворения «Сосна» Лермонтова в сравнении с немецким прототипом, «Советское языкознание», II, М., 1936.

живописности. Приведем два стихотворения, которые могут послужить образцами «алгебраической» краткости обрисованных в них отношений.

Сначала старинное немецкое любовное стихотворение неизвестного автора:

Dû bist mîn, ih bin dîn:
des solt dû gewis sîn
dû bist beslossen
in mînem herzen;
verlorn ist das sluzzelin:
dû muost immer drinne sîn ¹⁷.

И затем стихотворение современного итальянского поэта Джузеппе Унгаретти, входящее в цикл, посвященный памяти сына поэта, который умер в детском возрасте:

E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto!...
(Giorno per giorno) ¹⁸

В обоих случаях принцип «местоименности» выражен с предельной ясностью и несет на себе всю конструкцию. Лирическое высказывание в обоих стихотворениях сведено к «чертежу», к минимуму (хотя в творении Унгаретти лаконизм изображения отчасти восполняется вхождением стихотворения в тематический цикл).

И тем не менее, стихотворения эти характеризуются различной тональностью, различным «настроением», тематическое развитие в каждом из них идет под особым знаком, а следовательно, в результате возникают и различные образы лирических героев.

Тем более можно говорить о создании образа там, где стихотворение более конкретно, где сюжет его в своем развитии шире затрагивает предметы и явления внешнего мира. Таково, например, знаменитое стихотворение Гете «Свидание и разлука», из которого мы узнаем очень много реальных фактов, сопутствующих свиданию героя с возлюбленной. В любом случае, кратко или развернуто, но лирическое стихотворение никогда не «повествует» ради процесса повествования (иначе оно превратилось бы в балладу), и результатом его тематического развития всегда является некий внутренних — душевный и духовный — итог, переживаемый «лирическим я», — а следовательно, и создание душевного и духовного облика лирического героя.

Создание этого облика или образа, достаточно удаленного от единичности эмпирической действительности и достаточно сконцентрированного для того, чтобы нести на себе груз глубинной интроспекции, может быть осуществлено лишь на базе использования стилистических возможностей личного местоимения.

Своеобразие чисто лирической функции личных местоимений хорошо прослеживается на материале лирических вставок эпического текста — стихотворных и прозаических. В качестве примера стихотворной вставки

¹⁷ Ты принадлежишь мне, я принадлежу тебе,
в этом ты должен быть уверен,
ты заключен
в моем сердце;
ключик потерялся,
ты должен всегда быть в нем.

¹⁸ И я люблю тебя, люблю тебя, и это непрестанное страданье!....
(из цикла «День за днем»)

остановимся на так называемой «Песне Миньоны» («Ты знаешь край...») в «Годах учения Вильгельма Мейстера» Гёте.

«Песня Миньоны» — типичное лирическое стихотворение. А с другой стороны, оно дано на фоне жизни Миньоны, ее биографии, внутри прозы романа. Автор сопоставляет эти два плана — жизненное содержание и его лирическое преобразование — и показывает нам, так сказать, формулу перехода от одного к другому.

И выясняется, что с жизненным материалом внутри лирического стихотворения произошли значительные изменения, типичные для всякой лирики в ее соотношении с биографией лирического поэта.

Изменения эти, прежде всего, структурно-семантические. Подробно-сти, связанные с детством Миньоны — дочери богатых и знатных людей, похищенной из своего родного города Милана труппой канатных плясун, остаются собственно за скобками стихотворения и даны лишь в виде скупых намеков. Стихотворение по сообщаемым в нем фактам оказалось очищенным от определенности единичного случая¹⁹. Вся совокупность индивидуальных подробностей, как-то: название страны, конкретные жизненные обстоятельства, одним словом, вся сеть частных координат — либо вовсе изъята из текста стихотворения, либо в значительной мере смягчена и затуманена обобщенными романтическими мотивами. Но основное, что объединяет «Песню Миньоны» со всякой лирикой — это то, что мы не обнаружим здесь имена героев стихотворения. Как во всякой подлинной лирике, здесь действуют безымянные *я* и *ты*, два лирических «инкогнито». И именно благодаря этому героями, а главным образом с героиней романа — девочкой Миньоной, временно «обернувшейся» местоимением 1-го лица, лирическим «я», могли произойти те существенные изменения, какие мы можем наблюдать на протяжении этой стихотворной вставки.

Ведь только что, в последней главе предшествующей книги, Миньона, заливаясь слезами, говорила Мейстеру, умоляя его не уезжать: «Отец мой! ты не покинешь меня! Будешь моим отцом! — Я дитя твое». И Мейстер также называет ее: «Дитя мое».

А уже на следующей странице, в рассматриваемой нами стихотворной вставке, открывающей новую книгу и новую главу, Миньона, в качестве «лирического инкогнито» зовет его (также не называя его по имени) вместе с собою в Италию, на свою родину, превращенную опять-таки за отсутствием уточняющих данных, в некую блаженную страну, в страну романтических мечтаний (*Dahin, dahin...*) — и зовет его не только как «отца», но и как «защитника» и «возлюбленного».

Обращаясь к герою в рефрене каждой строфы по-новому, Миньона тем самым дает и новую, углубленную и психологически более сложную формулу их взаимоотношений, не однозначную *Vater — Kind*, что только что имело место в прозаическом тексте, а триединую — *Geliebter, Beschützer, Vater* (с соответствующими — неназванными — противопоставлениями).

Внутри прозаического повествования вся эта сложность полностью формулируется и получает свое объяснение лишь к концу романа, незадолго до смерти Миньоны. Развитие фабулы романа, таким образом, отражает эмпирическую последовательность жизненных фактов, когда обобщенная трактовка сути явлений, так же как суть отношений между людьми, возникает и дает о себе знать лишь в результате длительного процесса развития. А между тем на языке лирики все это пророчески предвосхищено и

¹⁹ Анализ поэтической структуры «Песни Миньоны» см. в статье В. М. Ж и р у н с к о г о: «Стихотворения Гёте и Байрона „Ты знаешь край...“». Опыт сравнительно-стилистического исследования», сб. «Проблемы международных литературных связей», Л., 1962, стр. 55 и сл.

сформулировано еще в начале романа. В связи с общим психологическим углублением содержания их отношений углубляется, «взрослеет» и в то же время обобщается и образ самой героини. И если она по сравнению с прозаическим текстом утратила некоторые из своих конкретных черт — внешность, костюм, имя, то чувства ее показаны здесь намного глубже и конкретнее.

Имя героя внутри повествования является средством его «узнавания». Слово *Миньона* с развитием романа стало безошибочным средством напоминать нам о странной девочке, о загнанном забитом ребенке с экзотической внешностью и пронзительным взглядом больших черных глаз. Переход к сплошному употреблению местоимения 1-го лица в стихотворении отчасти стирает этот облик (особенно поскольку песня введена в текст без предупреждения автора о том, что ее поет именно Миньона) и уводит читателя во внутренний мир героини, модифицируя наше представление о ней. Миньона в стихотворении превращена одновременно и в образ трагически любящей женщины, и в обобщенную героиню романтического томления. Местоимение, таким образом, и в данном случае содействует, с одной стороны, обобщению образа героя, а с другой стороны, особого рода конкретизации: конкретизации душевной жизни «лирического я», т. е. в конечном счете поэтическому углублению образа. Создается тот самый «чертеж взаимоотношений», о котором говорилось выше по поводу лирики вообще.

Интересно отметить, что в эпическом повествовании, после того как отзывалась песня Миньоны, оба героя в первом же предложении вновь названы по именам. И перед нами прежние Миньона и Мейстер — опекун и его опекаемая, причем он пытается расшифровать оставшиеся неясными для него подробности только что услышанной им песни. Вскоре, гадая, Мейстер называет и Италию, родину Миньоны.

Нечто подобное только что описанному процессу обобщения и психологического углубления образа героя происходит в романе, когда этот герой оказывается в центре соответствующей лирической вставки в прозаической форме. Он на время превращается в «инкогнито», утрачивает имя и фамилию, а также ряд присущих ему индивидуальных черт характера. На второй план отступают и многие из его жизненных обстоятельств. Короче говоря, он по функции временно превращается в «лирическое я». Однако поскольку о нем по-прежнему рассказывает не он сам, а автор произведения, то перед нами формально продолжает действовать «он», местоимение 3-го лица. И тем не менее, этот «он», это личное местоимение 3-го лица, ничего общего не имеет с заместителем имени, субститутом обычного типа, употребляемым в порядке чередования с существительным. Чем больше по размерам лирическая вставка, чем дольше тянется серийное употребление местоимения 3-го лица, тем интенсивнее становится процесс углубления во внутренний мир героя, его вывод за пределы эмпирического существования.

В результате перед читателем оказывается «лирическое я» с типичной для лирики погруженностью в свой внутренний мир, но при этом «лирическое я» в третьем лице, несколько изолированное от сюжетного движения романа или новеллы. И перед нами уже иной образ героя, созданный в значительной мере теми подробностями и мотивами, которые составляют содержание данной лирической вставки. Чаще всего это опять-таки образ более глубокий и более обобщенный, чем образ того же героя на других страницах романа или новеллы. Сюжетно такое углубление и обобщение образа героя обычно мотивируется тем, что герой по тем или иным причинам глубже постигает самого себя, свой жизненный путь, свои отношения с другими людьми и т. д., — иначе говоря, начинает смотреть на себя и на окружающий мир «новыми глазами».

В качестве примера коснемся некоторых лирических вставок в новеллах Т. Манна. В новелле «Тристан», в большой лирической сцене, где описывается исполнение г-жой Клетерьян отрывков из оперы Вагнера «Тристан и Изольда», и тот душевный восторг, который в разной степени испытывают как герои оперы, так и герои новеллы (сама Габриела Клетерьян и писатель Шпинель), имена героев исчезают со страниц книги, уступая место их местоименным обозначениям (*он, она*)²⁰. Попутно отметим, что хотя данный лирический отрывок по своей структуре сохраняет расплывчатость и вариативность лирической прозы, тем не менее он все же в тенденции тяготеет к поэтической форме, как к своему абсолютному образцу. Особенно в местах высшего эмоционального напряжения синтаксические отрезки уподобляются друг другу по своим размерам, порядок слов приобретает отчетливо экспрессивный характер, лексика становится образно-метафорической и подчеркнута эмоциональной, то там, то здесь звучат анафорические повторы, внутренние рифмы, вопросительные и восклицательные предложения разбивают единообразие эпической интонации. И здесь тоже на время действия лирической вставки трогательная и простодушная Габриела Клетерьян, так же как эксцентричный и самовлюбленный чудаки Шпинель, приобщившись к великому таинству любви через музыку Вагнера, подобно Миньоне и Мейстеру, выходят за рамки своих характеров, перестают быть просто персонажами эпического повествования и становятся действующими лицами великой мистерии.

В другой новелле Т. Манна, в «Тонию Крегере», лирические пассажи отмечены еще более систематически проведенным серийным употреблением местоимения в 3-м лице и еще большей тенденцией к ритмическому и музыкальному оформлению текста. Так, в эпизоде возвращения героя в родной город, где прошло его детство и где он переживает минуты и часы лирического погружения в прошлое, личное местоимение 3-го лица *er* повторяется 38 раз подряд²¹. Вместе с тем, как мы можем часто наблюдать в лирической прозе, в особенности в литературе XX в., авторская речь теснейшим образом переплетается с несобственно-прямой речью, в которой, как известно, личное местоимение 3-го лица также выступает как выразитель субъекта переживания, по аналогии с личным местоимением 1-го лица.

Подведем некоторые итоги. Изучение синтактико-стилистических функций местоимения в аспекте «текстовой грамматики», притом с учетом специфики литературных жанров, еще только начинается. Достаточно изученными можно считать функции местоимения как средства связи между предложениями, где оно выступает в форме субститута, чередуясь с предшествующим или с последующим существительным или с группой слов. В таких случаях местоимению присуща знаково-указующая синсемантика.

Однако этого рода межфразовыми связями синтактико-стилистическое значение местоимения и его роль в «большом контексте» не исчерпываются.

Личные местоимения, в особенности 1 и 2-го лица (меньше 3-го лица) играют ведущую роль прежде всего в прозаическом повествовании от 1-го лица (*Ich Erzählung*), а также во всех разновидностях лирического жанра (лирическое стихотворение, лирические вставки эпического текста в стихотворной и прозаической форме). Личное местоимение аккумулирует здесь душевные переживания героя, обеспечивая необходимую обобщенность субъекта переживания и в то же время необходимую глубину самих этих переживаний. В лирических вставках, в связи с принципиальной «безымянностью» лирического жанра, герой романа или новеллы, ставший временно центральным героем такой вставки, также утрачивает на время ее

²⁰ Th. Mann, *Gesammelte Werke*, IX, Berlin, 1955, стр. 156—159.

²¹ Th. Mann, указ. соч., стр. 242—244.

действия свое имя, превращаясь в своего рода «лирическое инкогнито». Это перевоплощение происходит с помощью коренного изменения синтаксической функции личного местоимения. Личное местоимение в значительной мере утрачивает свою указательную функцию субститута (*Петр... он...; Лизе..., sie....*), уже больше не чередуясь с именем собственным, а временно как бы эмансипируется от него, приобретая особого рода автосемантию и становясь аккумулятором всего комплекса душевных переживаний героя. Серийное употребление личного местоимения на протяжении всего отрезка (*он... он... он... он...*) содействует переходу объективного описания в интроспекцию, приводя к созданию некоего «лирического я», но только в 3-м лице («лирический он», «лирическая она»).

Это временное переключение героя с имени собственного на местоимение содействует обобщению и психологическому углублению его образа, выводя его из сферы эмпирического каждодневного существования.

Изначальная прозаическая природа созданного таким путем лирического героя восстанавливается лишь после того, как он вновь назван автором по имени.

В литературе XX в. такое эпизодическое выключение героя из прозаического повествования и перевод его на лирическую интонацию нередко сочетается с переходом авторской речи в речь несобственно-прямую.

Итак, во всех разновидностях лирики семантическая подвижность местоимения по шкале «конкретное — абстрактное» является существенным фактором при переключении конкретной жизненной ситуации на обобщенность ситуации лирической. Однако на уровне лирической ситуации местоимение вновь обретает известную конкретность, «одеваясь» подробностями главным образом душевной жизни лирического персонажа (отчасти и реальными фактами), в результате чего вновь возникает некий образ, но это уже не образ реального житейского персонажа, а духовный и душевный облик определенного «лирического я».

З. Д. ПОПОВА

К ТЕОРИИ ПАДЕЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Существует несколько подходов к изучению падежных значений. На первом этапе развития учения о падеже значение регистрировалось исследователем как носителем языка, осознающим смысл и назначение данной падежной или предложно-падежной формы в процессе общения¹. Предпринимались попытки сближать отдельные падежные значения на основе их сходства. В основу сближения ложились то предполагаемое единое индоевропейское значение², то синтаксическая функция изучаемых форм («член предложения»)³.

Теория падежного значения, — по существу впервые, — была предложена представителями структурального направления в языкознании. Падежное значение было осмыслено как инвариант, объединяющий серию частных падежных значений, представленных в разных случаях употребления этой формы⁴. При проверке этого постулата в процессе практического описания падежных форм выявились серьезные трудности в определении инвариантных значений, так как реальные значения падежной формы зачастую столь далеки друг от друга, что не сводятся к одному⁵.

Развивая теорию падежного значения, Е. Курилович предложил различать семантические и синтаксические падежи⁶. Он показал также, что семантические или синтаксические функции падежа могут быть первичными или вторичными. Такое понимание падежного значения находит широкое признание у современных лингвистов⁷. Различение семантических и синтаксических падежных форм требует исследования сложных отношений между падежной формой, ее лексическим наполнением, ее функцией в предложении. Взаимообусловленность грамматического зна-

¹ Ср., например, весьма детальную и точную фиксацию падежных значений у А. Востокова («Русская грамматика» [б.м. и г.], у Ф. И. Буслаева («Историческая грамматика», М., 1959) и мн. др. В дальнейшем употребляем термин «падежные формы» обобщенно, имея в виду и предложно-падежные формы.

² Ср.: Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительная морфология, «Избр. труды», 2, М., 1957.

³ Ср.: А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, М., 1941.

⁴ См.: L. Hjelmslev, La catégorie des cas, «Acta jutulandica», VII, 1935; IX, 1937; R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, VI, 1936; A. W. de Groot, Classification of cases and uses of cases, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956.

⁵ См., например: Chr. Sørensen, Contribution à la discussion sur la théorie des cas, TCLC, V, 1949; М. Ивнн, Систем предложных конструкций у сербохрватском језику, ЈФ, XXII, кнј. 1—4, 1957—1958 и др.

⁶ Е. Курилович, Проблема классификации падежей, в кн. Е. Куриловича, «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 199; ег о же, Деривация лексическая и деривация синтаксическая, там же, стр. 59.

⁷ См.: V. Scalička, Poznámky k teorii padů, Sas, 3—4, 1950, стр. 141, 152; А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, ч. 1, Братислава, 1954, стр. 129; К. И. Ходова, Система падежей старославянского языка, М., 1963, стр. 23; Р. Мразек, Синтаксис русского творительного, Прага, 1964, стр. 3; А. Нейнз, System przypadkowy języka polskiego, Kraków, 1965.

чения и семантики слова, выступающего в данной грамматической форме, неоднократно отмечалась языковедами⁸. Роль семантики слова при выражении грамматического значения может быть разной — от решающей до нулевой. И в том и в другом случае важно выяснить, от чего это зависит. Без учета семантических разрядов слов, выступающих в падежных формах, и слов или конструкций, с которыми эта форма сочетается, нельзя, на наш взгляд, продвигаться сейчас дальше в разработке теории падежных значений.

На основе изучения разнообразных отношений между грамматическими и семантическими компонентами падежных форм в различных синтаксических окружениях мы считаем возможным детализировать известные в науке категории падежных значений. Здесь будут охарактеризованы их типы.

«В падежных формах имени существительного, — пишет В. В. Виноградов, — отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности»⁹. Определить значение падежной формы — это значит указать конкретное отношение между предметами, явлениями, действиями и качествами, выражаемое с участием данной падежной формы.

Значения, выражаемые падежными формами, подобно лексическим, могут быть денотативными и коннотативными. Денотативные значения падежных форм поддерживаются отношениями внеязыковой действительности; для их выражения семантика сочетающихся компонентов имеет первостепенное значение. Коннотативные значения определяются только синтаксической функцией, выполняемой данной формой, диктуются особенностями словосочетания, оборота, формулы предложения, в составе которых падежная форма выступает. Денотативные значения для данной формы первичны; коннотативные являются ее вторичными значениями.

Денотативные значения падежных форм отличаются большим разнообразием. Можно выделить два основных типа этих значений: значения конкретные и значения абстрактные.

Конкретными мы называем значения, отражающие отношения между конкретными предметами (материальными объектами), отношения, проявляющиеся в конкретных физических действиях или состояниях, например, объектные, орудийные, пространственные. Абстрактными мы называем значения, отражающие отношения между явлениями, событиями, фактами объективной действительности, которые по преимуществу являются логическими конструктами (причинные, целевые, условные, следственные, временные и под.).

Рассмотрим разновидности конкретных значений. Лексическое значение сочетающихся слов может соответствовать конкретному грамматическому значению падежной формы. Например, конкретное значение объекта действия имеет форма винительного падежа, когда она обозначает предметы, людей, животных, а само действие обозначается глаголами следующих семантических разрядов:

1. Глаголы, обозначающие конкретные физические воздействия, а именно:

- а) перемещение в пространстве (например, *нести, везти, вести*);
- б) изменение положения объекта без указания на траекторию перемещения (например, *ставить, класть, вешать*);

⁸ Ср.: Р. Мразек, Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы, ВЯ, 1964, 3; Ю. Д. Апресян, Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам управления), ВЯ, 1965, 5, стр. 52; и др.

⁹ В. В. Виноградов, Русский язык, М. — Л., 1947, стр. 167.

в) изменение кинетического состояния (например, *задерживать, остановить, бросить*);

г) механическое воздействие на поверхность объекта без нарушения ее целостности (например, *давить, мять, гладить*);

д) механическое воздействие на поверхность объекта, нарушающее ее целостность (например, *резать, рвать, колоть*);

е) изменение физического качества (например, *сушить, жечь*);

ж) изменение состояния объекта, приводящее к изменению его функциональных возможностей (*закрывать, развязать, освободить* и под.);

з) созидание (например, *делать, строить*);

и) разрушение (*разбивать, разрушать, губить* и под.).

II. Глаголы, обозначающие обладание и его изменение (например, *иметь, держать, давать, терять, брать, находить* и под.).

В словосочетаниях глаголов названных разрядов и конкретно-предметных существительных лексическое значение сочетающихся слов соответствует значению падежной формы винительного падежа (*сушить сено, класть книгу, закрыть дверь, разбить стекло*). Предмет, названный формой винительного падежа, действительно является объектом воздействия, что отражает отношения внеязыковой реальности. Такое конкретное значение падежной формы мы называем **ре а л ь н ы м**.

Конкретное реальное значение орудия действия имеет форма творительного падежа от названий конкретных предметов при глаголах, обозначающих механическое воздействие, созидание, разрушение, физическое преобразование (*режу бумагу ножницами*). Творительный орудия действия выступает и при возвратных глаголах, обозначающих конкретное физическое действие, направленное производителем действия на самого себя (*причесываюсь гребешком*).

Конкретное реальное значение средства действия имеет форма творительного падежа конкретно-предметных и особенно вещественных существительных при глаголах, обозначающих изменение внешнего вида, или функционального состояния (*мазать хлеб маслом; связать руки веревкой*).

При глаголах, обозначающих движения и функции частей и органов тела, форма творительного падежа от существительных, называющих части и органы тела, имеет иное конкретное реальное значение — значение выявителя, исполнителя действия, совершаемого по воле производителя действия (*махнуть рукой, дернуть плечом*).

Конкретное реальное значение исходного пункта перемещения, конечного пункта перемещения и места пребывания выражается целой системой предложно-падежных форм при глаголах перемещения и пребывания. Эти формы образуют трехчленные линии, отличающиеся друг от друга указанием на часть конкретного предмета (внутреннюю, внешнюю,лицевую, оборотную и под.), служащую точкой начала или конца пути или местом пребывания. Таковы:

<i>из</i> + род.	— <i>в</i> . + вин. — <i>в</i> + предл.
<i>с</i> + род.	— <i>на</i> + вин. — <i>на</i> + предл.
<i>от</i> + род.	— <i>к</i> + дат. — <i>у</i> + род.
<i>из-за</i> + род.	— <i>за</i> + вин. — <i>за</i> + твор.
<i>из-под</i> + род.	— <i>под</i> + вин. — <i>под</i> + твор.

Формы, обозначающие место пребывания, не исчерпываются приведенными, среди них много форм с наречными предложениями, которые не будем перечислять.

Конкретное реальное значение пространственных точек эти формы имеют в том случае, если в них употребляются существительные следующих разрядов: 1) названия населенных пунктов и их частей (город,

улица, двор, село, площадь и т.п.); 2) названия участков земного рельефа, географических и космических объектов (*лес, овраг, горы, облака, солнце* и т. п.); 3) названия замкнутых обитаемых территорий (*страна, государство, край* и т. п.); 4) названия пространственных измерений (*сторона, бок* и т.п.); 5) названия построек и их частей (*дом, сарай, стена, дверь* и т. п.); 6) названия предметов обихода, служащих для размещения человека и его вещей: а) названия транспортных средств: *сани, телега* и др., б) названия мебели: *стул, кровать* и др., в) названия тары: *корзина, чемодан, банка* и др., г) названия предметов, служащих для размещения животных (*клетка*), и под.

Мы не ставим своей задачей описать здесь все существующие в современном русском языке конкретные реальные значения падежных форм. Примеры, приведенные выше, только иллюстрируют наше понимание этого типа значений.

Сосуществование разных падежных форм с одним и тем же конкретным реальным значением — редкий факт. Обычно конкретные реальные значения закреплены за специальными формами. В случае совпадения конкретного реального значения наблюдается семантическая дифференциация. Так, формы родительного и винительного падежа вещественных существительных имеют общее значение объекта воздействия. Однако форма родительного падежа дает количественную характеристику объекту или действию, над ним совершаемому, а в форме винительного количественная оценка отсутствует (*принеси деньги — принеси денег*).

В рассмотренных выше случаях, как уже говорилось, лексическое значение слов соответствовало грамматическому значению падежной формы. Но возможны и такие случаи, когда лексическое значение одного из сочетающихся слов противоречит грамматическому значению падежной формы, отклоняется от него. Например, в форме творительного падежа со значением орудия действия на месте конкретного выступает отвлеченное существительное (*кормить обещаниями, убить недоверием*). В сочетании с таким существительным и глагол утрачивает черты конкретного физического действия, обозначает другое, лишь в чем-то сходное с физическим действием. Однако модель словосочетания все же поддерживается благодаря семантическому разряду главного слова: в падежной форме сохраняется орудийное значение. Говорящий отправляется от этого значения и предполагает, что слушатель учтет его. Лишь на фоне, на основе этого грамматического значения замечается и воспринимается намеренное лексическое отклонение. Названный предмет заведомо не является орудием физического действия, но он выдается говорящим за таковое. Падежная форма сохраняет свое конкретное значение, но оно является в данном случае не реальным, а номинальным.

Словосочетания, включающие формы с номинальным значением, легко развивают дополнительные смыслы, фразеологизируются, становятся эквивалентами слов и переживают другие процессы преобразования, чем существенно отличаются от сочетаний с формами, имеющими реальное значение. Номинальным является значение формы винительного падежа в сочетаниях глаголов конкретного физического действия и отвлеченных существительных (*установить порядок, сделать выбор, навести тишину, подать помощь*). Такие словосочетания, как правило, становятся глагольными эквивалентами, выражают единый смысл.

Номинальное значение падежной формы может определяться не глаголом и не данной падежной формой, а третьим словом, входящим в словосочетание или в формулу предложения. Падежные формы с названиями частей тела при глаголах перемещения или пребывания получают номинальное значение, если перемещаемый или пребывающий предмет назван от-

внесенным существительным (*входит страх в сердце, на душу легла тоска, эта мысль не идет из головы*). Номинальное значение широко используется при создании метафор. М. Н. Петерсон и называл такое значение метафорическим¹⁰.

Обратимся к характеристике абстрактных значений. В большинстве случаев абстрактные значения (причины, цели, условия, времени, способа действия и некоторые другие) выражаются теми же формами, которые употребляются и с конкретными значениями. Абстрактное значение отличаем от конкретного значения тех же форм благодаря иному лексическому наполнению падежной формы, ее иной синтаксической функции, иным контекстным условиям ее употребления. Скажем, однако, сразу, что существуют падежные формы, имеющие только абстрактные значения (*для* + род., *ради* + род., *во время* + род. и некот. др., главным образом с наречными предложениями).

Конкретные значения достаточно четко очерчиваются семантическими разрядами сочетающихся слов. Для абстрактных значений такие определенные критерии имеются не всегда. Форма с абстрактным значением далеко не всегда обслуживает глагол, она обычна при глагольных эквивалентах, описательных выражениях. Поэтому при характеристике абстрактных значений приходится характеризовать не столько семантические разряды главного слова, сколько семантический тип контекста. Под семантическим типом контекста мы понимаем набор разноструктурных выражений, смежных по значению, описывающих одну и ту же или аналогичную ситуацию¹¹. Для каждой формы с абстрактным значением действующую специфические контекстные условия.

Формы *от* + род., *с* + род. выражают значение причины действия всякий раз, когда в них выступает отвлеченное существительное, но при этом глагол должен обозначать действие, следующее во времени за действиями или состояниями, названными этими существительными (*с радости пустился в пляс, от стука голова болит*). Круг глаголов в контекстах этого типа весьма широк. Однако составляют исключение глаголы перемещения, при которых те же формы обозначают исходное состояние (*от радости перешел к слезам*).

Форма *на* + вин. отглагольного существительного может выражать значение причины действия в том случае, когда она называет действие, реально совершившееся раньше, чем действие, обозначенное глаголом (*прибежал на крик, явился на приглашение*).

Дательный падеж одушевленного существительного обозначает лицо, которому предназначается результат действия, в семантических типах контекста, характеризующих созидание (*сошью сыну пальто, испеки гостям пирожков*) или совершение действий, имеющих какой-либо результат (*помоги соседу*).

Абстрактные значения не всегда бывают хорошо отработанными и логически отдифференцированными. Так, в кругу форм, выражающих значение причины, находятся и формы, несущие смежные, но недостаточно ясные значения повода, основания действия. Например, в семантическом типе контекста, характеризующем поощрение или наказание, форма *за* + вин. указывает повод действия: *получил за статью десять рублей, за один такой вечер не жалко отдать годы, выразили благодарность за помощь, ослушали за черствость*.

¹⁰ М. Н. Петерсон, Синтаксис русского языка, М., 1930, стр. 101.

¹¹ Ср.: И. С. Улуханов, Славянизмы в древнерусском языке XI—XVII вв., Автореф. канд. диссерт., М., 1966, стр. 15—16.

В семантическом типе контекста, характеризующем борьбу, страдания, просьбу, форма *за* + вин. имеет значение защищаемого, опекаемого объекта, наконец, стимула действия (*твердо стоять за свои убеждения, умереть за Родину, началось соревнование за звание лучшей группы, пострадать за правду и под.*).

В кругу форм, обозначающих цель действия, можно особо рассматривать формы, имеющие значение лица, которому предназначается результат действия (*эту книгу я принесла для сестры*), стимула действия (*чего не сделаешь ради счастья ребенка*), предсказываемого явления (*ложит кости к непогоде*), объекта, который должен быть получен в результате целенаправленного перемещения (*поехать за дровами, пойти за журналом*), и некоторые другие.

Наблюдается два основных типа абстрактных значений в зависимости от того, существует ли логическая связь между абстрактным и конкретным значением одной и той же падежной формы или такой связи не существует.

Формы *от* + род., *с* + род., имеющие значение причины действия, логически связаны с конкретным значением этих же форм — значением исходного пункта перемещения. В этом случае можно говорить о *м о т и в и р о в а н н о м* абстрактном значении. Мотивированы и целевые значения падежных форм *на* + вин., *к* + дат. (*отдать на поругание, подготавливать к отправке*), так как конкретные значения тех же форм — конечный пункт перемещения. Значение способа действия является мотивированным для формы творительного падежа (*всей грудью выдохнул легкий весенний воздух* — здесь значения средства и способа действия почти слиты). Но другие падежные формы, которые выражают абстрактное значение способа действия (*говорит от всего сердца, кричит во весь лес, бежит через силу*), не выявляют логической связи со своими конкретными значениями, их абстрактное употребление не мотивировано. Формы с *н е м о т и в и р о в а н н ы м* и значениями, как правило, переходят в состав наречий.

Область абстрактных значений с их нестрогостью, неотдифференцированностью — постоянный источник колебаний и появления новых значений. Чем точнее осознается носителями языка данное значение, тем скорее подбирается для него специальная форма. Для абстрактных значений, по-видимому, наиболее удобны формы, не имеющие конкретных значений. Поэтому здесь находим такие формы, которые раньше имели конкретные значения, но утратили их (*для* + род.), или формы с новым, специально созданным предлогом (*во имя* + род., *по причине* + род., *в течение* + род. и др.).

Различия между конкретными и абстрактными значениями падежных форм отражаются на их судьбе, на их положении в синтаксической системе. Формы с конкретными значениями образуют остов этой системы, формы с абстрактными значениями обременены дублетами, вариантами, подвержены колебаниям. Для современного русского языка именно здесь, в области форм с абстрактными значениями, надо искать центр новообразований и сдвигов.

Денотативные падежные значения чрезвычайно разнообразны по объему. Эти различия определяются семантическими ограничениями, накладываемыми на сочетающиеся слова.

Выше были использованы в качестве примеров такие падежные формы, значения которых выражались с участием большого количества семантических разрядов сочетающихся слов или в разнообразных семантических типах контекстов. Но возможны и такие значения, которые могут быть отмечены у падежной формы только в сочетаниях какой-то одной семантической группы существительных с одной семантической группой глаголов,

причем небольшой по количеству входящих в нее лексем. Ограничение семантических разрядов сочетающихся слов иной раз служит способом образования нового падежного значения путем сужения основного значения или смещения его в смежную смысловую область.

Форма *на* + предл. от названий животных и экипажей при глаголах перемещения обозначает средство действия (*приехал на трамвае, скачет на лошади*). Это необычное значение пространственной формы *на* + предл. возникает только в указанных условиях. Такое значение поставило форму *на* + предл. в синонимические отношения к форме творительного падежа, также выступающей в аналогичных условиях (*приехал трамваем, летайте самолетами*). Несмотря на то, что для формы творительного падежа значение средства действия является основным, в данном специализированном значении она уступает место форме *на* + предл.

Форма *с* + твор. одушевленных существительных в сочетании с глаголом перемещения и винительным неодушевленного существительного обозначает исполнителя действия (*послал письмо с Трофимом*), а та же форма неодушевленного существительного или названия животного при глаголах перемещения и винительном или именительном одушевленного существительного обозначает объект, подвергаемый воздействию (*Сергей поехал с деньгами, с лошадьми послали сторожа*). В первом примере новое значение создано путем сужения пространственного, во втором — путем сужения основного значения соучастника действия.

Приведем пример смещения основного значения. Формы *из-под* + род., *под* + вин., *под* + твор. имеют конкретное реальное значение исходного — конечного пункта и места пребывания, причем эти пункты и это место пребывания находятся в пространстве, смежном с нижней стороной названного предмета (*вылезай из-под стола, закатился под диван, стоит под навесом*). При употреблении в этих формах названий населенных пунктов их значение остается пространственным, но формы обозначают уже не пространство, смежное с нижней стороной названного объекта, а пространство, находящееся в непосредственной близости к нему (*шли из-под Калуги, едем под Москву, живем под Мелитополем*). Особый семантический разряд существительных привел к специализации значения, но оно осталось пространственным, произошло лишь небольшое его смещение. Новое значение меняет синонимические отношения форм. С названиями предметов формы *из-под* + род., *под* + вин., *под* + твор. противопоставлены формам *от* + род., *к* + дат., *у* + род. (ср. *из-под дивана — от дивана; под диван — к дивану; под навесом — у навеса*), а с названиями населенных пунктов эти формы становятся синонимичными (ср. *из-под Калуги — от Калуги; под Москву — к Москве; под Мелитополем — у Мелитополя*).

Такие узкие значения в отличие от основных называем специальными.

Вот еще примеры. Форма *из-под* + род. обозначает средство действия в словосочетаниях из названий посуды и ее эквивалентов и глаголов, обозначающих прием пищи (*ешь из миски, пью из стакана*). Та же форма от названий оружия при глаголе *стрелять* и его синонимах указывает орудие действия (*стреляли из винтовки, палили из пушек, строчили из автомата*). Форма *в* + вин. от названий источников звука при глаголах, обозначающих разные способы приведения тела в колебательное движение, указывает средство действия (*бить в барабан, трубить в рог, звонить в колокола*).

В области специализированных значений можно найти некоторые формы, вообще не функционирующие в широких основных значениях. Так, в форме *о* + вин. употребляются только конкретно-предметные существи-

тельные при глаголах удара (*биться о стену, бросить о землю, ударить о пол*).

По-видимому, некоторые современные основные значения падежных форм объяснены своим происхождением былым специализированным.

Форма дательного падежа одушевленных имен при глаголах изменения принадлежности выражает в современном русском языке конкретное реальное значение адресата действия. В отличие от других конкретных реальных значений, связанных главным образом с отношениями между предметами, между физическими телами (объект, орудие, пространство), форма дательного падежа выражает социальное отношение, отношение между людьми. В древнерусском языке, где форма дательного имела конкретное пространственное значение (*иде Киеву*), ее использование для обозначения адресата было специализированным и имело место в словосочетаниях одушевленных существительных с глаголами изменения принадлежности (*дать, послать* и под.). После утраты дательного в пространственном значении значение адресата действия стало в этой форме основным. Это значение легло в основу формирования абстрактных значений (лицо, которому предназначается результат действия, лицо, которое имеет отношение к описываемой ситуации, и под.).

Формы со специализированными значениями образуют основную сеть дублетов и синонимов в системе падежных форм. Так, место приложения физической силы к предмету называют в русском языке формы *в + вин., по + дат., к + дат.* (*толкнул в грудь, ударил по спине, прижал к дереву*). Но они синонимичны. Первая изображает место касания как точку, вторая как линию, третья как сплошную поверхность. Возможность игнорировать эти детали хорошо отражена пословицей «что в лоб, что по лбу».

Область специализированных значений велика и мало изучена, отношения между формами с дублетными, синонимичными и вариантными отношениями освещены недостаточно. Между тем только на уровне специализированных значений можно всерьез обсуждать проблемы синонимичности, вариантности, дублетности падежных форм, проблемы нормы, отбора и употребления.

Заслуживают внимания такие, например, специализированные значения, как характеристика среды, служащей исходным, конечным или постоянным условием пребывания перемещающегося объекта (*из огня да в полымя; в темноте*); характеристика социальной среды, по отношению к которой меняет или определяет свое положение человек (*избран в депутаты, переведен из секретарей, находится в обществе*); указание эталона измерения (*дом с гору, пальто по мне, весь в тебя*); указание морального эталона действия (*виноват перед тобой, прав перед законом, преклоняюсь перед твим талантом*); указание враждебного объекта (*напали на врага, донесли на соседа, клеветают на весь мир*) и мн. др.

При анализе семантических разрядов слов, определяющих значения денотативных падежных форм, важно иметь в виду, что существуют смежные семантические классы, способные метонимически замещать друг друга без изменения значения падежной формы.

Так, названия людей и животных метонимически употребляются в тех же случаях, когда имеются в виду части их тела, и наоборот (*на ребенке сидела бабочка* то же, что *на спине или на плече ребенка сидела бабочка; успокой мою душу* то же, что *успокой меня; сними с девочки эту варежку* то же, что *сними с руки девочки эту варежку*). Названия производителей действия, носителей состояния могут метонимически замещать отглагольные существительные, не меняя причинного значения соответствующих падежных форм (*воздух звенел от птиц* — то же, что *от пения птиц; не взяли в армию по глазам* — то же, что *по состоянию или по болезни глаз*).

Широко известны метонимические указания времени через названия событий, ассоциированных с этими отрезками времени (завтрак, обед, ужин, войны, праздники, периоды правления известных лиц и др.)¹².

Значение падежной формы при метонимической замене ее лексического выразителя не меняется.

3. Охарактеризуем коннотативные значения падежных форм. Находим четыре основных коннотативных значения: объектное, субъектное, атрибутивное и предикативное.

Объект — распространитель глагола, форма, закрепленная при данной глагольной лексеме традицией. В употреблении коннотативной объектной формы ее лексическое наполнение не играет никакой роли; ее выбор обуславливается только списком глагольных лексем.

Так, при глаголах *избегать*, *бояться*, *стыдиться* и еще нескольких находим форму родительного падежа, а при глаголах *бежать*, *спасаться* и еще нескольких — форму *от* + род. При многих глаголах, обозначающих речь, мысль, просьбу, заботу, распространителем является форма *о* + предл. (ее стилистический вариант — *про* + вин.; новые стилистические варианты *относительно* + род., *касательно* + род.). При глаголах *добиваться*, *хотеть* и некоторых других глаголах желания используется форма родительного падежа; при глаголах *надеяться*, *полагаться*, *менять* — форма *на* + вин.; при глаголе *верить* возможны два синонимических распространителя (*во* + вин., дат.). Форма творительного падежа имеет коннотативное значение распространителя при глаголах *обладать*, *управлять*, *торговать*, *хвалиться*, *брезговать*, *жаловаться* и их синонимах. Этот список может быть продолжен.

Интересно, что несмотря на большую стабилизирующую роль традиции, формы с коннотативным значением обычно подвержены вытеснению со стороны синонимичных денотативных форм.

Субъектное коннотативное значение падежные формы имеют в некоторых грамматических оборотах, являющихся формулами предложения, его структурными схемами (по Н. Ю. Шведовой). Так, форма дательного падежа обозначает субъект действия в безличном (*мне холодно*) и инфинитивном (*саду цвести*) оборотах; форма творительного — в страдательном (*листья подрезаны садовником*) и безличном (*косынку унесло ветром*) оборотах; форма родительного — в конструкции с глаголом, обозначающим количественное изменение (*воды прибыло*) и в конструкции с отрицанием (*гостей не было*). Эквивалентное денотативное значение производителя действия выражается именительным падежом.

Коннотативное значение атрибута определяется приименной позицией зависимой падежной формы. Такую функцию особенно широко выполняет в русском языке родительный падеж (*борт корабля*, *полет птицы*, *красота города*). Конечно, учет семантических разрядов сочетающихся существительных возможен, но для характеристики значения зависимой падежной формы он не эффективен, так как в форме родительного может выступать в принципе любое существительное, хотя и с разной статистической вероятностью.

Существительные в других падежных формах переходят в именные словосочетания, как правило, из глагольных (*чулки из шерсти* — *вязать чулки из шерсти*; *лампа под абажуром* — *лампа висит под абажуром*; *побег из плена* — *бежать из плена*; *любовь без надежды* — *любить без надежды*; *встреча у ограды* — *встретиться у ограды* и т. п.). Все такие словосочетания возможны лишь постольку, поскольку существуют их глагольные

¹² См., например: А. П. Клименко, Существительные со значением времени в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., Минск, 1965.

прообразы, и если прообразы имели семантические ограничения, то эти ограничения автоматически переносятся и на именные словосочетания. Поэтому атрибутивное употребление разнообразных предложно-падежных форм требует детального описания.

Наконец, отметим предикативное употребление падежных форм, входящих в единый синтаксический комплекс с глагольным словом. Таковы различные, впрочем доступные перечислению, формы, образующие вместе со строго определенными глагольными лексемами единое обозначение действия или состояния (*быть учителем, стать человеком, назвать мужем, ставить в заслугу, считать за брата* и под.).

Осознание типа значения падежной формы важно не только для изучения и описания языка. Оно помогает в решении многих вопросов синтаксиса и словообразования. В частности, тип значения падежной формы определяет ее роль в предложении (связанная, свободная форма, элемент формулы предложения, элемент словосочетания, детерминант, компонент номинативного составного обозначения и т.д.). Учет семантического содержания сочетающихся слов позволяет определить некоторые пути образования устойчивых и фразеологических словосочетаний, наречных выражений и наречий и т.д. Исследование типов падежных значений, как и вообще грамматических значений, должно привести к более глубокому пониманию сложного взаимодействия лексики и грамматики.

Г. А. МЕНОВЩИКОВ, В. С. ХРАКОВСКИЙ

КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ И КАУЗАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЭСКИМОССКОМ ЯЗЫКЕ

1. В эскимосском языке ¹ имеются такие деривационные цепочки глагольных основ, в которых каждая производная основа является смысловым и формальным каузативом производящей основы ². Смысловым и формальным каузативом мы называем производную глагольную основу, если соблюдаются следующие два условия: 1) лексическое значение производной основы можно истолковать с помощью «каузативных» глагольных слов (типа «делать так, чтобы», «заставлять», «приказывать», «позволять», «просить») и лексического значения производящей глагольной основы, 2) в производной основе имеется аффиксальный формант, которого нет в производящей основе и который имеет значение, эквивалентное лексическому значению таких «каузативных» глагольных слов. Так, например, глагольная основа *ытыфта* «вешать» ³ является смысловым и формальным каузативным дериватом глагольной основы *ытыва* «висеть», так как, во-первых, ее лексическое значение «вешать» может быть истолковано как «делать так, чтобы + висело» или «заставить + висеть», и, во-вторых, в ее состав входит суффикс *-та*, которого нет в производящей основе и который является носителем значения типа «делать так, чтобы», «заставлять» и т. п. Ясно, что любая производная каузативная глагольная основа и по смыслу, и по форме сложнее производящей глагольной основы.

Глубина деривации определяется типом производящей некаузативной основы. Если на такой основе может быть построен только субъектный непереходный глагол, то каузативная деривация осуществляется предельно в три такта; если на такой основе может быть построен субъектно-объектный переходный глагол, то каузативная деривация предельно осуще-

¹ В основу исследования каузативных глаголов и каузативных конструкций предположения в эскимосском языке в данной статье положены материалы языка наукавских эскимосов, собранные Г. А. Меновщиковым во время лингвистических экспедиций к наукавцам в 1948, 1955, 1960 и 1967 гг. Каузативные глаголы и ранее отмечались в работах по разным диалектам эскимосского языка, но назывались иначе («дважды переходными», «побудительными», «понуздательными» и под.); см.: J. Hinz, *Grammar and vocabulary of the Eskimo language*, Berthlehem, P. A., 1944; K. Bergsland, *A grammatical outline of the Eskimo language of West Greenland*, Oslo, 1955; Е. С. Пучова, *Материалы по языку и фольклору эскимосов*, ч. I, М.—Л., 1954; Г. А. Меновщиков, *О категориях переходности и залога в эскимосском языке*, сб. «Вопросы грамматики», М.—Л., 1960; его же, *Язык сиренинских эскимосов*, М.—Л., 1964; его же, *Грамматика языка азиатских эскимосов*, ч. 2, Л., 1967; Н. М. Емельянова, *Глагольные основы в языке азиатских эскимосов*. Автореф. канд. диссерт., Л., 1967.

² Ниже смысловая и формальная каузативная деривация будут обозначаться знаком >. В своей работе мы исходим, в основном, из принципов и пользуемся терминологией, применяемой в монографии «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив» (Л., 1969).

³ В одиночных, нетекстовых примерах глагольные формы 3-го лица переводятся на русский инфинитивами эквивалентных по смыслу глаголов.

ствляется в два такта ⁴. Например: *ḡavā-* «спать» > *ḡavaḡtā-* «усыплять» > *ḡavaḡtḡyḡka-* «заставлять усыплять» > *ḡavaḡtḡyḡkaḡḡa-* «просить заставить усыпить»; (2) *nanṣā-* «тянуть» > *nanṣaḡtḡyḡka-* «заставлять тянуть» > *nanṣaḡtḡyḡkaḡḡa-* «просить заставить тянуть».

В принципе любую деривационную цепочку указанного типа можно рассматривать как звено ветвящегося дерева каузативной глагольной деривации. В таком дереве на каждом деривационном такте от любой производящей глагольной основы в идеале можно образовать столько каузативных дериватов, сколько операторов каузативного преобразования используется на данном деривационном такте. В свою очередь на каждой производной каузативной основе строятся два переходных глагола — субъектно-объектный и субъектный. Примерная схема ветвящегося дерева каузативной глагольной деривации дана на рис. 1⁵.

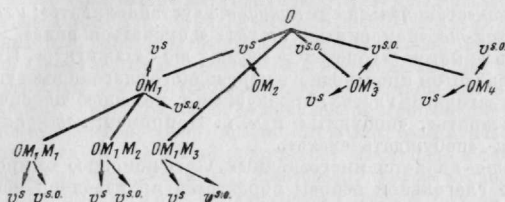


Рис. 1

В этом дереве на первом деривационном такте используются четыре оператора каузативной деривации (M_1, M_2, M_3, M_4), а на втором — три (M_1, M_2, M_3).

2. Операторами каузативной деривации в эскимосском языке служат суффиксы, которые в морфемной структуре глагольного слова занимают позицию между производящей глагольной основой и аффиксами словоизменения. Суффикс, вводимый на первом деривационном такте, примыкает непосредственно к производящей основе глагола. Например: *masaḡni-ḡuḡ* «закмуриваться» > *masaḡni-ḡka-ḡa* «заставлять закмуриваться». Суффиксы, вводимые на последующих деривационных тактах, примыкают к суффиксам, введенным на предыдущих деривационных тактах. Например: *masaḡni-ḡuḡ* «закмуриваться» > *masaḡni-ḡka-ḡa* «заставлять закмуриваться» > *masaḡni-ḡka-ḡḡa-ḡa* «просить заставлять закмуриваться».

В эскимосском языке зафиксированы следующие каузативные суффиксы: *-ta-*, *-cē-*, *-cita-*, *-cise-*, *-ḡḡa-*, *-сийḡḡa-*, *-ḡḡuḡ-*, *-ḡḡusaḡ(a)-*, *-ḡka-*, *-ḡyḡka-*, *-saḡ(a)-*.

2.1. Формально простой, одноморфемный суффикс *-ta-* используется в качестве каузативного оператора только на первом деривационном такте

⁴ На любой производной каузативной основе в принципе могут быть построены и субъектно-объектный и субъектный переходные глаголы. Субъектный глагол часто является рефлексивом субъектно-объектного глагола. Например: *ymyḡ-cita-* «напоить»; дать напиться — *ymyḡ-cita-ḡa* «напоить кого-либо»; дать напиться кому-либо, *ymyḡ-cita-ḡuḡ* «напоить себя», *ami-ḡḡa-* «просить взять» — *ami-ḡḡa-ḡa* «просить кого-либо взять что-либо, кого-либо», *ami-ḡḡa-ḡuḡ* «просить кого-либо взять себя». Исключение составляют производные каузативные основы, которые образуются с помощью суффиксов *-cē* и *-cise*. На таких основах строятся только субъектные переходные глаголы; например, *ymyḡ-cise-ḡuḡ* «поить кого-либо».

⁵ В схеме используется следующая нотация: *O* — глагольная основа, *V* — глагол, *V^s* — субъектный глагол, *V^{s.o}* — субъектно-объектный глагол, *M* — каузативный оператор.

при условии, что производящая глагольная основа является непереходной. Например: *қава-* «спать» > *қавақ-та-* «усыплять», *ытыв-* «висеть» > *ытыф-та-* «вешать».

Суффикс *-та-* обозначает фактитивную каузацию. Наиболее точным переводным эквивалентом этого суффикса в русском языке является выражение «делать так, чтобы». Дериивационной цепочке, в которую входят производящий непереходный глагол и производный переходный глагол с суффиксом *-та-*, в русском языке обычно соответствует пара глаголов, формальные дериивационные отношения между которыми не являются стандартными. Один из этих глаголов — непереходный, другой — переходный, причем переходный глагол обозначает то же состояние, что и непереходный плюс каузирующее действие, т. е. является смысловым каузативом непереходного. Например: *касу-* «подходить» > *касу-та-* «подводить, подносить»; *нукув-* «становиться» > *нукуф-та-* «устанавливать»; *ихақ-* «наклоняться» > *ихақ-та-* «наклонять»; *атқай-* «спускаться вниз» > *атқай-та-* «спускать вниз»; *ыкума-* «гореть» > *ыкумақ-та-* «зажигать». Иногда переводным эквивалентом производного переходного глагола выступает аналитический каузативный глагол, образуемый с помощью лексических каузативов «заставить», «побудить» и т. п. Например: *катнуға-* «ехать» > > *катнуқ-та-* «побуждать ехать».

Суффикс *-та-* является многозначным. С его помощью от производящей непереходной глагольной основы образуется производная непереходная глагольная основа со специфическим значением: состояние, выражаемое производящей основой, осуществляется на фоне сопутствующих обстоятельств, наличие которых фиксируется именно с помощью этого суффикса при субъектном оформлении глагола. Например: *қава-* «спать» > *қавақ-та-* «спать» (где-либо, у кого-либо, с кем-либо); *ығлыға-* «идти» > *ығлық-та-* «идти» (с чем-либо, с кем-либо, куда-либо); *қалғиға-* «кричать» (о животных) > *қалғиқ-та-* «кричать (по какой-либо причине)». Когда производящей является переходная глагольная основа, суффикс *-та* может указывать на наличие лица, в пользу (или во вред) которого совершается действие. Например: *айа-* «отнимать что-либо» > *айа-та-* «отнимать что-либо (у кого-либо)»; *қыла-* «вязать что-либо» > *қыла-та-* «вязать что-либо кому-либо».

Присоединяясь к производящей переходной глагольной основе, суффикс *-та* может также обозначать кратность действия. Например: *йға-* «прятать что-либо» > *йғай-та-* «прятать часто что-либо»; *имиға-* «наполнять что-либо» > *имиқ-та-* «наполнять что-либо с перерывом».

Присоединяясь к производящей переходной глагольной основе, суффикс *-та-* может иметь рефлексивное значение. Например: *мысуқ-* «окутать кого-либо в воду» > *мысуқ-та-* «окутаться в воду самому». В этом случае глагол выступает в субъектной форме.

2.2. Формально простой одноморфемный однозначный суффикс *-сә-* используется в качестве каузативного оператора в тех же условиях, что и суффикс *-та-*. Семантически эти суффиксы тождественны. Формальное различие между этими суффиксами мы усматриваем в том, что на производной глагольной основе с суффиксом *-та-* можно построить и субъектно-объектный, и субъектный глаголы, тогда как на производной основе с суффиксом *-сә-* можно построить только субъектный глагол. Например:

	<i>ытыф-та-қа</i>	
<i>ытыв-</i> «висеть» >	<i>ытыф-та-қуқ</i>	«вешать»
	<i>ытыф-сә-қуқ</i>	

2.3. Формально сложный двухморфемный суффикс *-сита-* используется в качестве каузативного оператора только на первом дериивационном

такте независимо от того, является ли исходная производящая глагольная основа непереходной или переходной. Производный глагол, образованный с помощью указанного суффикса, — это либо субъектно-объектный переходный глагол, либо субъектный переходный рефлексивный глагол. Например: *қавақ*- «спать» > (1) *қавақ-сита-қа* «велесть спать кому», (2) *қавақ-сита-қуқ* «велесть спать себе»; *ағлуғ*- «работать» > (1) *ағлуғ-сита-қа* «заставлять кого-либо работать», (2) *ағлуғ-сита-қуқ* «заставлять себя работать»; *ақума*- «сидеть» > (1) *ақум-сита-қа* «заставлять кого-либо сидеть», (2) *ақум-сита-қуқ* «заставлять себя сидеть»; *икилиғ*- «ранить» > (1) *икилиғ-сита-қа* «заставлять ранить кого-либо», (2) *икилиғ-сита-қуқ* «заставлять ранить себя»; *ура*- «мерять» > (1) *ура-сита-қа* «заставлять мерять кого-либо», (2) *ура-сита-қуқ* «заставлять мерять себя».

Суффикс *-сита-* обозначает факитивную каузацию. Русскими переводными эквивалентами этого суффикса служат лексические каузативы «заставлять», «велесть», «побуждать». Примеры: (1) *Анама қавақситақаңа, иғданинғағма* «Мама велит мне спать, хотя я и не хочу»; (2) *Верам туғу-ситақа Андреймун ынаған* «Вера заставляет Андрея взять игрушку».

Таким образом, в русском языке эквивалентом производного каузативного глагола с суффиксом *-сита-* обычно выступает аналитический каузативный глагол, хотя иногда в этой роли может выступать и самостоятельный каузативный по смыслу глагол. Например, *нукув*- «подниматься» > *нукуф-сита-* «поднимать»: *Таням нукуфситақа икулге Вова* «Таня поднимает упавшего Вову».

Суффикс *-сита-* относится к числу однозначных суффиксов.

2.4. Формально сложный двухморфемный суффикс *-сисе-* семантически тождествен суффиксу *-сита-*. Различия в их употреблении аналогичны различиям в употреблении формально простых суффиксов *-се-* и *-та-*. Например: *ивағ*- «искать» > (1) *ивағ-сита-қа* «заставлять искать», (2) *ивағ-сита-қуқ* «заставлять искать», (3) *ивағ-сисе-қуқ* «заставлять искать». Отличительной особенностью каузативных глаголов с суффиксом *-сисе-* является то, что в роли дополнения при них чаще всего выступает имя во мн. числе. Например: *Машам ивағсисеқуқ Сашамун таңзаның туғууыақ-қаның* «Маша заставляет Сашу искать ремни для отправки».

2.5. Формально простой одноморфемный суффикс *-йқа-* употребляется в качестве каузативного оператора на любом деривационном такте вне зависимости от того, является ли производящая основа глагола переходной или непереходной. Например: *нутыға*- «прыгать» > *нутыға-йқа-* «просить прыгать»; *ату-* «петь» > *ату-йқусағ-* «уговорить петь» > *ату-йқусағ-йқа-* «просить уговорить петь»; *амиға*- «брать» > *амиға-йқа-* «просить взять»; *ымығ*- «пить» > *ымығ-та-* «поить» > *ымығ-ты-фка-* «заставлять поить» > *ымығ-ты-фка-йқа-* «просить заставлять поить».

Суффикс *-йқа-* обозначает факитивную речевую каузацию. Переводным эквивалентом этого суффикса в русском языке является лексический каузатив «просить». Суффикс *-йқа-* является однозначным суффиксом.

2.6. Формально сложный двухморфемный суффикс *-сийқа-*, будучи семантически тождественным простому одноморфемному суффиксу *-йқа-*, отличается от него тем, что выступает в качестве каузативного оператора только на первом такте каузативной деривации. Например: *ату-* «петь» > *ату-сийқа-* «просить петь»; *кыпу-* «разрезать» > *кыпу-сийқа* «просить разрезать»; *сана-* «мастерить» > *сана-сийқа* «просить делать (мастерить)». Суффикс *-сийқа-* является однозначным.

2.7. Формально сложный двухморфемный суффикс *-йқуғ(а)-* используется в качестве каузативного оператора преимущественно на первом и втором деривационных тактах вне зависимости от разряда производящей основы глагола. Например: *майу-* «подниматься вверх» > *майу-йқуғ(а)-*

«приказывать подниматься вверх», *ан-* «выходить» > *аны-йкуз(а)-* «приказывать выйти», *ымыга-* «пить» > *ымгы-йкуз(а)-* «приказывать попить».

Суффикс *-йкуз(а)-* обозначает фактитивную речевую каузацию. Переводным эквивалентом этого суффикса в русском языке служит лексический каузатив «приказывать». Суффикс *-йкуз(а)-* является однозначным суффиксом.

2.8. Формально сложный трехморфемный суффикс *-йкусаз(а)-* используется в качестве каузативного оператора на любом деривационном такте независимо от разряда производящей основы глагола. Например: *ымыга-* «пить» > *ымыгы-йкусаз(а)-* «уговаривать попить»; *кывыз-* «поднимать» > *кывыз-тыфка-* «заставлять поднимать» > *кывыз-тыфка-йкусаз(а)-* «уговаривать заставлять поднимать».

Суффикс *-йкусаз(а)-* обозначает фактитивную речевую каузацию. В русском языке соответствующее значение передается лексическим каузативом «уговаривать». Суффикс *-йкусаз(а)-* является однозначным.

Общим компонентом суффиксов фактитивной речевой каузации *-йқа-*, *-йкуз(а)-*, *-йкусаз(а)-* является морфема *-йқ-*. В сочетании со следующим за ней суффиксом отрицания *-йи-* эта морфема обозначает запрещение делать то действие, которое выражено в основе глагола (например: *аглу-йқы-йи-та* «запрещает ему работать», *аглуз-йа-йқы-йи-та* «запрещает ему идти работать»).

2.9. Формально простой одноморфемный суффикс *-фка-* используется в качестве каузативного оператора чаще всего на первом деривационном такте, независимо от разряда производящей основы глагола. Например: *ана-* «выходить» > *аны-фка-* «заставлять выходить»; *аму-* «вынимать» > *аму-фка-* «заставлять вынимать»; *ныз-* «есть» > *нызы-фка-* «кормить».

Суффикс *-фка-* обозначает фактитивную каузацию, в русском языке ему семантически соответствует глагол «заставлять». Суффикс *-фка-* является однозначным.

2.10. Формально сложный двухморфемный суффикс *-тыфка-* используется в качестве каузативного оператора на любом деривационном такте, независимо от разряда исходной производящей основы глагола. Например: *нутыз-* «прыгать» > *нутыз-тыфка-* «заставлять прыгать»; *ыга-* «варить» > *ыга-тыфка-* «заставлять варить»; *тугу-* «брать» > *тугу-тыфка-* «заставлять брать»; *нансах-* «тянуть» > *нансах-тыфка-* «заставлять тянуть»; *нукув-* «устанавливать» > *нукув-тыфка-* «заставлять устанавливать».

Семантическая интерпретация этого суффикса совпадает с интерпретацией суффикса *-фка-*. Его лексическим эквивалентом в русском языке является глагол «заставлять». Однако при употреблении суффикса *-тыфка-* логически подчеркивается объект действия, причем средством актуализации наряду с этим суффиксом служит форма прямого дополнения. Например: *Иваным нансах-тыфка Утылитмун айвық* «Иван заставлял Утылина тянуть моржа», где в форме прямого дополнения выступает имя *айвық*, обозначающее логически подчеркиваемый объект действия.

2.11. Формально сложный двухморфемный суффикс *-сифка-* семантически тождествен суффиксу *-тыфка-*. Различия в их употреблении заключаются в следующем. Если при употреблении суффикса *-тыфка-* логически подчеркивается объект действия, то при употреблении суффикса *-сифка-* логически подчеркивается пациент, причем средством подчеркивания, так же как и в случае с суффиксом *-тыфка-*, служит форма прямого дополнения. Например: *Иваным нансах-сифка-қа Утылин ай-выгмың* «Иван заставлял Утылина тянуть моржа». Здесь в форме прямого дополнения выступает имя *Утылин*, которое обозначает логически подчеркиваемого пациента каузации.

3. Каждый каузативный суффикс обозначает каузацию, которую можно интерпретировать как абстрактное действие. Можно усмотреть следующую разницу между лексическими корневыми морфемами и служебными каузативными морфемами. Лексическая корневая морфема выражает конкретное действие; каузативная морфема обозначает абстрактное каузирующее действие. Таким образом, каузативную морфему можно считать служебной морфемой, являющейся заместителем любых лексических глагольных морфем, обозначающих конкретные действия, которые выполняют каузирующую функцию.

В свете этой точки зрения получает надлежащую интерпретацию тот факт, что каузативные суффиксы в эскимосском языке, точно так же, как и лексические корневые морфемы, могут иметь при себе суффиксы, обозначающие различные способы протекания действия, а также и некоторые другие суффиксы. Сопоставим три примера: (1) *ыкумагу-врег-тыфка-қа* «заставлять повторно зажигать огонь», (2) *ыкумагу-тыфка-врега-қа* «повторно заставлять зажигать огонь», (3) *ыкумагу-врег-тыфка-врега-қа* «повторно заставлять повторно зажигать огонь». В примере (1) суффикс повторности присоединяется к корневой морфеме, в примере (2) суффикс повторности присоединяется к каузативному суффиксу, а в примере (3) этот суффикс присоединяется как к корневой морфеме, так и к каузативному суффиксу.

Таким образом, в структуре глагольного слова любой каузативный суффикс первого такта занимает позицию после корневой лексической морфемы и всех суффиксов, указывающих на различные характеристики состояния (действия), обозначаемого этой морфемой. Соответственно каузативный суффикс второго такта в структуре глагольного слова занимает позицию после каузативного суффикса первого такта и всех суффиксов, указывающих на различные характеристики каузативного действия.

На тех же основаниях, какие позволяют трактовать местоимения в качестве заместителей имен, видимо, можно говорить о том, что каузативные суффиксы в эскимосском языке (равно как и формально самостоятельные каузативные глаголы в других языках) следует трактовать как заместителей знаменательных глаголов, которые по своему лексическому значению могут обозначать каузирующие действия.

4. В глагольной каузативной деривационной цепочке каждый последующий глагол имеет на одну валентность больше сравнительно с предыдущим. Так, например, в цепочке (1) *ыглыг-идти* > (2) *ыглыг-та-вести* > (3) *ыглыгу-ты-фка-* «заставлять вести» > (4) *ыглыгу-ты-фка-йқа-* «просить заставлять вести» производный глагол имеет валентность только на имя, выступающее в роли подлежащего; производный глагол первого такта имеет валентность на имя, выступающее в роли подлежащего, и на имя, выступающее в роли дополнения; производный глагол второго такта имеет валентность на имя, выступающее в роли подлежащего, и на два имени, выступающие в роли дополнений; производный глагол третьего такта имеет валентность на имя, выступающее в роли подлежащего, и на три имени, выступающие в роли дополнений. Рассмотрим это нарастание валентности в контекстовых примерах: (1) *Яша* (П) *ыглыга-қуқ* (С) «Яша(П) идет (С)» > (2) *Сашам* (П) *ыглыг-та-қа*(С) *Яша*(Д₁) «Саша (П) ведет (С) Яшу(Д₁)» > (3) *Зинам*(П) *Яша*(Д₁) *ыглыгу-ты-фка-қа*(С) *Сашамун*(Д₂) «Зина (П) заставляет (С) Сашу (Д₂) отвести(С) Яшу(Д₁)» > (4) *Иринам* (П) *Саша* (Д₂) *ыглыгу-ты-фка-йқа-қа*(С) *Зинамун* (Д₃) *Яшамун* (Д₁) «Ирина (П) просит (С) Зину (Д₃) заставить (С) Сашу (Д₂) отвести (С) Яшу (Д₁)».

Общей для всех глаголов этой деривационной цепочки является валентность на имя, выступающее в роли подлежащего. Отличаются они друг от

друга наличием и количеством валентностей на имена, выступающие в роли дополнений. Наличие и количество дополнений точно соответствует наличию и количеству каузативных суффиксов в структуре глагольного слова. Это позволяет предположить, что в глаголах рассмотренной деривационной цепочки корневая морфема, равно как и каждый каузативный суффикс «ответственны» за одну активную валентность из совокупности активных валентностей глагола. Если это предположение правильно, то способность иметь активную валентность является еще одним общим свойством лексических и каузативных морфем.

Каузативной деривации глаголов соответствует деривация синтаксических конструкций, образуемых этими глаголами, которая осуществляется в соответствии со следующими правилами: (1) перевести имя, занимающее позицию подлежащего, в позицию дополнения (первого на первом такте, второго на втором такте, третьего на третьем такте), (2) ввести в конструкцию имя, занимающее позицию нового подлежащего (см. рис. 2).

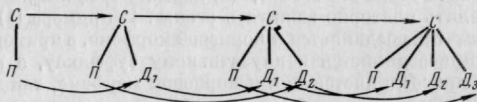


Рис. 2

Иллюстрацией к приведенной на рис. 2 схеме служит деривационная цепочка предложений, рассматриваемая на стр. 107.

Рассмотрим семантические функции членов предложения во всех конструкциях этой цепочки. В конструкции (1) сказуемое обозначает «состояние» (*ыгыга-кук* «идет»), а подлежащее (*Яша*) — субъекта этого состояния. В конструкции (2) сказуемое обозначает каузацию + состояние, т. е. каузированное состояние (*ыгыг-та-қа* «ведет», т. е. «делает так, чтобы шел»), подлежащее (*Сашам*) — агенса каузации, а первое дополнение — подлежащее предыдущего предложения (*Яша*) — обозначает субъекта состояния, который одновременно является пациенсом каузации. В конструкции (3) сказуемое обозначает каузацию каузированного состояния, т. е. дважды каузированное состояние (*ыгыгу-ты-фка-қа* «заставляет отвести, т. е. делает так, чтобы отвел»), подлежащее (*Зинам*) обозначает агенса второй каузации, первое дополнение (*Яша*) сохраняет те же функции, что и в конструкции (2), второе дополнение (*Сашамун*) обозначает агенса первой каузации, который в то же время является пациенсом второй каузации. В конструкции (4) сказуемое обозначает каузацию дважды каузированного состояния, т. е. трижды каузированное состояние (*ыгыгу-ты-фка-й-қа-қа* «просит заставить отвести»), подлежащее (*Иринам*) означает агенса третьей каузации, первое (*Яшамын*) и второе (*Саша*) дополнения сохраняют те же семантические функции, что и в конструкции (3), третье дополнение (*Зинамун*) обозначает агенса второй каузации, который одновременно является пациенсом третьей каузации.

Итак, в процессе каузативной деривации: 1) глагольное сказуемое семантически на каждом такте усложняется одинаково — в него вводится один и тот же минимальный семантический элемент «каузация»; 2) имя, занимающее позицию подлежащего в производящей конструкции, будучи переведено в позицию дополнения в производной конструкции, сохраняет старую семантическую функцию и приобретает новую семантическую функцию; 3) имя, вводимое в производную конструкцию на позицию подлежащего, по своей семантической функции отличается от имени, занимавшего позицию подлежащего в производящей конструкции.

Рассмотрим оформление членов предложения в конструкциях каузативной деривационной цепочки. В конструкции (1) глагол-сказуемое выступает в субъектной форме, а имя-подлежащее стоит в абсолютном падеже: *Яша* (абс. п.) *ыглызакуу* (суб. ф.) «Яша идет»; *Микисџи* (абс. п.) *қавазакуу* (суб. ф.) «Ребенок спит».

Наиболее обычный вариант оформления членов предложения в конструкции (2) следующий: глагол-сказуемое выступает в субъектно-объектной форме, имя-подлежащее — в форме относительного падежа, а имя — первое дополнение — в форме абсолютного падежа: *Сашам* (отн. п.) *ыглызтақа* (суб.-объектн. ф.) *Яша* (абс. п.) «Саша ведет Яшу»; *Мариям* (отн. п.) *қавазтақа* (суб.-объектн. ф.) *микисџи* (абс. п.) «Мария укладывает ребенка спать». В ином варианте этой конструкции глагол-сказуемое выступает в субъектной форме, имя-подлежащее — в форме абсолютного падежа, а имя — первое дополнение — в форме творительного падежа: *Мария* (абс. п.) *қавазтакуу* (суб. ф.) *микисџимың* (твор. п.) «Мария укладывает ребенка спать». Этот вариант оформления членов предложения, очевидно, употребляется тогда, когда логически подчеркивается подлежащее. Этот же вариант избирается тогда, когда агенс, обозначаемый подлежащим, и пациенс, обозначаемый дополнением, имеют одного референта. В таком случае в роли первого дополнения выступает форма возвратного местоимения: *Мария* (абс. п.) *қавазтакуу* (суб. ф.) *ылмының* «Мария укладывает себя спать». Местоимение в этой конструкции является факультивным; та же самая информация передается при его отсутствии: *Мария* (абс. п.) *қавазтакуу* (суб. ф.) «Мария укладывает себя (укладывается) спать».

Наиболее обычный вариант оформления членов предложения в конструкции (3) следующий: глагол-сказуемое выступает в субъектно-объектной форме, имя-подлежащее — в относительном падеже, имя — первое дополнение — в абсолютном падеже, имя — второе дополнение — в дательном падеже. Например: *Зинам* (отн. п.) *Яша* (абс. п.) *ыглызтыфкақа* (суб.-объектн. ф.) *Сашамун* (дат. п.) «Зина заставляет Сашу отвести Яшу»; *Иринам* (отн. п.) *микисџи* (абс. п.) *қавазтыфкақа* (суб.-объектн. ф.) *Мариямун* (дат. п.) «Ирина заставляет Марию уложить ребенка спать». Во втором варианте этой конструкции глагол-сказуемое выступает в субъектной форме, имя-подлежащее выступает в форме абсолютного падежа, имя—первое дополнение—в форме творительного падежа, а имя — второе дополнение, как и в первом варианте, стоит в форме дательного падежа: *Ирина* (абс. п.) *қавазтыфкакуу* (суб. ф.) *Мариямун* (дат. п.) *микисџимың* (твор. п.) «Ирина заставляет Марию укладывать спать ребенка». В случае, если агенс, обозначаемый подлежащим, и субъект, обозначаемый первым дополнением, имеют одного референта, избирается только этот вариант. Местоимение, которое в этом случае выступает в роли первого дополнения, обычно опускается: *Ирина* (абс. п.) *қавазтыфкакуу* (суб. ф.) *Мариямун* (дат. п.) «Ирина заставляет Марию укладывать спать себя (т. е. Ирину)».

В конструкции (4) члены предложения обычно оформляются следующим образом: глагол-сказуемое выступает в субъектно-объектной форме, имя-подлежащее — в относительном падеже, имя — первое дополнение — в творительном падеже, имя — второе дополнение — в абсолютном падеже, имя — третье дополнение — в дательном падеже. Например: *Иринам* (отн. п.) *Саша* (абс. п.) *ыглызтыфкайқақа* (суб.-объектн. ф.) *Зинамун* (дат. п.) *Яшамың* (твор. п.) «Ирина просит Зину заставить Сашу отвести Яшу».

В каждой конструкции рассмотренной каузативной деривационной цепочки глагол-сказуемое несет информацию о всех структурных членах

предложения. Именно поэтому любая конструкция может быть представлена глаголом-сказуемым, который сам по себе является законченным предложением. Например: конструкция (1) *ыгылс акур* «он идет»; конструкция (2) *ыгылтаға* «он ведет его»; конструкция (3) *ыгылутыфкаға* «он заставляет кого-то вести кого-либо»; конструкция (4) *ыгылутыфкайғаға* «он просит кого-то заставить кого-то другого отвести кого-либо».

Словопорядок в эскимосском языке на уровне членов предложения в принципе свободный, в большинстве случаев форма слова однозначно указывает на его синтаксическую функцию. Отметим только самые употребительные формулы порядка слов для всех четырех конструкций цепочки: конструкция (1): П (1) С(2); конструкция (2): П(1) С(2) Д₁(3); конструкция (3): П(1) Д₁(2) С(3) Д₂(4); конструкция (4): П(1) Д₂(2) С(3) Д₃(4) Д₁(5).

А. - К. ОРУСБАЕВ

ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КИРГИЗСКОГО УДАРЕНИЯ

На акустическом уровне ударный звук в ряду других звуков слова может выделяться либо большей интенсивностью, либо большей протяженностью, либо определенной частотой основного тона. Одна из названных физических (акустических) величин, которая оказывается ведущей в акцентной организации слова, и определяет тип словесного ударения в том или ином конкретном языке. Эта точка зрения основана на результатах современных экспериментально-фонетических исследований, проведенных на материале различных языков Г. П. Торсуевым, Л. В. Златостовой, У. Ш. Байчурой, А. Махмудовым, Ш. М. Абдуллаевым. Для описания киргизского ударения, которое еще ни разу не было предметом специального изучения, мы примем данное положение и будем оперировать величинами интенсивности, длительности и частоты основного тона. Ниже будут рассмотрены экспериментальные данные по интенсивности гласных в двух- и более сложных словах.

В естественном речевом сигнале интенсивность гласного звука является одним из характерных показателей ударения. Неслучайно в этом плане «ударение» как лингвистический термин употребляется в сочетании с определением «силовое» (динамическое, экспираторное).

Разумеется, говорить в отношении киргизского ударения, что оно динамическое, пока еще трудно; тем не менее, чрезвычайно важное значение интенсивности в оформлении ударного звука не подлежит сомнению¹. Численная величина (или вернее: параметры интенсивности) гласных непосредственно зависит от их качества. Гласные переднего ряда обычно менее интенсивны, нежели гласные заднего ряда. Определенное влияние на интенсивность гласного оказывает качество соседних согласных, а также открытость и закрытость слогов. И, наконец, имеются основания считать, что сила звука изменяется в зависимости от величины линейной протяженности (короткое — длинное) слова.

В соответствии с этими фактами в качестве исследуемого материала были использованы слова двух- и более сложные с различным набором слогов и одинаковыми по качеству гласными.

Д в у х с л о ж н ы е с л о в а. 1. По интенсивности в словах с типом слогов Г — СГ, СГ — СГ конечные гласные превосходят предшествующие. Если для гласного [а] это выразится усредненными амплитудами в 3,6 мм/4,2 мм, а для [i] — в 2,5 мм/3,3 мм, то разность этих параметров соответственно 0,7 мм и 0,8 мм указывает, насколько сильнее выделены данные гласные по сравнению с гласными, стоящими впереди.

Смычные и щелевые согласные вносят определенные коррективы в интенсивность гласных, однако эти коррективы очень незначительны. Тем

¹ См. об этом: Т. К. А х м а т о в, Звуковой строй современного литературного киргизского языка. Автореф. докт. диссерт., Фрунзе, 1969.

не менее, при щелевых согласных, открывающих слог, гласные менее интенсивны. В парадигме слов по дифференциальному признаку «смычность — щелевость» (*того* «кольцо» — *сага* «тебе») гласные первого и второго слогов, выступающие в сочетании с щелевыми консонантами, оказались по интенсивности лишь на 0,1 мм/0,2 мм ниже соответствующих гласных со смычными консонантами.

2. В типах слогов Г — СГС, СГ — СГС гласный закрытого конечного слога интенсивнее предшествующего открытого. У тех же гласных [a] и [i] интенсивность соответственно равна: [a¹] — 3,7 мм, [a²] — 4,0 мм; [i¹] — 2,5 мм, [i²] — 3,8 мм². Гласный второго слова [a²] на 0,3 мм интенсивнее [a¹] — гласного первого слова; [i²] (гласный второго слога) на 1,3 мм интенсивнее соответствующего гласного первого слога.

Открывающие или закрывающие слог смычные и щелевые согласные и здесь в общем не оказывают существенного влияния на силу гласных. Очевидно, можно не принимать в расчет редкие случаи, когда наблюдается понижение интенсивности конечного гласного, закрытого с обеих сторон смычными согласными, или же равная интенсивность (нейтрализация по интенсивности) гласных первого и второго слов, закрытых с обеих сторон щелевыми.

3. В словах со слоговой структурой ГС — СГ, СГС — СГ конечные гласные несколько интенсивнее гласных, стоящих впереди в закрытых слогах: [a²] интенсивнее [a¹] на 0,8 мм, соответственно [o²] — на 0,9 мм, [u²] — на 0,4 мм, [e²] — на 0,6 мм и т. д. Если сравнить в отношении интенсивности гласные данного типа сочетания слогов с гласными в типах слогов, рассмотренных выше, то окажется, что гласные и открытых, и закрытых слогов в конце слова чаще всего более интенсивны, чем гласные предшествующих слогов; только у гласных [i²], [e²] интенсивность ниже интенсивности [i¹], [e¹] примерно на 0,5 мм. Для гласного [a], например, характерны следующие параметры:

- (1) ГС—СГ—С 3,6 мм—С 4,1 мм
- (2) СГС—СГ—С 3,3 мм—С 4,1 мм
- (3) СГ—СГС—С 3,7 мм—С 4,0 мм С

Смычные, щелевые и сонорные согласные, входящие в состав сочетаний слогов типа ГС — СГ, СГС — СГ, внесли определенные изменения в интенсивность гласных, однако не столь заметные, чтобы о них можно было говорить более подробно³.

4. В двусложных словах с типами слогов ГС — СГС, СГС — СГС интенсивность гласных конечных закрытых слогов, кроме [i²], [y²], была отмечена как более высокая по сравнению с интенсивностью гласных начальных закрытых слогов. Так, например, гласный [a²] интенсивнее гласного [a¹] на 1,5 мм, соответственно [y²] — на 0,4 мм, [e²] — на 0,4 мм, [y²] — на 0,2 мм, [u²] — на 0,5 мм. Наоборот, гласная [i²] закрытого конечного слова по интенсивности оказалась сравнительно ниже гласного [i¹] закрытого слога в начальной позиции.

Типы сочетания слогов, в которых наблюдаются киргизские гласные, а также результаты подсчета средней интенсивности гласных по осциллограммам, представлены в сводных таблицах 1 и 2.

Цифры над гласными звуками здесь и дальше обозначают порядковый номер слога слева направо.

³ Отметим только, что сила гласного в слогах с качественно отличными согласными постепенно идет на убыль в зависимости от качества соседнего согласного в направлении «сонорность» → «щелевость» → «смычность».

Таблица 1

	[a]	[o]	[u]	[ы]	[ə]	[y]	[e]	[i]
Типы сочетания слов	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ ГС-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС	Г-СГ СГ-СГ СГС-СГ Г-СГС СГ-СГС ГС-СГС СГС-СГС

Таблица 2¹

	Интенсивность (в мм)			
	откр./откр.	закр./откр.	откр./закр.	закр./закр.
[a]	3,6—4,1 4,7—5,4	3,3—4,1 3,8—3,5	3,7—4,0 4,8—4,7	3,2—4,7 3,6—3,6
[o]	4,5—6,1 4,5—5,0	5,1—6,0 4,9—6,0	5,3—7,8 5,4—5,5	4,0—6,5 4,6—5,9
[u]	3,5—5,0 2,5—3,9	4,0—4,4 3,2—3,8	3,1—4,2 2,0—2,7	4,8—5,3 2,4—3,0
[ы]	5,3—5,3 5,4—5,4	4,5—4,5 4,0—4,5	4,6—5,8 4,7—5,2	5,3—5,7 4,5—5,0
[ə]	4,1—5,2 3,1—4,2	4,2—4,8 3,7—3,5	4,3—5,1 3,6—3,8	3,7—5,8 3,0—4,3
[y]	4,0—4,5 3,8—4,5	3,8—4,5 4,0—4,7	3,8—4,4 3,6—5,1	3,8—4,5 3,2—4,0
[e]	4,0—4,1 4,6—5,0	5,5—5,0 5,2—5,6	4,6—4,8 4,2—5,5	4,3—4,7 4,6—5,2
[i]	2,5—3,3 3,2—4,5	4,0—3,5 3,0—4,0	2,5—3,8 3,1—4,3	4,0—3,3 3,2—3,2

¹ В таблице 2, как и в ниже следующих, отражена интенсивность гласных в произношении двух дикторов: в первой строчке — данные, полученные от диктора Ш., во второй строчке — данные, полученные от диктора Т.

Трехсложные слова. 5. В словах, состоящих из трех открытых слогов, а именно — Г — СГ — СГ или СГ — СГ — СГ — интенсивность гласных имеет чаще всего тенденцию повышаться в направлении к концу слова. В одних случаях повышение выражено ярко (контрастно), в других случаях оно мало заметно. Например, по силе гласный [a²] превосходит [a²] всего лишь на 0,2 мм, в то время как интенсивность [ə³] превышает интенсивность [ə²] на 1,8 мм. Разность параметров интенсивности других гласных лежит между этими величинами, т.е. между 0,2 и 1,8. Контраст по интенсивности между гласными первого и второго слогов ярче заметен у диктора Ш. В произношении второго диктора эти гласные либо нейтрализованы по силе, либо параметры интенсивности гласного первого слога чуть превышают параметры интенсивности гласного второго слога.

Тенденция к выделению по силе конечного гласного в трехсложном слове не столь постоянна, как в двусложном. Нередко предпоследний глас-

ный звук оказывается более выделенным, нежели последний. Особенно характерно это для [o], [e] и [a] в произношении диктора Т. Данное явление, думается, неправомерно относить в разряд исключений, точнее — в разряд отклонений от языковой нормы. Прежде всего, в киргизском, как и в других тюркских языках, преобладают одно- и двусложные слова, по модели которых конец основы выделяется и в многосложных словах. В тюркской описательной и экспериментальной акцентологии приводятся факты ударенности конца основ в многосложных словах⁴. Можно предположить, что в перечне наших примеров имеются в большом количестве трехсложные слова с морфологическим строением «корень + аффикс», где семантическая выделенность чистой основы сопряжена с акустической. Это, очевидно, в известной мере и отразилось в произношении одного из дикторов.

6. Анализ интенсивности гласных в словах с закрытым конечным слогом (СГ — СГ — СГС, Г — СГ — СГС) также дает основание думать, что сила гласного звука нарастает от начала к концу речевого сигнала. Сравнение интенсивности гласных последнего и предпоследнего слогов показало, что [o³] превосходит [o²] по силе на 0,8 мм, [u³] > [u²] на 1,3 мм, [e³] > [e²] — на 1,9 мм, [y³] > [y²] — на 2,2 мм, [i³] > [i²] — на 0,9 мм. В отношении интенсивности трех остальных гласных — [a], [e], [ы] — заметим, что в произношении обоих дикторов наблюдаются факты и повышения, и понижения акустической силы гласного конечного слога в слове. В свою очередь гласные первого слога могут в некоторых случаях обладать большей силой по сравнению с гласными последующего слога. Однако ни разу кривая интенсивности не шла на спад последовательно от начала к концу слова; это замечание относится также и к трехсложным словам с типами сочетания слогов Г — СГ — СГ, СГ — СГ — СГ (п.5).

7. К обычному явлению в сфере трехсложных слов относится и большая интенсивность конечных гласных в слоговых сочетаниях типа Г — СГС — СГ, СГ — СГС — СГ. Увеличение силы звука идет от начала слова к концу без каких-либо промежуточных спадов. Закрытость второго слога не влияет на соотношение интенсивности гласных: [o³] превосходит [o²] на 1,5 мм, [u³] > [u²] на 1,4 мм, [e³] > [e²] на 1,2 мм и [y³] > [y²] на 1,0 мм. Для гласного [ы] характерна наибольшая интенсивность на втором, предпоследнем слоге. Это можно объяснить тем, что среди слов с гласным [ы] много производных имен, в морфологической структуре которых выделяется глагольная основа и присоединенный к ней словообразовательный аффикс. Возможно, что выделенность конца глагольной основы в известной мере не утратила своей силы и после присоединения к ней словообразовательного аффикса: *шыпыр-гы* «подмети» → «веник», *кырым-ды* «поскребись» → «воскребки». Если будут получены подобные результаты и в отношении одного или двух остальных коррелятов ударения (длительность, частота основного тона), то можно будет с уверенностью сказать, что конец основы отглагольных имен отмечается (маркируется) ударением.

Совершенно противоположны данные двух дикторов по гласному [a]. В то время как в произношении диктора Ш. интенсивность этого гласного наименьшая во втором слоге и наибольшая в третьем, в произношении диктора Т. наибольшая интенсивность приходится на первый и наименьшая — на третий слог слова. Наглядно это представлено на рис. 1.

Было бы неверно думать, что в данном случае проявились лишь особенности произношения дикторов. Вопрос сложнее. В качестве одного

⁴ И. А. Батманов, Современный киргизский язык, I, Фрунзе, 1963, стр. 58—59; Э. В. Севортян, Фонетика турецкого литературного языка, М., 1955, стр. 132; У. Ш. Байчура, Звуковой строй татарского языка в связи с некоторыми другими тюркскими и финно-угорскими языками, ч. II, [Казань], 1961, стр. 191.

из аргументов в пользу неслучайности этого явления можно сослаться на наблюдения, в которых неоднократно отмечалась ударность первого слога слова⁵. Интересно обратить внимание и на то, что в нашем примере у обоих дикторов по интенсивности $[a^1]$ превосходит $[a^2]$. Наибольшая величина интенсивности гласного последнего слога $[a^3] > [a^2]$, что наблюдается в произношении диктора Ш., наверное, указывает на один из возможных вариантов произношения.

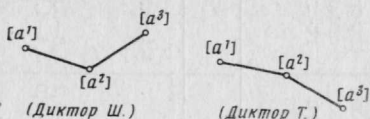


Рис. 1

8. Примерно то же самое, что было сказано в отношении интенсивности гласных в словах с открытыми слогами (п.5), можно повторить и в отношении характера распределения силы гласных звуков в словах с закрытыми слогами ГС — СГС — СГС, СГС — СГС — СГС и Г — СГС — СГС. Самыми выделенными оказываются гласные последнего слога, причем увеличение силы идет последовательно от начала слова. И только у гласных $[e]$ и $[u]$ отмечается спад интенсивности во втором слоге: $[e^1] > [e^2] < [e^3]$; $[u^1] > [u^2] < [u^3]$. Выделенность слова интенсивностью с обоих концов, очевидно, связана с проявлением второстепенного ударения, с одной стороны, и главного ударения — с другой. Однако для того чтобы доказать это, необходимы идентичные же показания либо по длительности, либо по частоте основного тона.

Типы слов в подвергнутых исследованию трехсложных словах и средняя интенсивность гласных в них сведены в таблицы 3 и 4.

Четырехсложные слова. 9. Слов с четырьмя слогами экспериментально изучено в количественном отношении значительно меньше, чем двух- или трехсложных слов, — прежде всего потому, что словарный фонд современного киргизского языка располагает очень незначительным количеством четырехсложных слов. Кроме того, предполагалось, что те закономерности в распределении интенсивности, которые были замечены в двух- и трехсложных словах, в известной мере должны были повториться и в четырехсложных словах; это, действительно, подтвердилось при анализе данного языкового материала.

В четырехсложных словах независимо от открытости и закрытости слогов на протяжении всего слова, в любых консонантных окружениях повышение интенсивности гласных идет от начала к концу слова. Кривая интенсивности максимально повышается на гласном последнего слога. Каждый в отдельности гласный первого, второго и третьего слогов также может выделяться наибольшей интенсивностью в сравнении с остальными тремя гласными в слове, однако значительно реже. Так, из 28 случаев один случай пришелся на наибольшую интенсивность гласного второго слова, три — на наибольшую интенсивность гласного третьего слога и шестнадцать случаев — на наибольшую интенсивность гласных конечного слога слова. Такой разноречивой в динамическом оформлении слов можно объяснить неоднородностью морфологической структуры этих слов. В процентном

⁵ Подробно об этом см.: Э. В. Севортян, указ. соч., стр. 127—130; см. также: W. R a d l o f f, *Phonetik der nördlichen Türkssprachen*, Leipzig, 1882, стр. 98; М. Р а с с е н, *Материалы по исторической фонетике тюркских языков*, М., 1955, стр. 33—45.

Таблица 3

	[a]	[o]	[u]	[ы]	[e]	[y]	[e]	[i]
Типы сочетания слогов	CF-CF-CF	CF-CF-CF	CF-CF-CF		CF-CF-CF		CF-CF-CF	
	CF-CFC-CF	Г-CFC-CF	Г-CFC-CF	CF-CFC-CF	Г-CF-CFC	Г-CFC-CFC	Г-CF-CFC	Г-CF-CFC
	CF-CF-CFC	CF-CF-CFC	CF-CFC-CF	CF-CF-CFC	CF-CFC-CF	CF-CF-CFC	CF-CF-CFC	
		CFC-CF-CFC	CFC-CF-CFC	CFC-CF-CFC	CFC-CF-CFC	CFC-CF-CFC	Г-CF-CF	CF-CFC-CF
	CFC-CFC-CFC	CFC-CFC-CFC	Г-CF-CFC	CFC-CFC-CFC	CFC-CFC-CFC	CF-CFC-CF	CFC-CFC-CFC	
		ГC-CFC-CFC	Г-CF-CFC	CFC-CF-CF	CFC-CF-CF		CFC-CF-CF	
	CFC-CFC-CFC	CFC-CFC-CFC		ГC-CF-CFC	CFC-CFC-CF	ГC-CF-CFC	ГC-CF-CFC	CF-CFC-CFC

Таблица 4

	[a]	[o]	[u]	[ы]	[e]	[y]	[e]	[i]
Интенсивность (в мм)	3,7—4,3—5,2	5,0—6,5—5,5	3,2—4,5—5,2		4,2—4,0—5,8		4,1—4,6—5,0	
	4,5—4,8—4,4	4,0—4,0—4,5	2,2—2,0—2,6		3,0—3,0—3,4		3,9—4,1—4,7	
	4,0—3,0—4,4	4,0—5,0—6,5	3,0—3,0—4,4	4,0—5,0—3,8	3,0—3,8—5,7			2,4—3,0—3,4
	4,2—4,0—3,5	3,0—4,0—4,0	2,1—2,1—2,7	6,0—7,0—6,0	2,0—3,0—4,0			3,5—3,5—3,7
	3,7—4,3—4,8	5,5—5,5—6,0		4,4—5,2—4,5	3,5—3,8—5,0	3,5—3,0—5,2	4,0—5,0—4,6	
	4,3—4,3—4,0	6,0—4,0—6,5		5,7—5,0—6,0	3,0—3,5—4,0	3,5—4,2—5,0	3,4—4,9—5,4	
				4,0—4,4—5,0	3,7—4,5—6,2			3,3—3,3—3,8
				4,0—5,0—5,6	2,2—2,2—3,8			3,4—4,0—4,4
	4,1—4,6—6,0	4,5—4,5—4,7	3,5—3,0—5,4	4,8—5,2—5,0	5,0—3,5—5,2	2,5—3,6—4,6	3,0—3,5—3,3	
	3,7—3,7—3,7	4,3—4,9—4,4	2,5—2,4—3,2	5,0—6,0—6,0	4,2—3,0—4,2	3,5—4,2—4,5	3,8—3,5—4,7	
			2,2—4,0—5,3	3,5—4,8—3,5	3,0—3,2—5,0		4,5—4,7—3,5	
			2,0—2,2—3,0	5,0—4,0—4,0	2,2—2,5—3,0		4,1—4,0—3,9	
				4,2—5,0—5,0	4,3—3,5—4,0	3,0—3,6—4,7	4,0—5,0—6,2	
				4,2—5,5—5,6	4,2—3,2—3,0	3,5—3,5—5,0	3,5—4,8—5,0	
	4,5—4,5—5,0	4,0—5,0—5,6			4,0—3,5—5,2	3,5—4,2—5,0	3,2—3,4—3,4	3,2—3,4—3,4
	4,0—3,0—4,0	4,0—4,0—3,5			3,0—2,3—3,0	3,0—4,0—5,0	2,5—4,0—4,5	2,5—4,0—4,5

отношении это выражается следующими цифрами: $[e^1]$ (гласная взята условно) — 3,6%, $[e^2]$ — 14,3%, $[e^3]$ — 10,7%, $[e^4]$ — 57%.

В остальных четырех случаях соотношение интенсивности таково, что гласные двух соседних слогов не противопоставлены друг другу по силе (см. рис. 2).

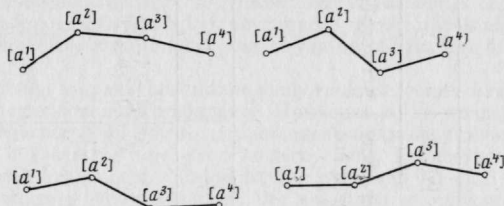


Рис. 2

Нейтрализованные по интенсивности участки могут дифференцироваться длительностью или частотой тона, либо сразу обеими величинами. По данным восприятия установить различия между ними также не представляется возможным, но гласные конечных слогов слова восприняты информантами как ударные (по интенсивности же они, как видно из рис. 1 и 2, меньше предшествующих гласных).

В отношении типов сочетания слогов и соотношения интенсивности гласных в четырехсложных словах нужно сделать некоторую оговорку. Прежде всего, здесь пришлось оперировать словами, в слоговой структуре которых представлены не одинаковые по качеству гласные. Отсюда анализ интенсивности был произведен по каждому случаю и без усреднения. Следовательно, параметры интенсивности имеют абсолютное значение.

Спад интенсивности, который в трехсложных словах наблюдался между гласными первого и третьего слогов (п. 7), здесь проявляется более регулярно, и можно утверждать, что он обусловлен морфологической структурой данных речевых единиц. Спад наблюдается между вторым и четвертым слогами слова: по интенсивности, например, $[u^4]$ превосходит $[u^2]$ на 0,7 мм, $[u^4] > [u^3]$ на 2,7 мм, $[y^4] > [y^2]$ на 1,3 мм, $[y^4] > [y^3]$ на 2,3 мм. Иначе говоря, в четырехсложных словах имеются две акустические вершины (см. рис. 3).

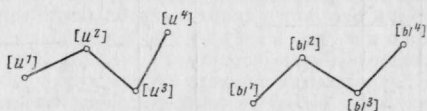


Рис. 3

Спад интенсивности в основном происходит в словах типа *алабата* «лебеда», *ысыкчылык* «симпатия, любовь», *жылыкчылык* «коневодство», которые формально можно легко разделить на две части — основу и аффиксы; это деление поддерживается уменьшением интенсивности на третьем слоге слова.

Типы слогов в четырехсложных словах и данные об интенсивности гласных представлены в таблицах 5 и 6.

Выводы. Результаты экспериментального исследования позволяют утверждать, что в современном киргизском языке в двух- и многосложных словах гласные конечных слогов обычно бывают интенсивнее гласных в предшествующих слогах.

Таблица 5

	[a]	[o]	[u]	[ы]	[ə]	[ʏ]	[e]	[i]
Типы сочета- ния сло- гов	Г-СГ-СГ-СГ СГ-СГ-СГ-СГ СГ-СГ-СГ-ГС	СГ-СГ-СГ-СГ ГС-СГ-СГ-СГ	Г-СГ-СГ-СГ-СГ	СГ-СГ-СГ-СГ Г-СГ-СГ-СГ-СГ	СГ-СГ-СГ-СГ СГ-СГ-СГ-СГ	СГ-СГ-СГ-СГ СГ-СГ-СГ-СГ	Г-СГ-СГ-СГ-СГ	СГ-СГ-СГ-СГ СГ-СГ-СГ-СГ

Таблица 6

	[a]	[o]	[u]	[ы]	[ə]	[ʏ]	[e]	[i]
Интен- сивность (в мм)	3,0—5,5—5,0—6,0 3,5—4,0—4,0—3,2	3,2—5,0—5,0—6,0 4,5—4,0—5,2—4,2	3,0—4,5—2,5—5,2 2,5—3,2—2,6—3,0	4,0—4,8—4,0—4,5 4,5—4,0—3,6—5,6	3,0—3,2—3,0—4,8 2,3—2,5—2,5—3,4	3,2—3,0—3,2—4,0	2,7—3,4—3,2—2,8 3,0—5,0—3,3—4,2	4,0—3,0—3,0—3,0 3,5—4,0—3,2—4,0
	5,0—5,0—4,0—4,5 4,0—4,2—3,6—4,0	3,8—3,5—5,2—3,5 4,0—4,0—5,2—4,8		3,5—3,0—3,0—5,0 3,8—5,2—4,2—6,5	3,0—3,2—3,6—5,8 3,0—2,5—2,5—3,8	3,0—2,2—3,2—4,3 4,6—4,0—3,5—4,8		2,2—2,0—3,0—3,7 2,8—2,0—3,2—4,5
	4,5—3,4—3,5—4,5 4,4—4,4—3,5—3,5							

Более или менее сходные данные в отношении силы звуков показывают исследования словесного ударения и в других родственных тюркских языках. В узбекском, например, «в двусложных словах с ударением на втором слоге ударный гласный выделен повышением интенсивности. В словах *ака, даба, така* однородные ударные гласные выделены в первую очередь увеличением интенсивности»⁶. В туркменских двусложных словах нередко бывает и наоборот: интенсивность неударного может превышать интенсивность ударного гласного; иногда амплитуда интенсивности бывает равной в обоих слогах⁷.

Соотношение параметров интенсивности киргизских гласных в двусложных словах довольно стабильное. Примерно в 84% подвергнутых анализу слов гласные конечного слога выделены большей интенсивностью по сравнению с гласными предшествующего слога. Разность максимальной интенсивности этих гласных колеблется в пределах 0,1—1,5 мм.

Можно считать установленным, что величина интенсивности обратно пропорциональна линейной протяженности речевого сигнала (слова), т.е. чем длиннее слово, тем меньше параметры интенсивности гласных звуков.

Не менее важно отметить и то обстоятельство, что если для русского языка типично увеличение интенсивности гласного в направлении к началу слова⁸, то для киргизского языка, напротив, характерно повышение интенсивности в направлении к концу слова. Примерно то же самое наблюдается и в другом тюркском языке — в азербайджанском: «интенсивность уменьшается по мере удаления от ударного слога к концу или к началу слова, в зависимости от расположения ударения в пределах слова»⁹.

Ослабление в некоторых случаях интенсивности гласного в конце слова и соответственное усиление интенсивности гласного в начале слова зависит от структуры начального слога, а также от морфологической структуры всего слова.

Начиная с трехсложного слова, в многосложных словах часто наблюдается спад интенсивности на участке между чистой основой и конечным аффиксом слова. Очевидно, это явление связано с так называемым второстепенным ударением. Однако лишь по данным интенсивности не представляется возможным судить об ударении, в том числе и о второстепенном¹⁰.

Итак, существенная интенсивность гласного независимо от его положения в слоге и слове, качество согласного, структура слога, положение гласного в слове вносят определенные изменения в величину интенсивности гласного. Все это лишний раз говорит о том, что интенсивность гласного является функцией от многих переменных. Кроме того, «между объективной силой [интенсивностью — *A. O.*] и громкостью звука существует сложная зависимость...»¹¹. Установлено, что звук с большой интенсивностью не всегда может восприниматься человеческим ухом как громкий: «Иногда мы говорим: „Какой сильный го-

⁶ А. Махмудов, Фонетическая природа словесного ударения в узбекском языке, Ташкент, 1960, стр. 31.

⁷ А. Сапаев, Словесное ударение в туркменском языке. Автореф. канд. диссерт., Ашхабад, 1967, стр. 5.

⁸ См. об этом: Л. В. Златоустова, Фонетическая природа русского словесного ударения. Автореф. канд. диссерт., Л., 1953; Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. Р. Зиндер, Акустические характеристики безударности (на материале русского языка), «Структурная типология языков», М., 1966, стр. 58.

⁹ Ш. Абдуллаев, Акустическая характеристика словесного ударения в азербайджанском языке, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 21, 6, 1968, стр. 502.

¹⁰ Вопрос о второстепенном ударении рассматривается в связи с аффиксацией в специальном разделе нашей диссертации.

¹¹ Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, [Л.], 1960, стр. 83.

лос у этого певца!“. Но далеко не всем известно, что сильный звук не обязательно должен быть громким. Даже вблизи от источника он может быть тихим и даже вовсе не слышимым! Что же это за парадокс: сильный звук — и вдруг не слышен? Парадокса здесь нет. Дело в том, что понятия „сила звука“ и „громкость“ — совершенно разные. Сила звука — это объективная величина, характеризующая реальную энергию звука, в то время как громкость — отражение в нашем сознании этой реальной силы звука, т.е. понятие субъективное¹².

Таким образом, не только в киргизском, но и в других языках максимальное отклонение амплитуды интенсивности гласных не соотносится непосредственно с ударением¹³. Образно говоря, ударение — это отшлифованный в процессе языковой эволюции сложный психофизический конгломерат, состоящий из множества гетерогенных величин. С этой точки зрения задача лингвиста, очевидно, состоит в компактном (экономном) описании связей между этими величинами и определении их лингвистической релевантности.

¹² В. П. Морозов, Тайны вокальной речи, Л., 1967, стр. 40.

¹³ С. В. Кодзасов, Ю. М. Острячков, Экспериментальные исследования ударения, сб. «Исследования по речевой информации», М., 1968, стр. 98.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Atlas slovenského jazyka», I.—Vokalizmus a konsonantizmus. Cast' prvá—mapy Cast' druhá—úvod, komentáre, materiály.—Bratislava, 1968.

Языковедческий институт им. Л. Штура в Братиславе издал первый том диалектологического атласа словацкого языка, содержащий картографированный материал словацкой фонетики и разнообразный комментарий к атласу. Сбор материала для атласа и подготовительные работы явились отражением коллективного труда словацких языковедов. Руководителем группы был И. Штольц, основными исполнителями — Ф. Буффа и А. Габовштяк, редактировал том Е. Паулини. Второй том атласа, который готовится к печати, будет содержать материал по словацкой морфологии (флексии). В последующих томах (их намечается пять) найдут отражение словарный состав, словообразование и синтаксические явления словацких говоров.

Изучение словацких говоров имеет давнюю традицию. Уже штуровское поколение, стремившееся к созданию общенародного словацкого языка, отдавало себе отчет в наличии общесловацких и местных явлений в области фонетики и морфологии. Об этом свидетельствуют замечания Л. Штура в его грамматике о *a, Ľ, y* и некоторых грамматических формах локального характера. Начало лингвогеографического изучения явлений словацкого языка относится к концу XIX в. Так, в 1893—1897 гг. Фр. Пастрнек собирал материал словацких говоров для обработки его методами лингвистической географии¹. Старательно собирал диалектный материал (по восточнословацким и среднесловацким говорам) С. Цамбель². На протяжении 1921—1930 гг. в языковедском отделе Словацкой матрицы проходила деятельность В. Важного по сбору материала для диалектологического атласа словацкого языка. Он на-

правлял в различные пункты анкеты-вопросники, на которые получал ответы от представителей местной интеллигенции, которые, впрочем, не всегда были достаточно искушены в лингвистике. В. Важный наметил основные характеристические явления словацких говоров, апробировал метод лингвистической географии, в отдельных работах проанализировал некоторые важные фонетические и морфологические явления, стремился картографировать свои результаты и подтвердить их интерпретации³. Ему удалось осуществить синтетическую характеристику словацких говоров⁴.

Настоящий атлас опирается на материалы, собранные в 1947—1951 и последующих годах. Новый вопросник по изучению словацких говоров («Dotazník pre výskum slovenských nárečí.—Atlas slovenského jazyka») разработали в 1947 г. Е. Паулини и И. Штольц. Ядром вопросника, по реализации которого и развернулась оживленная собирательская работа, являются фонетика и морфология. Лексическим, а особенно словообразовательным и синтаксическим явлениям такого внимания не уделено. Составители вопросника, не располагая подробными сведениями о географическом распространении отдельных явлений⁵, стремились каждый языковой факт иллюстрировать

³ См. его работы: «Slovenské nárečia v Orave», SMS, I, 1922; «Príspevok k štúdiu nárečí Západného Slovenska», SMS, III, 1925; «Zoskloňovania v nárečí turčianskom», SMS, IV, 1926; «Dva slovenské tvary», SMS, VI, 1928; VII, 1929; «Z mezislovenského jazykového zeměpisu. Příspěvky k dokumentární hodnotě díla: Maŕeckí M. i Nitsch K., Atlas jazykowy polskiego Podkarpacia, Kraków, 1934; Praha, 1948, а также: «O počatcích jazykového zeměpisu na Slovensku», SMS, VII, 1929.

⁴ V. Vážný, Nářečí slovenská, «Československá vlastivěda», III—Jazyk, Praha, 1934, стр. 219—310.

⁵ Монографических работ по словацкой диалектологии немного, см.: V. Smilauer, Slovenské střídnice jerové a změna e, ě > a, o, Praha, 1930; J. Stanislav, Liptovské nárečia, Turč. Sv.

¹ См.: Fr. Pastrnek, Beiträge zur Lautlehre der slowakischen Sprache in Ungarn, Wien, 1888; рубрика «Studovanie slovenčiny» в журн. «Slovenské pohľady», XIII—XVII, 1893—1897.

² S. Czambel, Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, I—Východoslovenské nárečie, Turč. Sv. Martin, 1906.

большим количеством слов, отбирая последние с учетом фонетического окружения, положения в слове, в различных формах и т. п., ибо от этого зависит наличие качественно различающихся рефлексов данных звуков и форм. Общая картина создавалась на основе тщательного учета частных явлений. Основная цель вопросника — полнее отразить все типы различающихся форм определенного явления на ограниченной территории.

Словацкие говоры дифференцированы чрезвычайно сильно. Традиционное деление их на три группы — среднесловацкую, западнословацкую и восточнословацкую — слишком упрощено. Эти группы, во-первых, не отграничены резко друг от друга, а имеют ряд переходных областей, во-вторых, они распадаются на меньшие диалектные единицы даже в пределах прежних административных районов (комитатов, жуп или столиц). Задробностью фонетических и морфологических явлений часто следует видеть не только хозяйственно-административные единицы, но и феодальные владения, свободные города с именными, привилегированные поселения со своими формами управления и т. д.

Наряду с этим нужно было учесть положение словацкого языка среди соседних славянских и его контакты с другими языками. Известно, что словацкие говоры на западе и северо-западе граничат с моравско-словацкими говорами Моравии. В районе Чада — с ляхским наречием. На северной Ораве и северном Спинге представлены горальные говоры. В северном Шарше и Земчине они соседствуют с украинскими говорами лемковского и бойковского типов. В центральной Словакии, Спинге, Гемере и на крайнем юго-западе наблюдался длительный контакт словацких говоров с языком немецких колонистов. На многие словацкие говоры оказывал влияние венгерский язык.

Достоверность результатов достигалась в указанных условиях двумя путями. Во-

первых, подробным вопросником⁶. В вопроснике учитывается 2355 слов и форм. На 1690 словах можно изучать фонетические явления, на 590 — морфологические, на 75 — словообразовательные, на 200 — лексические различия. Это может послужить материалом для 4000 карт. Во-вторых, густой сетью изучаемых населенных пунктов. Вопросник был заполнен в 2559 словацких селениях, т. е. практически везде на сплошной словацкой территории.

В. Важный за 10 лет (1921—1931) получил ответы на вопросник в 1600 пунктах от 1100 корреспондентов. В языковом атласе немецкого языка Г. Венкера 240 явлений зарегистрированы в 40 000 пунктах, во французском атласе Жильерона 1920 явлений зарегистрированы в 639 пунктах. В разбираемом атласе 2355 слов и форм учитывались в 2559 населенных пунктах. Если эти данные сопоставить с опубликованными атласами других славянских языков и учесть, что словацкая языковая территория относительно невелика, то следует признать, что для словацкого атласа собран максимум языкового материала и что это самый подробный атлас одного из славянских языков.

Собирателями, заполняющими вопросник, были специально подготовленные 121 студент-славист со старших курсов университета им. Коменского. Как правило, студенты регистрировали факты родного говора или ближайших местностей. Информаторами были уроженцы соответствующих селений. Подавляющая масса материалов была собрана в 1947—1951 гг. Ставилась цель — при жизни одного поколения собрать и опубликовать материалы. Достоинством вопросника является тот факт, что после заполнения он сразу без переписывания становился частью картотеки. Таким образом, в картотеке был сосредоточен почти полный материал о фонетической и морфологической дифференциации словацких говоров. Естественно, что весь этот материал не мог найти отражения в атласе. В конце концов было установлено 328 пунктов на сплошной словацкой территории и 7 пунктов на территории с венгерским населением, которые и нашли отражение в атласе.

Выбор пунктов не мог быть равномерным и автоматическим. Решающим критерием была степень диалектной дифференциации, деление говоров на относительно единые диалектные единицы, в которых один пункт можно было бы считать показательным для целой группы селений. Следует заметить, что в некоторых областях (восточный Липтов, западный

Martin, 1932; J. Liška, K otázke pôvodu východoslovenských nárečí, Turč. Sv. Martin, 1944; J. Stolic, Nárečie troch slovenských ostrovov v Mad'arsku, Bratislava, 1949; F. Buffa, Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, Bratislava, 1953; J. Horák, Nárečie Pohorelej, Bratislava, 1955; P. Ondrus, Stredoslovenské nárečia v Mad'arskej ľudovej republike, Bratislava, 1956; R. Krajičovič, Pôvod juhozápadoslovenských nárečí a ich fonologický vývin, Bratislava, 1964; A. Hrabovský, Oravské nárečia, Bratislava, 1965; J. Stolic, Reč Slovákov v Juhoslávii, Bratislava, 1968. Обобщающие работы: J. Stanislav, Dejiny slovenského jazyka, I, Bratislava, 1958; E. Pauliny, Fonologický vývin slovenčiny, Bratislava, 1963.

⁶ Cp.: J. Stolic, Atlas slovenského jazyka, «Linguistica Slovaca», IV—VI, 1946—1948; егo же, Ku koncepcii atlasu slovenského jazyka, «Jazykovedný časopis», XII, 1961.

Спиш, весь Гемер) говоры даже соседних селений различаются фонетически.

Карты являются основным элементом языкового атласа. На них отражено географическое распространение языковых явлений и показаны все важные факторы, могущие иметь прямое или косвенное влияние на диалектную дифференциацию. К вспомогательным картам словацкого атласа относятся: 1) цветная общегеографическая карта; 2) карта административного деления, содержащая государственные границы, границы исторических округов от 1886 г., границы административных районов от 1949 г., крупные населенные пункты; 3) карта избранных для картографирования пунктов и 4) карта словацких диалектов, составленная на базе их классификации по характерным признакам.

Собственно языковых карт насчитывается 299. Они объединены в связи с отдельными фонетическими явлениями в XXIX серий. Указанные серии карт посвящены фонетическим явлениям, которые, во-первых, характерны для словацкого языка в целом, и, во-вторых, отражают его специфику в кругу других славянских языков.

В области вокализма закартографированы следующие явления: I. рефлексы древнего *a*; II. рефлексы *-ja*, *-ěja*; III. рефлексы *ъ*, *ь*; IV. вставные гласные; V. начальные группы *rat-*, *lat-*; VI. рефлексы *e*; VII. рефлексы *a*, *ā* и т. п. на месте древних *e*, *ē*; VIII. рефлексы *o* вместо древнего *e*; IX. рефлексы *jou*, *ou* вместо *jeu*, *eu*; X. рефлексы *e*, *je*, *i*, *i* на месте *e*, *ē* в кратком слоге; XI. рефлексы *je*, *i*, *i* на месте *e*, *ē* в долгом слоге; XII. рефлексы *o*, *ō*; XIII. рефлексы *u*, *ū*; XIV. гласные *i*, *y*; XV. количество. В области консонантизма: XVI. слоговые *r*, *ľ*; XVII. *l*, *u*, *ľ*; XVIII. *v*, *u*, *f*; XIX. *m*, *n*, *ň*; XX. *t'*, *d'*, *c*, *z*, *t*, *d*; XXI. *s*, *z*, *š*, *ž*, *š*, *ž*; XXII. *k*, *g*, *z*, *h*; XXIII. группа *str-*; XXIV. группы *čre-*, *čr-*; XXV. группы *dl*, *dn*; XXVI. группы *tl*, *dl*; XXVII. двойные согласные; XXVIII. группы *št'*, *žd'*; XXIX. группа *st'* в восточнословацкой области.

При подготовке атласа пришлось решать проблему принципиального характера: следует ли отмечать в слове все его фонетические, морфологические и иные особенности или же ограничиться лишь указанием на одно конкретное явление, имеющее дифференциальный характер. В вопросе имеются слова, в которых важна лишь одна дифференциальная особенность; например, в форме им. мн. *gazdovia* такой особенностью является флексия *-ža*: *žā*: *-ā*: *-ě*: *-je*: *-e*. В форме твор. ед. жен. рода *s dobrou ženou* важно различие окончания *-ou*: *-of*: *-ot*: *-ū*: *-u*. В подобных случаях ситуация была благоприятна для картографирования. Однако во многих случаях число дифференциальных признаков в слове увеличивается. Так, в слове *chrbāt* их целых

три: 1) *x*: *h*-; 2) слоговое *g*: *-er*: *-ar*; 3) гласный *-ā*: *-uo*: *-je*: *-e*. В некоторых словах сочетаются фонетические и морфологические различия; так, форма 1-го лица ед. числа настоящего времени глагола *ist'* может выглядеть как *id'em* — *ižem* — *ižem* — *idu*. Иногда имеются лексические дифференциации: *žito* и *raž*, *jašmej* и *jares* со своими фонетико-морфологическими особенностями. В связи с этим географическое распространение каждого дифференциального признака в слове отражалось на особой карте. Например, различие произношения двух слогов слова *vietor* отражено на картах 164 и 67. Первая представляет характер первого слога (*-je*: *-e*: *-i*: *-i*), другая — второго слога (*-o*: *-e*: *-r*).

Подобный подход привел к большей наглядности, уменьшению аппарата комментария, способствовал объединению однородного материала и возможности сопоставления с картами одной и той же серии.

Указанное обстоятельство имеет следствием тот факт, что в атласе представлены два типа языковых карт: аналитические и обобщающие, синтетические. На первых отражено географическое распространение различных форм дифференциального признака в конкретном слове. Другие особенности, присущие этому слову, на этой карте не отражены; их можно найти на других картах. Синтетические карты обобщают материал серии аналитических карт и отражают в виде пучка изоглосс территориальное размещение соответствующих форм. Так, например, рефлексы начальных групп **ort-*, **olt-* представлены на 8 аналитических картах (75 — слово *rakyla*, 76 — *ražeň*, 77 — *raždie*, 78 — *rást'*, 79 — *rázporok*, 80 — *rázvora*, 81 — *rázsocha*, 82 — *laket'*). Десятая (карта 83), являясь синтетической, отмечает в виде изоглосс территориальные границы форм типа *laket'*, *ražeň* и т. п., давая наглядное представление о среднесловацком характере этого явления, его глубоком проникновении в западнословацкую область вплоть до границ с Моравией, что представляет ценнейший материал для исторической интерпретации указанного явления.

К первому тому атласа приложен комментарий. В пояснениях к фонетическому явлению оно чаще всего оценивается в историческом плане, современные диалектные факты предстают в качестве последней ступени изменений, восходящих к предполагаемому праславянскому состоянию. По каждому явлению приводится список лингвистической литературы. Комментарий к картам содержит: 1) все варианты картографируемого слова, включая и те, которые не нашли отражения на карте или приведены на других картах; 2) праславянскую реконструкцию картографируемого слова и параллельные формы в славянских литератур-

ных языках (диалектные формы других языков приводятся редко); 3) дополнения и уточнения к фактам, нашедшим отражение на карте.

В качестве приложения напечатан вопросник для изучения словацких говоров, индекс слов и форм вопросника, список лиц, заполнявших вопросник, с указанием населенных пунктов, перечень и характеристика 328 избранных населенных пунктов, алфавитный список картографически обработанных слов и, наконец, список литературы по общей и словацкой диалектологии.

Изображение языкового явления в одном слове и на одной карте неизбежно носит статический характер. Динамическое объяснение возможно лишь в связи с другими картами и на фоне других явлений. Только в этом случае получает смысл сопоставление с языковыми явлениями причинного порядка, системой языка и выяснение внеязыковой обусловленности языковых явлений. Именно поэтому перед нами не атлас слов, а атлас языковых (в данном случае фонетических) явлений.

При интерпретации любого лингвистического атласа важно учитывать, что многие слова и формы одинаковы на всей

территории распространения того или иного языка, что именно они образуют базу языкового целого. Дифференциальные явления выступают лишь как составная часть этого языкового единства. Обычно территориально дифференцированное языковое явление отражает движение общества в определенном направлении. Данные атласа о дифференциации языковых явлений после соответствующей конфронтации с общественными, экономическими, культурными, колонизационными и другими историческими фактами, которые оказывали влияние на внутренний характер и внешний ход языковых изменений и от которых зависели и зависят дифференцирующие и нивелирующие процессы, помогут осветить внутреннюю и внешнюю историю словацкого языка, историю формирования словацкой этнической группы и ее культуры. Более глубокому познанию этих проблем будут способствовать также сопоставления с соседними и отдаленными славянскими языками. Именно поэтому появление первого тома атласа следует отнести к событиям общенационального словацкого значения.

Н. А. Кондрашов

I. Batori. Wortzusammensetzung und Stammformverbindung im Syrjänischen mit Berücksichtigung des Wotjakischen. — Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1969. XVIII + 170 стр. («Ural-altaische Bibliothek», XVII).

Коми язык, как и другие пермские языки, исключительно богат сложными словами (композиитами) самых разнообразных типов. Между тем вопросы словосложения коми языка во всем их объеме до сих пор не получили должного освещения в нашей лингвистической литературе¹.

Рецензируемая книга И. Батори, посвященная в основном исследованию проблемы сложного слова в коми языке, состоит из введения (стр. 1—10) и двух основных разделов: а) сочинение (koordination) и сочинительные композиты (стр. 11—87) и б) подчинение (subordination) и подчинительные композиты (стр. 88—170).

В введении вкратце освещены общие вопросы словосложения, которое является одним из важнейших средств обогащения словарного состава языка. Образование новых лексем путем сложения слов занимает в разных языках различное место. Доминируя, например, в венгерском, финском и современном немецком языках, этот способ сравнительно мало применяется во

французском и русском, что компенсируется здесь большой продуктивностью аффиксального образования, широким употреблением свободных словосочетаний и т. п.

В отношении структуры слова, например, древний индоевропейский язык коренным образом отличался от древних финно-угорских языков. В индоевропейских языках слово — это корень плюс словообразовательный суффикс и плюс окончание. Синтаксическая самостоятельность основы (не говоря уже о корне) была весьма ничтожна; форма им. падежа ед. числа была образована путем присоединения соответствующего падежного окончания (ср. ст.-слав. *вѣкъ-ъ*). В финно-угорских же языках основа слова является формой им. падежа ед. числа, синтаксическое употребление основы слова весьма широко: она может быть и подлежащим, и дополнением, и определением. Так обстоит дело в настоящее время в большинстве финно-угорских языков (исключение представляют прибалтийско-финские языки, где произошла дифференциация между основой слова и формой им. падежа ед. числа). Коми язык и другие пермские языки хорошо сохранили рассматриваемую черту финно-угорских язы-

¹ Некоторые из этих вопросов разработаны в кн.: А. [С.] С и д о р о в, Порядок слов в предложении коми языка, Сыктывкар, 1953.

ков, что способствовало слиянию основ слов и образованию композитов.

И. Батори рассматривает композиту как продукт языковой концентрации двух (или нескольких) самостоятельных носителей значения; он указывает на семантическое и формальное единство композиты, как и простого слова (см. стр. 6). Композиты обычно развиваются из свободного словосочетания (из синтагмы, по терминологии Батори). Эволюция синтагмы в композиту происходит постепенно, поэтому в этом развитии резкой грани между ними нет.

И. Батори, подчеркивая невозможность отрывать содержание от формы, указывает, что формальное сращение может вести к изоляции значения и, наоборот, новое изолированное значение может вызвать формальное слияние. Все это может случиться, но практически далеко не всегда наблюдается: очень часто сочетание слов, употребляемое с изолированным значением, не имеет формальных признаков композиты (например, коми *корт туа* «звезда»). И. Батори, относя такие сочетания слов к композитам, явно отдает предпочтение семантической стороне их. По его мнению, «формально разграничить композиту от синтаксического сочетания невозможно, и принципиально это разграничение предоставляется с е м а н т и к е» (стр. 170).

Благодаря такому воззрению круг лексико-синтаксических явлений, приводимых под рубрикой композиты, в рецензируемой книге весьма широк. Часть языкового материала, которым оперирует И. Батори, безусловно, можно отнести к свободным словосочетаниям (синтагмам) и фразеологизмам, а не к сложным словам (композитам).

В разделе, посвященном сочинительным композитам, детально излагаются такие случаи словосложения, когда составные элементы равнозначны, равноценны (*бать-мам* «родители», буквально «отец-мать»; *ныр-вом* «лицо», буквально «нос-рот»). Приводится несколько сот примеров на сочинительные композиты и рассматриваются они в разнообразных аспектах: композиты, образованные от корней; из производных основ; из слов-близнецов, из повторов слов и т. д.

Композиты рассматриваются по частям речи составляющих их компонентов: существительные, прилагательные, числительные и т. д. Внутри этой классификации проводится рубрикация по грамматическим и семантическим признакам. Так, например, в разделе существительных выделяются: а) бессуффиксные формы, обозначающие родственников (*ныя-ни* «дети»), части тела (*ты-мус* «внутренности», буквально «легкие и печень»), животных (*ава-мис* «крупные домашние животные», буквально «лошадь и корова»), посуду (*мастти-нань* «посуда», буквально «миска-ложка»), одежду (*дэрым-гач* «белье»,

буквально «рубашка-штаны»), природные явления (*вэ-ра* «природа», буквально «лес-вода») и др.; б) случаи, когда оба сочетающихся компонента снабжены суффиксами: существительные: *ая-пия* «отец и сын, отец с сыном»; ср. прилагательные: *айтэм-мамтэм* «сирота» (буквально «без отца-без матери»); числительные: *кы-куим* «два-три»; изобразительные слова; *грым-йирка* «с грохотом» (здесь оба компонента — звукоподражательные слова); глагольные сочинительные композиты (Батори употребляет термин *Zusammengückung*, т. е. «соположение»): *кытб-катб* «плывет (по реке)», буквально «плывет вниз по течению-плывет вверх по течению»; *сёны-юны* «спитаться», буквально «есть-пить»; *олан-вылан!* «здравствуй!» (буквально «живешь-бываешь») и т. д.

Проведены интересные наблюдения, касающиеся фонетики композитов: если один из компонентов начинается с губного согласного, то он будет стоять на втором месте, например: *дыка-мдыка* «радуга» (буквально «бык и корова»), *сёбры-бёры* «друг за другом», где компоненты являются синонимами, обозначающими «за (кем-либо идти), *корыс-вотыс* «нищий» (буквально «просящий-собирающий»), *юасын-вистасын* «производить расспросы» (буквально «спрашивать-рассказывать»), *ныр-вом* «лицо» (буквально «нос-рот») и т. д. В этих сочетаниях сама семантика композиты не требует данного порядка следования составных ее частей — с точки зрения их значения можно было бы (теоретически) упорядочить их и в обратном порядке, однако практически это не делается. Лишь в отдельных случаях первый компонент начинается на губной согласный: *выр-ай* «тело» (буквально «кровь-мясо»), *пась-кэм* «одежда» (буквально «шуба-обувь»).

И. Батори замечает, что тенденция ставить на второе место слово с начальным губным согласным наблюдается, главным образом в тавтологических композитах и что в них, вероятно, в первую очередь произошло закономерное звуковое преобразование второго компонента. Тавтологические композиты в коми языке встречаются в большом количестве: *чукыль-му-кыль* «кривизна», *тырлы-мырлы* «бессмыслица», *туд-буд* *петкёны* «выболтать», *торд-борд* «трещотка, болтун», *тринь-бринь*; *мунны* «идти подпрыгивая», *гыжъя-вежъя* «копытное животное», *зи-ли-били* «звук колокольчика» и т. д. В тавтологических композитах второй компонент, часто не несущий смысла и представляющий собой фонетически измененный вариант первого компонента, обычно начинается со звонкого губного согласного (м, б); эти м, б, по-видимому, выполняют роль усилителя, делая второй компонент более звучным, чем первый. Вероятно, тавтологические сочетания оказали влияние и на другие парные сочетания — этим только

можно объяснить появление того порядка расположения компонентов, о котором была речь выше.

В изобразительных парных сочетаниях второй компонент является обычно ударным и имеет гласный звук более широкого образования, чем первый компонент: *быз-баз* «бултых», *гур-гар* «шарх (о тарахтении)», *гыль-гдыль* «бряк, звяк (разбиваться, например, стеклу)», *пущ-пысь* «вдребезги (разбиться)» и т. д. (у А. С. Сидорова это явление иллюстрируется свыше 30 примерами)².

Образование парных сочетаний типа *ая-пия* «отец и сын», *шыра-каны* «мышка и кошка», *ныла-зоныла* «девушка и парень» в коми языке — явление абсолютно продуктивное, можно сочетать любые два слова одного разряда, любые два существительных, два прилагательных и т. д. *Петыра-Семена* («Петр и Семен»), *пызана-удаса* «столы и стулья» *гырыса-посния* «крупные и мелкие», *тэа-меа* «мы с тобой», *ветлоб-мунб* «путешествует» и др. Поэтому в коми грамматиках причисляют их не к композитам, а к особому типу словосочетаний — парным словосочетаниям; Батори же относит их к композитам.

Многие другие виды сочинительных сочетаний слов также стоят к свободным словосочетаниям или фразеологизмам, чем к сложным словам (композиатам), например: *катиша-рака* «хищные птицы», *сэян-юан* «пища», *олбм-вылбм* «жизнь» и др. Несомненно, относятся к композитам и такие парные сочетания, в которых один из компонентов в современном языке уже не осмысливается (*кдымкот* «обувь», *изки* «жернов», *кыввор* «дар речи» и др.); а также такие, которые означают понятие, не являющееся суммой значений составных элементов (*ныреом* «лицо», *лысьом* «костяк», *тымус* «внутренности» и т. д.).

Во втором основном разделе книги, построенном по тому же плану, что и первый, сначала рассматривается подчинение (субординация) в синтаксическом аспекте, затем трактуется вопрос о роли подчинения в словотворчестве. На богатом фактическом материале из коми языка и некоторых других пермских языков показаны различные способы образования подчинительных композит, и прослеживается, как на базе свободных подчинительных словосочетаний (синтагм) формируются композиты. Так, например, генетивную определительную конструкцию *морталн юр* («лн — окончание рода падежа») «голова человека» Батори считает свободным словосочетанием (синтагмой). В то же время бессуффиксную модель *морт-юр* «человека голова» (буквально «человек-голова»), выражающую постоянный признак (в данном примере — свойственный телу человека, часть его; ср. *кбр-юр* «голова оленя», *мбс-юр* «го-

лова коровы») он рассматривает как композиту (стр. 98). В таком плане устанавливаются и другие подчинительные композиты.

В работе дан обстоятельный обзор самых разнообразных видов композит, первый элемент которых находится в подчинительном отношении ко второму: *пызан* «как стола ножка», *ыжну* «овцы шкура», *пыж ныр* «лодки нос», *вом дор* «губы» (буквально «рта край»), *юр вем* «головы мозг, головной мозг», *чунь кыши* «кольцо, перстень» (буквально «пальца круг»), *синва* «слеза» (буквально «глаза вода»), *инь ош* «медведица» (буквально «самка-медведь»). В модели этого типа первый компонент является существительным, стоящим в атрибутивном им. падеже.

Этот способ образования подчинительных композит (и композитоподобных словосочетаний), по мнению автора, в пермских языках является самым распространенным.

И. Батори сильно расширил круг композит прежде всего за счет свободных словосочетаний (синтагм). В современных грамматиках пермских языков считают свободными и пишут раздельно такие словосочетания, как, например: *пызан* «как ножка стола», *пыж ныр* «нос лодки», *юр вем* «головной мозг», *инь ош* «медведица» и мн. др.

Кроме того, некоторые «композиты» в современном коми языке воспринимаются как цельное слово, поскольку вторая часть их полностью грамматикализована, например: *буралун* «доброта» (*бур* «добрый», *-лун* — абстрагирующий словообразовательный суффикс, в прошлом в словах такого типа *лун* означал «день»), *озыр-лун* «богатство» (*озыр* «богатый»), *том-лун* «молодость» (*том* «молодой»). И. Батори эти слова относит к композитам, с чем нельзя согласиться, поскольку при помощи *-лун* от многих качественных прилагательных образуются существительные, обозначающие абстрактное качество: *гдыль* «бедный» — *гдыльлун* «бедность», *йдыл* «глупый» — *йдыллун* «глупость», *дыш* «ленивый» — *дышлун* «леность» и т. д.

В то же время не возникает сомнения в том, что к сложным словам (композиатам) относятся примеры типа: *балабдж* «затылок» (буквально «хвост ягненка»), *орды* «ребро» (буквально «бока кость, боковая кость», *орд* в отдельности не употребляется), *дышинов* «двор, площадка, место перед окном» (буквально «под окном место»), *посеодд* «сени» (буквально «перед лестницей»), *талун* «сегодня» (буквально «сей день», *та-* отдельно не употребляется), *изтбг* «спички» (исторически «каменная сера», но *тбг* «сера» забыто), *ичмонь* «молодуха» (буквально «маленькая, младшая сноха», *ич-* в отдельности не употребляется), *шомйды* «простокваша» (буквально «кислое молоко», но в современном языке «кислый» — *шома*) и др. В каждом из приведенных слов можно видеть формаль-

² А. С. Сидоров, указ. соч., стр. 88.

ные признаки слияния двух слов в одно; неслучайно в коми литературном языке они пишутся слитно.

В целом ряде случаев трудно установить — композита это или же свободное словосочетание подчинительного типа, например, *kört туй* «железная дорога», *kört тув* «вездь» (буквально «железная втулка»), *kört зыр* «заступ» (буквально «железная допата») и др. Такие слова (а их

очень много) все же тяготеют к свободным словосочетаниям; одно время они писались слитно, теперь в коми языке принято раздельное их написание.

В заключение следует признать, что труд И. Батори является прекрасным исследованием важной и почти неизученной проблемы лексикологии пермских языков.

В. И. Лыткин

W. Flescher. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.—Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1969. 327 стр.

Книга В. Флейшера «Словообразование современного немецкого языка» представляет собой, среди имеющихся в нашем распоряжении работ, наиболее подробное и тщательное описание словообразования современного немецкого языка с синхронной точки зрения. Именно синхронный подход отличает рецензируемую книгу от известной работы В. Хенцена «Немецкое словообразование»¹, в значительной степени продолжающей традиции младограмматиков, в первую очередь в отношении диахронической направленности, хотя ее автор, по его собственному заявлению, и стремился создать «более современное руководство»². За последние годы в отечественной и зарубежной германистике появилось немало исследований, посвященных отдельным вопросам словообразования, как и соответствующих разделов в книгах по грамматике и по лексикологии³. Большинство современных работ имеют четко выраженную синхронную направленность, однако не представляют так полно и подробно, как рецензируемая книга, систему современного немецкого словообразования в целом. Именно две черты: синхронное освещение системы словообразования и его полнота характеризуют работу В. Флейшера. Нельзя не отметить, что синхронный план описания не исключает рассмотрения данного среза как итога предшествующего развития: автор книги — тонкий историк языка — с большим тактом, не сходя с позиций синхронии, приводит отдельные исторические справки там, где это является необходимым для понимания современного состояния сис-

темы. Следующим моментом, на котором следует остановиться, является широкая осведомленность автора в отношении современных трудов, в той или иной степени связанных с теорией словообразования: имеются в виду труды как немецких авторов, так и ученых других стран, в первую очередь СССР. С этой точки зрения рецензируемая книга является полезным руководством, знакомящим читателя с широким кругом работ. Следует указать и на то, что книга В. Флейшера, имеющая в большой степени описательный характер, отражает и ряд теоретических положений автора, подчас спорных (см. ниже), но проводимых им с достаточной последовательностью. Методика исследования представляет собой разумное использование отдельных приемов современного лингвистического анализа; в то же время в книге можно найти ряд положений классической немецкой грамматики, не потерявших значения до сих пор.

Работа В. Флейшера не может быть отнесена к числу структуральных, однако основой словообразовательного анализа в ней является членение основ на непосредственно составляющие, сопоставляемое с морфемным анализом и противопоставляемое ему; применяются, далее, методы дистрибуции и субституции и, частично, трансформационный анализ, в плане преобразования лексических единиц в синтаксические структуры. Значительное место в книге занимает применение таких понятий функциональной грамматики, как оппозиция (отдельных словообразовательных моделей и средств, что находит отражение в интересных таблицах — см. ниже), позиционные варианты и др. С другой стороны, справедливо критикуя методологические основы «словообразования, ориентированного на содержание», западногерманских ученых (в первую очередь Л. Вейсгербера), В. Флейшер признает возможность использования отдельных положений этой теории (стр. 20). В дальнейшем, проводя фактический анализ, автор исходит при внутренней классификации моделей в

¹ W. Henzen, Deutsche Wortbildung, Halle — Saale, 1947; 2-te Aufl. — Tübingen, 1957; 3-te Aufl. — Tübingen, 1965.

² W. Henzen, указ. соч., 1947, стр. VII.

³ См. также: М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953.

первую очередь из морфологической характеристики производящих основ, а не из семантики «словарных ниш» Л. Вейсгербера (применяя семантический анализ, принятый в классической грамматике). Однако некоторые из его интересных таблиц, суммирующих итоги отдельных типов словопроизводства, фактически отражают принцип выделения «словарных блоков» («Wortstände») в их несколько суженном понимании (стр. 182—183: обзорные таблицы № 4 и № 5 «Семантические группы эксплицитных производных»; стр. 307: обзорная таблица № 9 «Семантические группы глагольных префиксальных образований»). Справедливо отмечая, что отдельные положения классической теории словообразования должны быть пересмотрены (например, выделение «посессивных сложений» как третьего типа наряду с определенительным и сочинительным, в то время как они на основе отношений между компонентами должны быть отнесены к определенительному типу — стр. 51, 98), другие уточнены [как, например, понятие сдвига («Zusammenrückung»); стр. 57] и отвергая некоторые термины, например «полносложные» и «неполносложные» соединения — «eigentliche», «uneigentliche Zusammensetzungen» как нецелесообразные в синхронном плане, автор в то же время частично сохраняет не только некоторые традиционные понятия и классификации, но и традиционную методику изложения, а именно рассмотрение словообразования применительно к отдельным частям речи, способов и средств словообразования, исходя из морфологической принадлежности первичных основ и т. д. Не случайно книга изобилует ссылками, наряду с трудами современных германистов, на классические труды Г. Пауля, О. Бехагеля, В. Вильманса. Однако сказанное выше не должно служить основанием для мнения об эклектичности данной книги. Речь здесь не об эклектизме, а об использовании положительных сторон научного наследия наряду с достижениями современной научной мысли в ее различных преломлениях.

Давая общую оценку книги В. Флейшера, следует отметить еще некоторые характеризующие ее черты. Во-первых, все теоретические положения иллюстрированы богатым материалом современной лексикологии, включая неологизмы и писательские окказионализмы, что придает книге особую ценность, в частности, для читателя не немца. Во-вторых, больше, чем в какой-либо другой работе, посвященной общим вопросам словообразования, в ней учтены стилистические особенности исследуемых моделей и средств (главным образом с точки зрения их экспрессивного эффекта). В-третьих, значительный интерес представляют внесенные в текст 12 «Обзорных таблиц», наглядно представляющих: дистрибуцию некоторых словообразовательных суффиксов (стр. 141), струк-

турные модели отглагольных существительных (стр. 159), употребление уменьшительных суффиксов в беллетристике (стр. 165), семантические группы некоторых производных (стр. 182, 183, 307), отадективные существительные (стр. 195), некоторые системные семантические оппозиции (стр. 261), синонимно словообразовательных средств (стр. 262, 308), антонимно глагольных префиксальных образований (стр. 309), статистические данные об употреблении глагольных префиксов (стр. 310).

Естественно, что такой большой и в значительной степени оригинальный труд, как рецензируемая книга, не может не содержать отдельных спорных положений, как и не уточненных до конца трактовок. Спорными, с моей точки зрения, являются: рассмотрение префиксации вне системы словопроизводства как самостоятельного способа словообразования; характер трактовки «имплицитного» словопроизводства; суженное определение понятия «сдвига» («Zusammenrückung»); попытка разграничения компонентов сложных слов и соотносимых с самостоятельными словами суффиксов и префиксов (до сих пор неразрешенная проблема «полуаффикса»).

Исключение префиксации из системы словопроизводства традиционно в немецкой специальной литературе со времени Я. Гримма, что связано с разными причинами. Для Я. Гримма, как и для младограмматиков, при ведущем принципе историзма важно было то, что префиксы, как правило, восходят к самостоятельным лексическим единицам, что давало основание идентифицировать префиксацию и словосложение; в то же время, по мнению Я. Гримма, словопроизводительный элемент может находиться только в конце слова. Того же мнения придерживается в первом издании «Немецкого словообразования» В. Хенцен, с некоторой терминологической дифференциацией: префиксальные слова он называет «Präfixkomposita». Во втором и третьем изданиях книги префиксация выведена из словосложения вследствие «подчинения исторической точки зрения по отношению к функциональной»⁴. Однако к словопроизводству она не отнесена (как и в ряде других работ современных немецких ученых) в связи с тем, что префикс, как правило, не обладает способностью переводить слова из одного класса в другой. В то же время В. Хенцен считает, что с большим основанием можно отнести к производным отглагольным именам с префиксом *ge-* (типа *Geflüster*) и «вербализацию» именных основ при помощи префикса (типа *beflügeln*)⁵. В. Флейшер также не отно-

⁴ W. Henzen, указ. соч., 1957, предисловие.

⁵ W. Henzen, указ. соч., 1965, стр. 34.

сит префиксацию к словопроизводству, несмотря на ряд выявляемых им сходных черт между префиксом и суффиксом (стр. 71—73), по следующим причинам: 1) префикс не обладает способностью определять часть речи; 2) один и тот же префикс может встречаться в составе разных частей речи (например, *Mißklang* — *mißliebzig* — *mißhandeln*); 3) префиксы могут быть ударными и неударными в противоположность, как правило, не несущим главного ударения суффиксам (стр. 74). Эти критерии не представляются убедительными. Именные и глагольные префиксы четко различимы и не каждый префикс встречается в составе разных частей речи, в то время как отдельные суффиксы могут оформлять, например, глаголы и имена — ср. *-ig*, *-er*, *-el*; глагольные истинные префиксы — несвободные морфемы — *be-*, *ge-*, *ent-*, *emp-*, *ver-*, *zer-*, *er-* и именной префикс *ge-* неударны. Следует отметить, что отрицание классифицирующей роли префикса, как и его способности переводить одну часть речи в другую, автор связывает с тем, что инфинитивный суффикс *-en* он рассматривает как слово-, а не формообразующий: тем самым отнесенные префиксальные глаголы (типа *verarbeiten*) оказываются гибридными префиксально-суффиксальными образованиями типа *Gebirge* (стр. 74, см. также разделы, посвященные глагольному словообразованию, особенно стр. 294—301). Отнесение инфинитивного суффикса к словообразовательным не представляется оправданным в синхронном плане, поскольку он является показателем только одной грамматической формы и отпадает во всех остальных вариантах глагольной парадигмы. В этом отношении следует присоединиться к мнению В. М. Жирмунского, считающего, что инфинитив является лишь «удобным представителем» системы и что «с точки зрения морфологической ни *niscam*, ни *schreiben*, ни *écrire* не являются исходной формой для глагольного спряжения. От них отличается англ. *write*, лишенное флексивных показателей, оно совпадает по своей форме с чистой основой (корнем слова)»⁶. Словообразовательный же аффикс входит в «чистую основу», а не является показателем грамматической формы подобно *-en* у инфинитива. Глагольные префиксы, наоборот, являются словообразовательными показателями класса глаголов⁷. Тем самым должно быть, в противоположность мнению В. Флейшера (стр.

285), закономерно выделено «имплицитное» глагольное словообразование. Следует отметить, что в рецензируемой книге имеются оговорки: надо различать суффиксальное словопроизводство при участии *-en* и при участии «расширенных» (т. е. подлинно словообразовательных. — М. С.) суффиксов (стр. 286).

Термин «имплицитное» словопроизводство мне представляется более удачным, чем «морфолого-синтаксический способ словообразования», «безаффиксное словопроизводство», «деривация без явных суффиксов» и другие термины, имеющие хождение в современной специальной литературе. Однако его трактовка в рецензируемой книге не полностью соответствует синхронному плану исследования. В. Флейшер правильно ставит вопрос о том, что словообразование следует рассматривать и как процесс, и как результат процесса (стр. 17). Если практически, при описании разных способов словообразования, автор все же заметно отдает предпочтение первому (процессуальному) аспекту, что объясняется влиянием твердо установившейся традиции, особенно в германистике, то при трактовке имплицитного словообразования второй аспект как бы совсем затухает, поскольку все время делается упор на происхождение одного слова от другого. Между тем в синхронном плане как раз решение этого вопроса связано с трудностями: приходится принимать то или иное положение. Так, в рецензируемой книге все бессуффиксные существительные, соотносимые с глагольными основами, рассматриваются как производные от сильных или слабых глаголов и как мотивированные значением глагола (стр. 187—188). Не останавливаясь на этимологии, в ряде случаев расходящейся с такой трактовкой, следует указать на известную произвольность такого толкования и в плане синхронии: во всяком случае мотивированность здесь обоюдна (например, можно считать, что *Lob* мотивировано значением процесса, выраженного глаголом *loben*, а глагол *loben* значением абстрактного имени *Lob*). В синхронном плане могут быть выделены некоторые релевантные признаки имплицитного словопроизводства, как-то: внутренняя флексия (умлаут и аблаут), сохранение парадигмы производящего имени (при субстантивации прилагательных и причастий). Однако во всех случаях целесообразным представляется рассмотрение явления, именуемого в рецензируемой книге «имплицитным словообразованием», как функционирования одной и той же основы (алломорфность не нарушает ее тождества) в условиях разной — морфологической и синтаксической — дистрибуции, что сопровождается и соответствующими сдвигами как категориального значения части речи, так и более частных оттенков соответствующего лексическо-

⁶ В. М. Жирмунский, О границах слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М. — Л., 1963, стр. 20—21.

⁷ Ср. понятие «вербализации при участии префиксов» (W. Henzen, указ. соч., 1965, стр. 234—237).

го значения⁸. Иной вопрос — это переход в другую часть речи той или иной грамматической формы (в том числе субстантивация инфинитива), когда соответствующий грамматический формант включается в лексическую основу другой части речи, что является релевантным признаком производности последней. В этой связи следует признать и некоторую неясность трактовки «конверсии» в рецензируемой книге, где она понимается как безаффиксное образование узусальных, устойчивых единиц, включая субстантивацию инфинитива (стр. 70—71). В англистике под «конверсией» понимается взаимопереход основ, когда словообразовательным средством служат только парадигма слова⁹. Частично к этому мнению присоединяется В. Хенцен, называющий конверсией переход слова в другой класс «в нормальной форме»¹⁰ (последняя может быть понята именно как «основа»).

Выше говорилось, что автор справедливо указывает на необходимость уточнения ряда понятий, в частности понятия «сдвига», которое в современной литературе получает самую разнообразную, иногда (например, у В. Хенцена) весьма широкую трактовку. С точки зрения В. Флейшера, сдвигом является такое сложное слово, вторая НС которого относится не к той части речи, к которой принадлежит целое; ср. так называемые слова-предложения типа *Nimmersatt* или наречия типа *meistenteils* (стр. 58; а также соответствующие разделы, в которых рассматривается словосложение существительных и наречий). Такое толкование «сдвига» представляется неполным, хотя названные типы соединения бесспорно относятся к сдвигам. Более правильным следует считать выделение «сдвигов» на основе их формального соотношения с синтаксическими словосоединениями, что именно и имел в виду О. Бегагель, который один из первых попытался теоретически обосновать выделение данного понятия и рассматривал сдвиги как совершенно свободные объединения в одно целое слов, часто находящихся в предложении в

непосредственном соседстве, без какого-либо изменения отношений между ними и отношений с соседними частями предложения. К сдвигам О. Бегагель относит сложные глаголы, сложные наречия, сложные числительные; «сдвиги» могут в дальнейшем перейти в обычные сложные слова, если изменяется их положение в предложении, ср. *ein Helfgott, das Einmaleins, der Springsfeld*; однако и эти соединения отличаются от огромного числа сложных слов, представляющих собой простое соединение основ¹¹. Оставляя в стороне случаи перехода сдвига в обычное сложное слово в истории немецкого языка, следует, безусловно, выделить такие соединения, которые по форме и порядку следования НС ничем (если не считать особенностей расположения ударений) не отличаются в плане синхронии от синтаксических конструкций. К таким соединениям «сдвигам», в отличие от простого соположения основ, можно отнести сложные глаголы типа *zurückkommen, zugrundelegen, teilnehmen*, сложные существительные типа *Langeweile, Feinsliebchen* (они малочисленны); копулятивные сложения типа *Dichter-Komponist, taubstumm*; все сложные наречия, сложные числительные типа *zweihundzwanzig*.

Естественно, что наиболее спорной проблемой словообразования остается по настоящее время проблема так называемого «полуаффикса» — понятия, которое нашло широкое применение в советской германистике и англистике¹². В Флейшере признает ряд моментов, способствующих выделению данного словообразовательного элемента: постепенность перехода от компонента сложного слова к суффиксу; нечеткость границ в ряде случаев между «свободными» и «несвободными» морфемами; наличие широкой «переходной зоны» между теми и другими (стр. 63—66). Однако при рассмотрении конкретных словообразовательных элементов отдельных частей речи он придерживается более традиционного взгляда на их деление на компоненты, уже превратившиеся в аффиксы, и на обычные ком-

⁸ См. по данному вопросу: М. Д. Степанова, Вопросы лексико-грамматического тождества (На материале современного немецкого языка), ВЯ, 1967, 2, стр. 94—97; е е же, Методы синхронного анализа лексики (На материале современного немецкого языка), М., 1968, § 30. Частично сходную трактовку мы находим и в рецензируемой книге, когда речь идет о сосуществовании омонимичных форм, например, существительное — прилагательное (стр. 70—71).

⁹ См., например: А. И. Смирнички. Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 71.

¹⁰ W. Henzen, указ. соч., 1965, стр. 245.

¹¹ O. Bechagel, Die deutsche Sprache, Halle (Saale), 1954, стр. 198—199. Ср. сходное толкование «сдвигов» у В. М. Жирмунского (которому и принадлежит данный перевод термина «Zusammenrückung» на русский язык): «Синтаксические сдвиги возникают в результате смыслового объединения и обособления словосочетания. Ср. в новонемецком: *Langeweile, achtgeben, fünfundzwanzig, indem, insbesondere* (В. М. Жирмунский, История немецкого языка, М., 1965, стр. 354).

¹² См. также понятие и термин «semi-suffixes» в кн.: H. Marchand, The categories and types of present-day English word-formation, Wiesbaden, 1960, стр. 290—293.

поненты. При этом критерии омонимии, должностующие определить соответствующую границу, фактически не раскрыты, и многие случаи представляются спорными. Так, например, у существительных выделены в качестве «молодых суффиксов» *-gut*, *-werk*, *-zeug* и *-wesen*, в то время как собственные имена *-hans*, *-fritze* и т. д. рассматриваются как компоненты (стр. 160—163), хотя сдвиг значения у собственных имен в данном случае еще более значителен, чем у *-werk*, *-zeug* и *-wesen*. В качестве «префиксов с омонимичными свободными частицами» рассматриваются *ab-*, *an-*, *im-* и др., безусловно, сохранившие семантическую связь с соответствующими предлогами (стр. 204—207). У прилагательных в качестве суффикса фигурирует, например *-los* (стр. 249—250), несмотря на его семантическую соотнесенность с прилагательным *los* «освободившийся, оторвавшийся от чего-либо» (ср. *sorgenlos* и *er ist die Sorgen los*), а его синонимы *-frei*, и *-leer* отнесены к переходной зоне (стр. 254) и т. д. То же касается префиксов прилагательных, омонимичных свободным существительным и прилагательным, *hoch-*, *haupt-* и др., которые рассматриваются наравне с *erz-*, этимологическим и полным семантическим омонимом существительного *Erz* «руда» (стр. 265—266), «глагольных префиксов, омонимичных свободным морфемам» (речь идет об элементах, соотносимых с предлогами и сохранивших в большинстве случаев частичную семантическую связь с ними — см. стр. 302—306) и некоторых других словообразовательных элементов. Следует, безусловно, согласиться с автором в том, что «полуаффиксы», неоднородны в отношении своих семантических связей со свободными лексическими единицами и что, безусловно, могут быть выделены некоторые полные омонимы, действительно ставшие аффиксами, но факты омонимии должны быть широко проверены объективными критериями (в том числе путем компонентного анализа и анализа дистрибутивных связей); при этом факт существования омонимов отнюдь не означает отрицания того, что существует «переходная зона» (по выражению В. Флейшера), т. е. фактически зона «полуаффиксов». Их показателями все же следует считать серийность, полное формальное и частичное семантическое соприкосновение со свободными основами.

Следует остановиться еще на некоторых моментах, которые, как представляется, могли бы быть раскрыты более полно. Так, В. Флейшер поднимает очень интересный вопрос о соотношении продуктивных — непродуктивных средств словообразования и их частотности и предлагает «трехслойное» деление словообразовательных типов: продуктивные (т. е. такие, по образцу которых образуется большое число слов — количественный

критерий); активные (т. е. такие, по образцу которых еще могут быть образованы единичные, но понятные слова); непродуктивные (т. е. не являющиеся образцом новообразований; это деление применяется при анализе производных частей речи). Однако остается неясным, как определить принадлежность словообразовательного типа к той или иной категории, какую роль при этом играет статистический принцип анализа; не рассматривается также соотношение частотности и продуктивности — непродуктивности¹³. Следующий момент — это вопрос семантики словосложений. В рецензируемой работе ему уделено значительно больше внимания, чем в других работах немецких авторов. Речь идет об отношениях между НС, которые автор называет «синтагматическим внутренним структурным отношением» (стр. 77), о семантическом согласовании между ними (там же), т. е. о мотивированности (данное понятие является фактически основой рассуждения не только сложных, но и производных слов на протяжении всей книги) и о явлении «демотивации», т. е. идиоматизации (как сложных, так и производных слов). Однако, как представляется, можно было бы более подробно остановиться, во-первых, на трансформационных моделях отдельных типов словосложения, образующих в ряде случаев определенные системы, во-вторых, на эквивалентности полностью неидиоматичных сложных слов и соответствующих словосочетаний типа: *Am Mittwochmorgen* (L. Feuchtwanger); ср. у него же: *Am Morgen des Sonntags*; *Lillys Sofaplatz* (H. Sudermann) — ср. возможное *Lillys Platz auf dem Sofa*; *Übelkeitsgefühl*, *Angstgefühl* (St. Zweig) и у него же — *Gefühl der Scham*; *Die Fäden der Spannung* и *die Spannungsfäden* (St. Heym); *mit Öl getränkte Lappen*; *ölgetränkte Lappen* (Feuchtwanger); ср. далее, такие общепотребительные слова, как *Angstgefühl*, *Wohnungsaustausch*, *Briefmarkenverkauf* и т. д., полностью эквивалентные свободным словосочетаниям. Подобные структуры, свидетельствующие о чисто синтаксической функции словосложения, характеризуют современный немецкий язык в противоположность другим современным европейским языкам и представляют особый интерес для читателя не немца¹⁴.

¹³ Собственно именно этот момент я и имела в виду в работе, на которую указывает автор на стр. 67, примеч. 268. Тот же вопрос ставил А. И. Смирницкий, справедливо отмечавший, что продуктивность и частотность необязательно совпадают (см.: А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 106).

¹⁴ На возможность развития такой тенденции в немецком языке указывал в свое время М. Бреаль, сопоставивший его в этом плане с санскритом, где словосло-

Возможно, что эта особенность современного немецкого языка объясняет употребление грамматически несоответствующих словосочетаний с атрибутом, относящимся к первому компоненту определительных существительных типа *Das Rückkehrproblem aus dem Kosmos*, которые как неправильные отвергает автор (стр. 56). Между тем такие словосочетания все чаще и чаще встречаются в современной художественной литературе (ср. *der Trauminhalt seiner Schüler* (L. Frank) — вместо *der Inhalt der Träume seiner Schüler*; *der Flügelschlag eines Vogels* (J. Petersen) вместо *der Schlag der Flügel eines Vogels*; *das Veröffentlichungsdatum seines Buches* (St. Heym) вместо *das Datum der Veröffentlichung seines Buches* и т. д.), не говоря уже о том, что подобные словосочетания с притяжательным местоимением, как-то: *meine Wohnungstür*, *unsere Meinungsverschiedenheit*, *ihre Mundwinkel* и т. д., воспринимаются почти как норма.

Не ограничиваясь выявлением принципиальных особенностей рецензируемой книги, я считаю нужным кратко осветить ее фактическое содержание, чтобы читатель мог получить достаточно четкое представление о том, какие сведения он может из нее почерпнуть. Книга состоит из предисловия, освещающего ее основные задачи, и пяти частей. Первая часть (стр. 9—77) носит название «Основные положения и понятия» и включает сведения о сущности словообразования, о месте словообразования в теории языка, о словообразовательных единицах, моделях и средствах. Эта часть, сравнительно небольшая по объему, имеет сугубо теоретический характер: в ней раскрыты основные проблемы словообразования, имеется большое число ссылок на работы немецких и других ученых (в том числе ученых СССР), а также высказываются основные теоретические положения автора, реализуемые в дальнейшем при описании конкретного материала. Здесь же говорится о современных методах лингвистического исследования и возможностях их применения при словообразовательном анализе. Наиболее существенным является последний раздел первой части: в нем раскрывается понятие словообразовательной модели (в смысле англ. «*pattern*», т. е. типовой структуры), а также характеризуются основные способы словообразования, как и их отдельные виды. Четыре остальные части включают описание словообразования основных частей речи (существительного, прилагательного, наречия и глагола) и построены по общей

схеме: рассматриваются характерные для данной части речи, с точки зрения автора, способы словообразования: для существительного (стр. 77—217) — словосложение, эксплицитное и имплицитное словопроизводство, префиксация, сокращения и «особые виды словообразования»; для прилагательного (стр. 217—271) — словосложение, эксплицитное и имплицитное словопроизводство, префиксация; для наречия (стр. 271—297), к которому не отнесены так называемые «качественные» наречия, совпадающие с краткой формой прилагательного, — словосложение, эксплицитное и имплицитное словопроизводство; для глагола (стр. 297—341) — словосложение, словопроизводство (только эксплицитное) и префиксация. Книга заканчивается списком цитированной специальной литературы, раскрытием сокращений и символов и предметным указателем.

Об основных принципиальных особенностях содержания книги было сказано выше. К ним следует добавить некоторые общие соображения, связанные с построением книги и способом изложения. Безусловно, наиболее полно освещено словообразование существительных, что вполне объяснимо; некоторое недоумение вызывает, однако, краткость части, посвященной глаголу, особенно глагольной префиксации (в разделе, трактующем о собственно префиксах, которые, согласно общему принципу книги, названы «префиксами», «не омонимичными свободным морфемам»). В целом, четыре последние части носят в основном описательный характер. Однако их особенность (прежде всего, в части, посвященной существительному) является необычайная тщательность изложения, предусматривающего максимальную детализацию. Специально должны быть названы разделы, содержащие подробную трактовку: словообразовательной формы и слогового состава компонентов сложных существительных; сложных существительных иноязычного происхождения; сложных существительных — собственных имен; «мутационных» суффиксов существительных, т. е. суффиксов, выражающих биологический род при основах, обозначающих другой биологический род; особых типов окказиональных сложных глаголов, встречаемых в художественной, а также в технической литературе; синонимии и антонимии словообразовательных средств в составе отдельных частей речи. Особый интерес представляет перечень и анализ иноязычных суффиксов и префиксов существительных, прилагательных и глаголов. Безусловно, многие из перечисленных словообразовательных явлений современного немецкого языка описаны в специальной литературе впервые.

В целом рецензируемая книга заслуживает высокой оценки. Предназначенная, как то указано в предисловии, для ис-

пользования в качестве учебника в специальных учебных заведениях и пособиях для учителей немецкого языка, она, по полноте освещаемого в ней материала и по ряду поставленных в ней проблем, переходит за пределы своего назначения и должна вызвать интерес в кругах науч-

ных работников-германистов. Высказанные мною выше некоторые возражения и сомнения не умаляют ценности книги, а свидетельствуют о том, что ее содержание может стать предметом интересных дискуссий.

М. Д. Степанова

J. Cohen. Structure du langage poétique.—Paris, Flammarion, 1966. 233 стр.

Возможности и целесообразность лингвистического изучения художественных произведений давно уже не вызывают возражений; исследователей в настоящее время интересуют практические результаты, которые оно дает.

Основная задача содержательной работы Ж. Козна — определить формальные признаки поэтической речи, отличающие ее от прозы. Поскольку художественный стиль — явление индивидуальное, автор при выделении понятия поэтической речи исходит из своеобразного понимания стилистического инварианта. Язык прозы рассматривается как норма, а поэтическая речь на этом фоне выступает как сдвиг.

Выделяя два основных уровня художественной структуры — фонический и семантический, Ж. Козн считает, что в первом из них таким отклонением оказывается версификация, во втором — закон семантических отклонений, не столь строгий и определенный. В качестве прозаического фона для выделения характерных признаков поэтической речи автор выбирает прозу научную, в которой экспрессивно-стилистический сдвиг минимален. Различие же между художественной прозой и поэзией скорее количественное, чем качественное.

Выделение признаков поэтической речи позволяет устанавливать и формально проверить своеобразие поэзии в разные периоды литературного развития. С этой целью обследованию подвергаются особенности поэтического стиля трех периодов — классицизма (Корнель, Расин, Мольер), романтизма (Ламартин, Гюго, Вийн), символизма (Рембо, Верлен, Малларме).

Устанавливая соотношение поэтики, лингвистики и статистики, Козн отмечает, что стилистика — наука о лингвистических отклонениях — при использовании методов статистики — науки общего отклонения — должна охарактеризовать факт, прежде чем его измерить, так как не всякое отклонение стилистически значимо. Статистика не метод открытия. Поэтика заимствует методы лингвистического анализа, но отличается от лингвистики тем, что исследует не вообще язык, а одну из его специфических форм. Структура поэтического смысла разрушается при переходе от поэтической формулы к ее прозаическому переводу. Перевод со-

храняет субстанцию смысла, но теряет форму. Выражение актуализирует поэтический потенциал содержания.

В отличие от традиционной, структурная поэтика предполагает «более высокую степень формализации стилистического анализа» (стр. 50). Структурная поэтика ищет форму формы, общий поэтический оператор, при котором любая фигура оказывается частным проявлением его возможностей в зависимости от лингвистической функции и уровня, на котором этот оператор ее актуализирует. Если в прозе семантическое членение текста дублируется членением фонетическим, то в поэзии появляется еще и метрическое. Соотношение между этими формами членения поэтического текста меняется. Так, у классиков синтаксическое и метрическое членение обычно совпадают, у романтиков возможен перенос, разрыв самостоятельных единиц (правда, только до известных пределов: не могло быть, например, отрыва служебных слов от знаменательных); у символистов оказывается возможным даже отрыв артикля от имени, как у Верлена:

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
De çà de là
Pareil à la
Feuille morte.

Или у Малларме:

A toutes jambes, Facteur, chez l'
Editeur de la décadence.

В этом отношении показательна статистика: подобных метрических пауз у классиков — 11%, у романтиков — 19%, у символистов — 39%. Непрекращающееся увеличение разрыва между метром и синтаксисом — такова тенденция.

Ж. Козн пишет, что здесь отражается общая закономерность — стремление поэзии к аграмматизму, к омофонии, к разрушению надежности информации, что проявляется и в функции метра, ритма, рифмы, звуковых повторов, аллитераций и т. п., идентифицирующих семантически далекие понятия. Именно в этом смысле «фигура», а не в так называемой музыкальности, экспрессивности и т. п. Норма сти-

ха — это антинорма обычного языка. Например, фонема в языке выполняет смыслоразличительную функцию, в поэзии — обратную, дедифференцирующую.

На уровне семантической характеристики основа поэтической речи — метафора (в широком смысле слова). Если ограничиться рассмотрением только трех главных функций слова в поэтической речи — предикации, детерминации и координации, то и здесь можно отметить высокую иррелевантность поэзии по сравнению с прозой. Понятно, что эта иррелевантность различна в разные периоды. Так, употребление иррелевантного эпитета у классиков — 3,6%, у романтиков — 23,6%, у символистов — 46,3%. Этикетки, данные историками литературы, оправдываются и на формальном уровне.

Степень иррелевантности эпитета можно измерить степенью сопротивления его редукции (основываясь на теории изоморфизма). Иррелевантность первой ступени можно выразить формулой $S_1(ab) \rightarrow S_2(ac)$, где a — основание для переноса. На второй ступени такое членение невозможно. Семантические атомы сами формируют возможные дефиниции.

Эпитет типа *bleus angélu* (Малларме) выглядит весьма странным. Мотивацию этой метафоры нельзя найти внутри означаемого. Это особый тип синестезии. Цветовые иррелевантные эпитеты у романтиков составляют 4,3%, у символистов — 42% (у классиков их практически нет).

Проза и поэзия идентичны по отношению к референту. Но функция прозы — денотативная, функция поэзии — коннотативная. Денотация препятствует слову выполнить предписанную фразой функцию. Меняется код, слова согласуются в плане коннотативном.

Детерминативная функция слова выражается формулой $A \times B = C$, где $C < A$ (A — имя, B — определение). В поэтической речи возможны два случая аномальной детерминации: 1) $A \times B = 0$, 2) $A \times B = A$.

В первом случае иррелевантность (черный *запах*), во втором избыточность (зеленый *изумруд*) эпитета. По данным обследованного материала избыточный эпитет: в научной прозе — 3,66%, в художественной — 16,66%, в поэзии — 35,66%; иррелевантный: в научной прозе — 3,66%, в художественной — 18,4%, в поэзии — 58,5%.

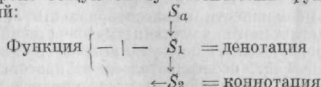
Если же рассматривать поэзию по периодам, результаты таковы: эпитет избыточный — классики — 40,3%, романтики — 54%, символисты — 66%; эпитет иррелевантный — классики — 42%, романтики — 64,6%, символисты — 82%.

Внутри этих групп различия незначительны.

Опираясь на выделенные Р. Якобсоном четыре типа двусторонних структур: M/M , M/C , C/M и C/C , где M — сообщение (message) и C — код (code), Козн

далее рассматривает фигуру, являющуюся характерной приметой поэтической речи и не учитывавшуюся совершенно традиционной риторикой. Речь идет об особом смысле в поэтической речи слов, получивших в лингвистике наименование подвижных определителей (shifters, по Есперсену). Это «обозначения, которые ничего не обозначают», и которые выражаются отношением C/M (подвижные определители) и C/C (имена собственные).

Исходя из всего сказанного, Козн строит общую схему поэтических функций:



Два основных итога: 1) различие между прозой и поэзией имеет природу лингвистическую, т. е. формальную. Оно заключается не в звуковой субстанции и не в субстанции идеологической, но в особом типе отношений, устанавливающихся в поэзии между означаемым и означающим, с одной стороны, и означаемыми между собой, с другой; 2) каждый из приемов, или «фигур», которые составляют поэтическую речь в ее специфичности, на разных уровнях оказывают разное воздействие на код обычной речи.

Таким образом, история поэзии — это все более увеличивающийся сдвиг, разрушение нормальной последовательности, координации, соотношения разных элементов.

Работа Ж. Козна богаче выводами и обобщениями, чем материалом. Это не значит, что основные положения недостаточно аргументированы. И даже то, что автор ограничивается сегментами наиболее простыми, бинарными синтагмами не принципиально, а обусловлено чисто практическими соображениями. Это значит лишь, что основная задача — поиски поэтического оператора — лишь намечена, дана гипотетически и по-прежнему ждет своего решения. Но характерно, что Козн движется в главном русле стилистических исследований, обосновывая свой подход к решению той проблемы, которую называют «образом автора» (В. В. Виноградов), «художественной идеей» (Г. А. Гуковский), «объединяющим стилистическим принципом» (Л. Долежел, К. Гаузенблас) и др.

Другой важный вопрос, на который Ж. Козн не дает ответа, это вопрос о принципах сегментации художественного текста.

Выделение двух уровней — фонического и семантического — само по себе чрезвычайно плодотворное, не может быть основой для выделения и анализа отдельных структурных единиц литературного произведения. Изучение композиционно-стилистических структур пока еще оторвано от изучения речевой организации текста.

В. В. Одинцов

M. A. K. Halliday. Intonation and grammar in British English.—The Hague—Paris, Mouton and Co, 1967. 61 стр.

Число книг и статей монографического характера, описывающих английскую интонацию, крайне велико и многообразно¹. Большинство из них достаточно подробно освещалось в нашей лингвистической литературе²; специалисты по английскому языку имеют о них вполне законченное представление. Новая книга известного английского лингвиста М. Хэллiday — тоже книга по английской интонации. Однако ее лингвистическая установка несколько иная: в соответствии с названием автор пытается соотнести данные просодии и грамматики. В целом при анализе данной монографии различается пять аспектов: 1) как соотносится просодия и грамматика?; 2) в чем специфичность предложенного описания — а именно: есть ли это описание английской и только английской просодии или полученные данные применимы и к другим языкам?; 3) какова предлагаемая система единиц просодического описания?; 4) что нового вносит данная работа в известные уже ранее сведения по английской просодии?;

5) чем характеризуется просодическая система, описанная именно как британский вариант английского языка (см. разнобразные описания американского варианта английской интонации)³.

В настоящей рецензии мы будем касаться лишь первых трех аспектов как имеющих общелингвистическое, а не локально языковое значение.

К проблеме содержания М. Хэллiday подходит через форму. Эту форму, в которой манифестируется просодия, автор описывает и анализирует, не обращаясь непосредственно к функциям, и лишь описав форму окончательно, просцирует полученные данные на анализ синтаксических категорий. Первая часть книги и есть описание формы.

М. Хэллiday выделяет четыре просодические единицы. Это — тоновая группа, стопа (foot), слог и фонема. Единицы эти иерархичны: элементы высшего уровня складываются из элементов низшего уровня.

Стопа — минимальная единица английского ритма, имеющая структуру в виде двух элементов — иктуса (в начале стопы) и «разрядки» (remiss). Эти два места заполняются низшими единицами — слогами, которые в свою очередь разделяются на слабые слоги и слоги подъема (salient). Слог подъема формирует иктус, слабые слоги — разрядку. В определенных позициях (после паузы, например) иктус может быть не представлен в системе, т. е. быть нулевым. Полная стопа, по определению М. Хэллiday, — это стопа с ненулевым иктусом.

Общая формула стопы, таким образом, следующая: $I(P_1, \dots, n)$, где каждое место занимает один слог. I — иктус, P — разрядка. Минимальный объем стопы представлен в том случае, когда в нее входит лишь один слог подъема.

В свою очередь стопа входит в состав тоновых групп. Тоновые группы также состоят из двух элементов — тоника и претоника. Тоник обязателен, претоник факультативен. И тоник, и претоник состоят из стоп (одна стопа и более). Однако тоник в тоновой группе бывает только один (в особых случаях может быть двойной тоник), в отличие от иктусов, которых в тоновой группе может, таким образом, быть несколько.

Общая формула тоновой группы следующая: $(I_1 \dots n) T (2 \dots n)$ или $(I_1 \dots n)$

¹ См. хотя бы работы последних десятилетий: R. S. Wells, The pitch phenomena of English, «Language», XXI, 1, 1945; St. S. Newman, On the stress systems of English, «Word», II, 1946; K. L. Pike, The intonation of American English, Ann Arbor, 1947; W. Yassam, Intonation of conversational English, Wrocław, 1952; N. Chomsky, M. Halle, F. L. L. off, On accent and juncture in English, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956; W. R. Lee, English intonation: a new approach, «Lingua», 5, 1956; R. Kingdon, The groundwork of English intonation, London — New York — Toronto, 1958; M. Schubiger, English intonation, its form and function, Tübingen, 1958; W. R. Lee, An English intonation reader, London, 1960; A. V. vanvik, On stress in present-day English, Bergen — Oslo, 1961; J. D. O'Connor, G. F. Arnold, Intonation of colloquial English, London, 1961; W. S. Allen, Living English speech. Stress and intonation, London, 1963; H. Kurath, A phonology and prosody of modern English, Heidelberg, 1964; G. L. Trager, The intonation systems of American English, «In honour of D. Jones», London, 1964; H. Wode, Englische Satzintonation, «Phonetica», 15, 3—4, 1966, а также специальный сборник Исследования по английской интонации, М., 1964.

² См., в частности: Е. А. Гликина, Обзор работ по английской интонации, «Ин. яз. в шк.», 1965, 3; Н. С. Деметьева, Интонация английского разговорного языка. «Уч. зап. кафедры иностранных языков Куйбышевского ГПИ», 57, 1968.

³ Еще не так давно эти различия британского и американского вариантов не были очевидны; напротив, считалось, что интонации их идентичны (см. об этом: H. Klinghardt, Amerikanische Aussprache und Intonation, «Die neueren Sprachen», XXXIII, 1925).

$T(2...n) T(2...n)$, где каждое место занимает одна стопа. Π — претоник, T — тоник.

Из сказанного очевидно, что в каждой из трех описанных единиц есть свой ударный элемент. Это — тоник для тоновой группы, интус — для стопы и слог подъема — для слогов. Таким образом, ударный элемент тоновой группы — тоник — представлен в составе трех единиц, а именно: 1) тоник (tonic) — элемент тоновой группы; 2) тоническая стопа (tonic foot) — первая стопа в тонике; 3) тонический слог (tonic syllable) — первый слог подъема в тонической стопе (стр. 13). Последние два элемента в просодической литературе обычно принято называть ядром (nucleus).

Тоновая группа может быть очень мала — ср., например, $//no//$ только с одним тоническим слогом, и очень велика, с претоником и двойным тоником: ср., например, $//I/think\ the\ rabbit\ was/more/prominent\ than\ they\ intended\ it\ to/be\ as\ a/\ matter\ of/\ fact$ (стр. 15).

Наиболее интересным понятием в системе просодических единиц, предложенной М. Хэллдеем, является понятие стопы. В данном толковании оно восходит к Д. Аберкромби⁴, заимствовавшему его из стихосложения (метрики). Основная особенность стопы — изохронность. Число ударных слогов равно числу стоп, число же безударных слогов может быть разнообразным. Так, известная строчка *This is the house that Jack built* разлагается на четыре стопы: $/This\ is\ the/house\ that/Jack/built$. В речи слог не имеет абсолютной длительности, а время его произнесения зависит от числа слогов в стопе. Таким образом: 1) длительность слога не зависит непосредственно от ударения или от качества гласной; 2) стопа не определяется (так же непосредственно) словесными связями⁵. Это непрямоe соотношение стопы и слогов отличает, по мнению Д. Аберкромби, английский язык. М. Хэллдей также подчеркивает ритмическую примарность именно стопы, а не слога.

Существенным компонентом лингвистического мировоззрения М. Хэллдея является идея тонкости (delicacy)⁶ модели-

рования лингвистических фактов. В соответствии со степенью этой тонкости им различаются первичные и вторичные описания для всех языковых уровней. Эти же два яруса в предлагаемом описании выделяются им и для просодических фигур. Типы движения тона (первичного и вторичного), и их графическая и символическая нотация подробно описываются в книге.

Все описанные выше просодические единицы рассматриваются автором через призму трех автономных систем — тональности (tonality), тоновости (tonicity) и тона (tone). Тот или иной выбор единиц внутри каждой из этих систем интерпретируется М. Хэллдеем на содержательном уровне.

Тональность — это членение высказывания на тоновые единицы, определение числа этих групп. М. Хэллдей рассматривает возможность различной интерпретации предложения в зависимости от принятой тональности и делает это в применении к основной минимальной синтаксической единице — clause⁷. Тот случай, когда число этих синтаксических единиц соответствует числу тоновых групп, М. Хэллдей считает «нейтральным», а «маркированными» случаями — те ситуации, когда тоновая единица превышает синтаксическую, как, например, в случаях условных предложений: $//it's/all\ right\ if\ you're/photo/genic/what/happens\ if\ you're/not\ //$ или, напротив, когда тоновая единица оказывается меньше синтаксической, например $//they\ can/change/overnight/then\ //into\ something\ completely/different/$ ⁸.

Тоновость — это расположение тонического слога (см. выше), расположение в каждой тоновой группе тоника и претоника⁹. Тоновость некоторым образом связана с тональностью, однако при константной тональности тоновость может меняться. Для тоновости также определяется нейтральное состояние. Нейтральной считается та ситуация, когда тоническим оказывается последний лексический элемент данной грамматической структуры, чаще всего — просто последнее значащее слово тоновой группы. Например (тоник выделен): $//I\ very\ often/meet\ him\ in\ the/square//$. «Маркировано» отклонение от нейтральной ситуации, осуществляющееся в двух планах: 1) отмечен не последний

⁴ D. A b e r c r o m b i e, Syllable quantity and enclitics in English, в кн.: D. A b e r c r o m b i e, Studies in phonetics and linguistics, London, 1965, стр. 28—30.

⁵ Там же, стр. 28.

⁶ Общетеоретическому определению этого понятия, роли сознательной установки на тонкость описания в лингвистическом моделировании уделяется много места в статье М. Хэллдея об основных категориях грамматики (M. A. K. H a l l d e y, Categories of the theory of grammar, «Word», 17, 3, 1961). Рецензируемая книга теоретически опирается на положения данной статьи.

⁷ К сожалению, этот простой и ясный термин не нашел общепринятого эквивалента в нашей лингвистике. «Несамостоятельное предложение в составе сложного предложения» — так громоздко и приблизительно переводится обычно этот термин.

⁸ Семантическая значимость такого членения многократно подчеркивалась для разных языков, для русского языка — А. Н. Гвоздев и Е. А. Брызгуновой.

⁹ Проще говоря, это место мелодического центра.

значачий элемент /it/may be that it's/, 2) отмечен последний, но лексически несамостоятельный элемент — /what/happens if you're/not/.

Последняя система — тон — характеризует тип движения тона внутри тоновой группы. М. Хэллiday выделяет всего пять основных тонов, распределяющихся следующим образом: 1) нисходящий — низкий; 2) восходящий — высокий; нисходяще-восходящий — высокий; 3) восходящий — средний; 4) нисходяще-восходящий — средний; 5) восходяще-нисходящий — низкий¹⁰. Тоновые контрасты (М. Хэллiday рассматривает их парадигматически, противопоставляя их парно) описываются им на фоне трех типов предложения — вопросительного, повествовательного и повелительного. Интерпретация этих тоновых контрастов дается им на содержательном уровне, анализом которого мы займемся ниже.

Таковы изложенные кратко принципы формального описания просодии предложения, представленные М. Хэллiday. Легко заметить, что в соответствии с распространенной англо-американской традицией М. Хэллiday под интонацией понимает только мелодику, что, как неоднократно писалось, упрощает и обедняет просодическую картину языка.

Гораздо сложнее и принципиальнее другая, неформальная сторона проблемы — отношение просодических и непросодических фактов языка. Членение мелодики на дискретные единицы, как уже было сказано, производит М. Хэллiday без обращения к их функции и значению, лишь во второй части книги он показывает, какие смысловые изменения формируются выбором тех или иных просодических решений, т. е. переходит от формы к функции. Представляется, однако, что сама возможность такого решения — членения на дискретные единицы явления, самого по себе недискретного в своей первичной заданности, — иллюзорна (если не корректировать такое членение оглядкой на функцию). Соотнесение единиц субстанций и единиц содержания — обычно взаимный процесс: мы можем говорить о функционировании лишь тех единиц, которые нами уже выделены, и наоборот — говорить о существовании в языке тех содержательных единиц, которые имеют соответствия на формальном уровне. В этом смысле можно лишь приветствовать настойчивое подчеркивание

самим М. Хэллiday идее зависимости лингвистического описания от избранной (сознательно!) исследователем степени тонкости моделирования.

Однако для того чтобы попытаться оценить предложенные в данной книге типы отношений «интонации» и «грамматики», необходимо более подробно остановиться на этих фундаментальных понятиях в их отношениях друг к другу. При этом очевидно, что оба эти понятия в современной интерпретации достаточно расплывчаты. Так, грамматика из узкой области языкознания — чаще всего это просто морфология, иногда еще и синтаксис — стала по существу безбрежной сферой языкового существования, к которой относят теперь все релевантные для языка противопоставления. То же можно сказать и об интонации. Для многих исследователей интонация — комплексное явление, включающее мелодические, временные, акцентные характеристики. Но если понимать под интонацией только мелодику, как это делает М. Хэллiday, то необходимо заметить, что интонация предложения, излагаемая М. Хэллiday, не во всем совпадает с принятым вычленением синтаксически значимой части из всей просодии фразы. Так, как видно из приведенного выше описания, для Хэллiday значима вся мелодика предложения, вся просодия подлежит описанию, членясь на тоновые группы с указанным внутренним членением. Однако неоднократно говорилось о синтаксической значимости только определенного участка звучащей фразы — последнего слога — носителя ударения и окружающих его слогов¹¹.

Само соотношение интонации и значащей стороны языка (мы пока сознательно избегаем слова «грамматика») имеет свою историю. Понимая грамматику более узко, С. И. Карцевский наиболее категорически отрицал их связь¹². При этом он признавал за интонацией право быть показателем своих собственных специфических значений (градации, контраста и т. д.), которые, в его понимании, не являлись грамматическими. О случайном соотношении грамматики и интонации писал А. М. Пешковский, Д. Л. Боллингер¹³.

Что касается специальных работ, посвященных отношению интонации и грам-

¹⁰ Эта система тонов в целом соответствует именно английской, а не американской шкале различения тонов. О'Коннор и Арнольд, не расходясь во взглядах с Хэллiday, не различают только по уровню восходяще-нисходящий тон, зато вводят нисходящий высокий. Таким образом, общее число тонов у них то же (J. D. O'Connor, G. F. Arnold, *Intonation of colloquial English*, London, 1966).

¹¹ Специально на материале английского языка этот вопрос рассматривался М. Шубигер (M. Schubiger, *Notes on the intonation of coordinate sentence and syntactic groups*, «English studies», XXXIV, 6, 1953).

¹² S. K. arc ev sk ij, *La phonologie de la phrase*, TCLP, IV, 1931.

¹³ А. М. Пешковский, *Интонация и грамматика*, в кн.: А. М. Пешковский, *Избр. труды*, М., 1959; D. L. Bolinger, *Intonation and grammar*, «Language learning», VIII, 1—2, 1957—1958.

матик, авторы которых признают их какое-то соответствие, то их можно разбить на две группы, различаемые по типу соотношений: 1) работы, изучающие соответствия между просодией и грамматикой на несодержательном уровне, 2) работы, изучающие их соответствия на содержательном уровне.

О соответствиях на несодержательном уровне можно говорить в том случае, когда анализу подлежит сам факт совпадения / несовпадения каких-либо просодических и непросодических единиц. Например, к этой группе можно отнести многочисленные наблюдения о частном совпадении границ просодических групп и границ синтаксических групп¹⁴. Само констатирование этих совпадений и является основным выводом исследователя. Такова по типу и специальная работа Д. Л. Боллинера, посвященная совпадению особых «выделенных» временных характеристик внутри фразы и морфем определенного типа (т. е. одни морфемы произносятся быстрее, другие медленнее)¹⁵. О фиксированном соотношении акцентной выделенности и принадлежности слова к определенному синтаксическому классу пишет в работе по английской фразовой интонации Х. Воде¹⁶.

О соответствиях на содержательном уровне можно говорить в тех случаях, когда интонационные и грамматические единицы соотносятся не непосредственно, а «через значение». Однако и эта общая выделяемая для них содержательная часть может принимать разное воплощение, т. е. может варьироваться сама система отчета, через которую описываются единицы интонации.

Чаще всего интонацию предложения сопоставляют с так называемым общекоммуникативным значением предложения — вопросительностью, повествовательностью, восклицательностью и /или повелительностью¹⁷. При этом часто оказывается-

ся, что генетически разнородные языки мира часто имеют удивительно сходную интонацию¹⁸. (Сходство это обычно приписывается физиологии, но, может быть, частично оно зависит и от подхода?)

Другой содержательный подход имеет место тогда, когда те отношения, которые передаются просодическими средствами, рассматриваются как значимые отношения между синтаксическими единицами — т. е. когда единицей просодии — интоной — объявляется единица отношения¹⁹ (чаще всего при этом интонация изучается комплексно, а не только как мелодика). При этом формируются осязаемые на слух различия интоном, некоторые из которых могут быть названы — перечисления, противопоставления, пояснения и т. д. Однако при этом существенно осознавать, что число реальных интоном гораздо больше и давать им такие семантически ясные «названия» необходимо с большой осторожностью. Близость таких выделяемых «смыслов» типа только что указанных к некоторым синтаксическим отношениям, выражаемым сегментно (скажем, в сложноподчиненных предложениях) и дает иногда ряду исследователей основания делать излишние категорический обратный вывод — что каждому синтаксическому отношению непременно должно соответствовать просодическое.

Быть может, уместно в данном случае сделать несколько неожиданное предположение о принципиальной смысловой неоднородности синтаксических отношений в том аспекте, что одни типы синтаксических смыслов более прямо соотносятся со смысловыми отношениями, передаваемыми интонацией, а другие не соотносятся с интонацией никак. Возможно, именно это и хотел сказать А. М. Пешковский, говоря о том, что интонация «блуждает по поверхности языка».

Те содержательные стороны интонации, о которых только что говорилось, на наш взгляд, бесспорно относятся к языковой стороне речи, к микролингвистике. Высказывалось в этом смысле мнение о том, что «просодия и синтаксис — комплексные аспекты структуры предложения. Вместе это — грамматика пред-

¹⁴ См., например: B. Bloch, J. M. Cowan. An experimental study of pause in English grammar, «American speech», XXIII, 2, 1948. Частое совпадение просодических границ и границ простого несамостоятельного предложения, находящегося внутри сложного (clause), дало основание Л. Халлену вообще говорить о грамматической функции просодии как о свойстве быть грамматикой таких несамостоятельных предложений (L. S. Hultzen, Grammatical intonation, в сб. «In honour of D. Jones», London, 1964).

¹⁵ D. L. Bolinger. Length, vowel, juncture, «Linguistics», 1, 1963.

¹⁶ H. Wode, Englische Satzintonation, «Phonetica», 15, 3—4, 1966.

¹⁷ H. W. Wodarz, Satzphonetik des Westlächischen, Köln, 1963; отчасти: Т. А. Канышева, К вопросу об интонации и грамматике, «Законы семантического развития в языке», М., 1961.

¹⁸ I. A. A. I. Abbe, Intonational patterns of English and Japanese, «Word», 11, 3, 1955.

¹⁹ См. Т. М. Николаева, Интонация сложного предложения в славянских языках, М., 1969; И. Г. Торсуева различает две принципиально разные единицы — интоном и супраинтоном. Более подробно см.: И. Г. Торсуева, Определение языковых функций компонентов интонации, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», 37, 1967; е. е. же, Дискретный характер интонации и возможности ее типологического изучения, там же, 42, 1968.

ложения»²⁰. В этом отношении они находятся в компенсаторной зависимости и взаимопереводимы, существуют даже работы по анализу взаимопереводимости сегментных и суперсегментных элементов в разных языках, т. е. когда сегментным единицам одного языка соответствуют суперсегментные единицы другого языка²¹.

В английской лингвистической традиции под той значащей системой с которой соотносятся единицы просодии, понимается нечто принципиально совсем иное. Наиболее точно это было впервые сформулировано К. Пайком: «В английском языке значение интонации модифицирует общее (лексическое) значение предложения, добавляя к нему отношение говорящего»²². Т. е. интонация в первую очередь модальна. Как пишут вслед за Пайком Дж. О'Коннор и Г. Арнольд, — «интонация выражает отношение говорящего к той ситуации, в которой он находится»²³. Так, судя по данным, которые эти авторы приводят, тоновая характеристика № 1, например, в утвердительных предложениях выражает спокойное, равнодушное высказывание, в специальных вопросах — прямо категорическое, нелюбезное, порой, враждебное произнесение, в общих же вопросах — такое произнесение имеет целью скорее поставить на обсуждение какое-то предложение, чем получить требуемый ответ, и т. д.²⁴. На подобном пути стоят многие авторы²⁵.

Естественно, что для передачи общего отношения говорящего к ситуации релевантной оказывается вся фраза, даже ее начальный этап — важна та тональность, с которой человек начинает говорить.

²⁰ H. Kurath, A phonology and prosody of modern English, Heidelberg, 1964, стр. 126.

²¹ M. Schubiger, English intonation and German model particles. A comparative study, «Phonetica», 12, 2, 1965; D. L. Bolinger, English prosodic stress and Spanish sentence order, «Hispania», 37, 2, 1954.

²² K. L. Pike, The intonation of American English, Ann Arbor, 1947, стр. 21.

²³ J. D. O' Connor, G. F. Arnold, Intonation of colloquial English, London, 1966, стр. 2.

²⁴ С. А. Берлин различает в этом плане для интонации речевые (с эмфатической функцией) и грамматические модели (С. А. Берлин, Интонационное оформление речевых и грамматических моделей, «Уч. зап. [Пермского ГПИ]», 46, 1967).

²⁵ Именно об этой английской традиции рассматривать интонацию как модально-эмоциональную говорит Г. Хаттар, различая для интонации две функции — референционную и эмоциональную (G. Hutter, Two functions of the prosodies in speech, «Phonetica», 18, 1968, 4).

Таким образом, речевые характеристики, обычно признаваемые паралингвистическими или психологическими, признаются здесь собственно лингвистическими. Понятие грамматики распространяется таким образом на все вообще значимое в языке.

Справедливость или несправедливость такого «лингвистического» включения субъективного отношения в язык мог бы, на наш взгляд, подтвердить некий эксперимент. Книга О'Коннора и Арнольда настолько детально, что по ней можно синтезировать мелодию фраз без оглядки на язык (взяв за образец схемы распределения тонов); не исключено, что передаваемые значения универсальны, и описываемая интонация не есть собственно интонация английская, а общечеловеческая интонация гнева, сарказма, любезности, меланхоличности, мягкого возращения и т. д.

Многое из сказанного об английской традиции можно отнести и к книге М. Хэллiday, к которой мы сейчас возвращаемся. Как видно из анализа первой части, в предлагаемом им описании формы нет ничего специфически английского — и другие языки знают синтагматическое разбиение как средство изменения структуры предложения (тональность), также выделяют просодически те или иные слова в синтагме (тоновость) и передают отношение говорящего (тон). Однако существенным должно быть языковое наполнение этих общих схем. В этом отношении наиболее интересными представляются места книги, посвященные стопе (см. выше), вообще — ритму в целом.

Как уже говорилось, вторая часть книги («Интонация и грамматика») опирается на большую статью автора о категориях грамматики. Однако эта статья М. Хэллiday не касается содержательной стороны грамматики языка. А именно — она может быть названа работой об основных категориях грамматики вообще, понимаемая под этим вовсе обязательно грамматику естественного языка, но грамматику любого семиотического устройства²⁶. Так, в этой статье выделяется тип категорий — единицы, структура, класс, система; определяются разные степени абстракции, выделяются первичные начала анализа — форма, субстанция, контекст²⁷. Грамматическим, по Хэллiday, является та часть языка, которая не относится непосредственно к субстанции. Т. е. грамматика понимается очень широко.

²⁶ О грамматике таких систем см. статью Т. М. Николаевой «О грамматике языковых коммуникаций» («Труды по знаковым системам», IV, Тарту, 1969).

²⁷ M. A. K. Halliday, Categories of the theory of grammar.

ко, а ее содержательная часть остается неопределенной.

Вторая часть книги посвящена распределению трех просодических систем по значениям, которые для них существуют. При этом М. Хэллiday оговаривает тот факт, что рассматриваются не только «привычные» грамматические контрасты, но и такие противопоставления, которые вообще дифференцируются посредством интонации.

Посредством тональности определяется число информационных единиц в предложении, например // *I saw John yesterday* // — одна информационная единица, // *I saw John/yesterday* // — две информационные единицы. Тональность также выделяет особо отрицание, что меняет структуру предложения: // *I/didn't/come because he/told me*. Разное выражение тональности меняет также схему сложного предложения: когда придаточное предложение выделено, появляется новое тоновое (и смысловое!) отношение. Ср. // *We never saw John/who arrived late* // и // *We never saw John/who arrived late* // (стр. 35). При этом М. Хэллiday различает дополнительные оппозиции, накладываемые на тоновое членение выбором локуса ударения (тональности) и движением тона. Так, конструкция // *I saw/John/yesterday* //, по выражению М. Хэллiday, представляет собой полторы информационных единицы, конструкция // *I/saw/John/yesterday* // — две информационных единицы, конструкция // *I/saw/John/yesterday* // — одну информационную единицу (стр. 37).

Функция тоновости, как уже говорилось, состоит в выделении информационного фокуса тоновой группы, который может быть маркированным (см. выше) и немаркированным. Немаркирован фокус информации в конструкции // *I/saw/John on/Tuesday*, маркирован в конструкции // *I/saw/John on/Tuesday* // и т. д. Более детальные значения тоновых оппозиций М. Хэллiday показывает, в частности, на примерах сложных английских глагольных форм, где перенос ударения с основной формы на вспомогательную меняет фокус и вносит дополнительный смысл. Строго говоря, различая маркированную/немаркированную тоновость, М. Хэллiday не учитывает еще одного маркированного случая — когда информационный фокус находится именно на последнем значащем слове (т. е. как бы немаркированной ситуацией). Например — *Он был спрошен* и *Он был спрошен*. Т. е., иначе говоря, М. Хэллiday не различает логическое ударение, которое в принципе может быть на любом слове синтагмы, и синтагматическое ударение и, следовательно, тот случай, когда логическое ударение занимает место обычного синтагматического (*Он был спрошен*). Самое значительное место во второй части книги занимает анализ тоно-

вых противопоставлений. Это естественно, так как функции тональности и тоновости можно характеризовать кратко как членение (тональность) и выделение (тоновость). Каждая из этих двух систем располагает в качестве нейтрального члена оппозиции нулевым, точнее негативным, показателем, т. е. выделено/невыделено и т. д. Система тонов гораздо более сложная. Так, пять основных тонов противопоставляются друг другу парно, каждое противопоставление имеет смысл. Ареной этих противопоставлений являются разные синтаксические типы предложений, причем одно и то же противопоставление (скажем 4 тон — 1 тон) в рамках разных синтаксических типов имеет разную интерпретацию.

Всего М. Хэллiday выделяет следующие синтаксические типы: 1) утвердительные предложения; 2) вопросительные предложения с вопросительным словом; 3) вопросительные предложения без вопросительного слова; 4) повелительные предложения; 5) отрицательные и повелительные; 6) так называемые «минимальные предложения»²⁸ и 7) вокативные конструкции.

Разные комбинации тонов создают разные значения. Так, для вокативных конструкций тон 1 — команда, тон 2 — вопрос, тон 3 — предупреждение, тон 3 «расчлененный» (*Jo—ohn*) — мягкая команда, тон 4 — немаркированная тема, тон 5 — настойчивая команда и упрек (стр. 47).

Во многих случаях даются отсылки на такое же значение в другой синтаксической группе, так что в целом, в отличие от первой части, вторая часть представляется композиционно более громоздкой и запутанной. В конце книги перечисляются в порядке появления на страницах текста все иллюстрации (представленные в перечне лишь номерами) с следующей информацией: 1) где представлена оппозиция — предложение, придаточное предложение, тоновая группа, 2) тип синтаксической структуры (см. выше), 3) выражаемый контраст — по функции, 4) название оппозиции — перечисление, мягкость тона, нейтральность, эхо-вопрос и т. д., 5) тип тонового выражения, 6) какими из трех систем просодии выражается. Этот перечень, где многие термины повторяются, также сложен. Вместо него в конце книги хотелось бы видеть другое — перечень исходных «значений» и перечень просодических «форм», соответствующих этим значениям. Кроме того, сами эти значения явно разнотипны; так, очевидно, что эхо-вопрос, мягкость,

²⁸ Об этих предложениях см.: Т. М. Николасева, [рец. на кн.:] E. Bowman, The minor and fragmentary sentences of a corpus of spoken English, ВЯ, 1968, 2.

упрек — явления разных планов. Таблица в конце книги также слишком сложна, так как сочетает все перечисленные выше измерения. В книге имеется небольшая библиография (30 названий), в которой нет ряда специальных работ по английской интонации — Велдса, многих статей Болингера, Халле, Трейджера, Воде, Курата; в эту же библиографию включено несколько работ по общей фонетике, по английскому синтаксису и по частным проблемам просодии.

В заключение хотелось бы поставить вопрос более общего характера. Именно ко второй части книги, которая, по замыслу автора, и должна продемонстрировать достижения непреходящего формального подхода, можно адресовать упрек в неопределенности описания по специфичности, имея в виду именно языковую

специфичность. Однако по этому поводу можно возразить: ведь в обычных грамматиках любого языка, например, в разделе «Синтаксис» и сообщаются сведения неспецифического по отношению к языку характера — о том, что в данном языке есть подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д. Собственно языковая часть в таких книгах представляет собой лишь список иллюстраций к указанным типам. Т. е., говоря иначе, вопрос ставится так — должно ли любое монографическое описание быть не только исчерпывающим, но и дифференцирующим? Должен ли в предлагаемом описании одного языка присутствовать, хотя бы в скрытом виде, типологический аспект, включая в качестве типологических именно потенциально различающие критерии?

Т. М. Николаева

Talāt Tekin. A Grammar of Orkhon Turkic.—Bloomington, Published by Indiana University, 1968. 419 стр. («Uralic and Altaic Series», 69)

Рецензируемая книга содержит систематическое описание фонологии, грамматики (морфологии и синтаксиса) и лексики пяти древнетюркских рунических памятников: в честь Кюльтегина, Бильге-кагана, Тоньокука, Онгиский камень, Кул-чур (Т. Текин: Küli Cor); она представляет собой докторскую диссертацию турецкого ученого Т. Текина (защита состоялась в 1965 г. в университете г. Лос-Анжелес, Калифорния, США), который последние годы читает тюркологические курсы в университете г. Беркли, Калифорния, США.

Книга состоит из следующих основных разделов: Введение (стр. 7—20); I. Письмо (стр. 21—47); II. Фонология (стр. 50—102); III. Морфология (стр. 103—197); IV. Синтаксис (стр. 199—213); V. Грамматический индекс (стр. 215—228); VI. Тексты (указанных пяти памятников в латинской транскрипции — стр. 229—258). Перевод (на английский язык, стр. 259—295); VII. Глоссарий (стр. 229—408); VIII. Библиография (стр. 411—419).

Фонология и грамматика, как об этом пишет автор в своем предисловии, излагаются по плану, принятому в «*Philologiae turcae fundamenta*», I (Wiesbaden, 1959).

Введение начинается с определения термина «орхоно-тюркский (Orkhon Turkic)». «Этим термином, — пишет Т. Текин, — мы обозначаем древнетюркский диалект (the old Turkic dialect), на котором говорили тюрки или, как их называли китайцы, т'у-к'юэ (точнее: туцзюэ. — А. К.), обитавшие в основном в Монголии в первой половине VIII столетия н. э.

Этот диалект был несомненно официальным языком Второй Восточной тюркской империи [the second East Turkic Empire (ca. 680—740)]¹ и был, конечно, всего лишь естественным продолжением древнетюркского диалекта, на котором ранее говорил тот же самый народ в том же самом ареале. Орхоно-тюркский — старейший тюркский диалект, на котором писались надписи, дошедшие до нас» (стр. 7).

Это прямое утверждение о преемстве языка орхоно-тюркских памятников, якобы являющегося «продолжением древнетюркского диалекта», упрощенно объясняет сложный процесс образования и развития литературного языка, дошедшего до нашего времени в текстах указанных выше пяти древнетюркских памятников, язык которых Т. Текин называет «официальным диалектом Второй Восточной тюркской империи» (см. ниже).

Язык этих памятников, очень близкий по своим фонологическим и лексическим признакам, представляет собою литературный вариант, возникший на основе ряда близкородственных древнетюркских диалектов, на которых говорили тюркские племена, входившие в состав Второго (восточного) тюркского каганата; каждый племенной диалект имел, конечно, свои специфические особенности, что может быть подкреплено, например, следующими соображениями.

Текст памятника в честь Кюльтегина был составлен, как известно, его родст-

¹ Точнее: 681—744 гг.

венником Йол(д)ыг-тегином, который принадлежал к господствующему племени ашын а. Текст памятника в честь Тоньюкука составлен самим Тоньюкуком, представителем племени ашын де. При ближайшем рассмотрении ясно обнаруживаются не только следы различия в стиле обоих памятников, но и некоторые морфологические и синтаксические особенности, свойственные каждому из них в отдельности, что и является убедительным доказательством выдвинутого выше тезиса: при всей лексико-грамматической близости этих памятников в них, тем не менее, обнаруживаются еще черты диалектных различий. Таким образом, можно полагать, что в памятниках представлен не один монолитный диалект, а их литературная форма, возникшая на основе ряда диалектов.

Эти надписи — в своей главной и определяющей части лексико-грамматического материала — являются письменными памятниками огузских языков, которые уже в те времена не были свободны от влияний других групп тюркских языков.

Специфические фонологико-грамматические особенности этих памятников Т. Теккин видит в следующем:

- (а) сохранение билабального звонкого *b*, который позднее в срединной и конечной позициях превратился в *w*;
- (б) сохранение звонкого дентального *d*, который позднее превратился в звонкий интердентальный;
- (с) сохранение носового палатального *ñ*, который позднее превратился в *n* (в одних диалектах) и в *y* (в других диалектах);
- (д) чередование носового веларного *h* с *γ/g*;
- (е) образование генитива с помощью *-in/-in*;
- (ф) образование аблатива с помощью *-da/-dā*;
- (г) образование the present participle с помощью *-γma/-gmā*;
- (h) образование будущего причастия с помощью *-dači/-dāči*;
- (и) образование the future-necessitative participle с помощью *-sīq/-sīk* (стр. 7—8).

Перечислив термины, под которыми известны в научной литературе тексты названных памятников (стр. 8—9), Т. Теккин считает, что для «официального» диалекта второй Восточной тюркской империи» (the official dialect of the second East Turkic Empire) наиболее подходит термин *Orkhon Turkic* — орхонско-тюркский (стр. 9); таким образом в основу определения языка этих памятников положен географический признак — по месту нахождения памятников в бассейне р. Орхон, которые по той же причине называются «орхонскими памятниками».

Замечу кстати, что слово *türk*, являвшееся в пору орхонских памятников не этническим наименованием, а по-

литическим термином (В. В. Бартольд), Т. Теккин транскрибирует *türk* и *türäk*² (см. Глоссарий, стр. 387—389); вторая, т. е. полная, форма, вероятно, продукт позднейшего развития.

После описания местонахождения пяти исследуемых рунических памятников (стр. 9—12) следует обстоятельная историческая справка («General Survey of Research on Orkhon Turkic») об открытии и изучении орхонских памятников (стр. 12—20); к сожалению, целый ряд статей и книг на эту же тему, изданных в СССР, оказались не названными³.

В главе «Письмо» приводятся необходимые сведения о руническом алфавите, а также излагаются известные гипотезы о происхождении рунического алфавита. Затем подробно излагается система рунического письма и приводятся необходимые сведения об орфографии и пунктуации.

Глава «Фонология» начинается с определения числа гласных; их девять: *a, ā, e, i, ī, o, ō, u, ū*. Все они, за исключением *e* (closed *e*, стр. 53), по четыре гласных распределяются по известным четырем признакам (см. стр. 50). Затем следует обстоятельное описание гласных фонем (термином «фонема» автор не пользуется, употребляя лишь термин the vowel) и объяснение основных фонетических закономерностей, связанных с гласными фонемами: гласные непервых слогов, гармония гласных, так называемые соединительные гласные, суффиксальные гласные (suffix vowels), т. е. сингармоническое чередование гласных в суффиксах. В орхонско-тюркском, по мнению Т. Теккина, имеются долгие гласные непервых слогов, их наличие он аргументирует орфографией памятников: Долгие гласные непервых слогов обычно пишутся, если они встречаются в закрытых слогах, в то время как краткие гласные вообще не отмечаются (стр. 67). По причине отсутствия точных объективных данных о долготе гласного в том или ином слове автору приходится прибегать к крайне осторожным формулировкам (см., например, на стр. 68: «The final vowel of the following word, too, is probably long: *qara* „black“; см. еще замечание о долгих *ā, ī, u* на стр. 68—69).

Рассматривая чередование гласных («Vowel alternations», стр. 70—71) в первом слове *a ~ i, ā ~ i, e ~ i*, Т. Теккин предположительно объясняет это явление

² То же см.: R. Giraud, L'inscription de Bain Tsokot, Paris, 1961, стр. 66, 154.

³ О них см.: С. Г. Кляшторный, Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, М., 1964, стр. 181—195; А. Н. Конов, Тюркская филология в СССР. 1917—1967, М., 1968, стр. 38, примеч. 51—54.

отсутствием ударения на первом слоге слова. Это предположение находится в противоречии с известным положением В. В. Радлова о наличии двух ударений в двух-, трехсложных словах: второстепенное ударение на первом слоге, главное — на последнем слоге. Если бы ударения на первом слоге вовсе не было, то весьма вероятно, что гласный первого слога полностью бы редуцировался. Чередование гласных широких ~ узких в первом слоге, по всей вероятности, отражает междialeктную дифференциацию гласных, существовавшую в глубокой древности.

Ряд интересных примеров приведен в разделе «Палатализация» (стр. 71—72), где рассматривается переход (лучше сказать: чередование) гласного i : i под влиянием дентально-альвеолярных и палатальных согласных.

Явлениями ассимиляции (регрессивной и прогрессивной) уделено внимание значительно меньше, чем они заслуживают (стр. 72). Отмечено также явление стяжения-контракции: $a < *a\alpha$, $\bar{a} < *\bar{a}g\bar{a}$ (стр. 73).

В разделе «Падение гласных» («Loss of vowels», 73—74) рассматриваются синкопа, апокопа, красис (*bōdkā* «at this time» < *buōdkā*) и гаплоглогия. Явление синкопы (например: *adril* «to be separated» < **adri-l-*) объясняется не только и, пожалуй, не столько качеством согласного (r , l , n , γ/g , y), сколько распределением ударения: серединный слог в трехсложном слове не имеет ударения, а потому гласный выпадает, и слово из трехсложного преобразуется в двухсложное. Из трех примеров, приведенных для иллюстрации апокопы, по крайней мере один может быть истолкован иначе: *yul* «to plunder», а форма *yul-*, может быть, является так называемой «участательной» формой от той же основы. Гаплоглогия иллюстрируется одним примером: *yūqurca* «as if kneading» < *yūqururca*.

В разделе «Консонанты» (стр. 75—92) не дается фонологическое описание состава согласных указанных пяти памятников; наличие того или иного согласного демонстрируется лишь в составе слова. В подразделе «Изменения согласных» («Consonant changes», стр. 92—102) рассматриваются следующие фонетические закономерности: назализация: *bān* > *mān*; деназализация $\bar{h}$: *ariltiŋ* < *ariltiŋ*, *tōrūgin* «your institutions» ~ *tōrūhin*; деназализация $\bar{n}$ — палатальный носовой $\bar{n}$ чередуется с y : *tay* «colt» < **tañ*; деназализация m : *tarban-qa* ~ *tarmānqa*; дентализация $\bar{s}$: *mis* ~ *mīš*; *sad* ~ *šad*; *asa* «climbing over» < *aša* и др.; чередование l ~ $\bar{s}$ (~ s): *ilgārū* < *iškārū*; ассимиляция согласных — прогрессивная ассимиляция: а) контактная: $\bar{c}\bar{c}$ < $*\bar{c}s$, б) дистанционная: *balbal* «statue» < **barmal* (ср.: Mong. *barimal*); регрессивная ассимиляция: а) контактная: tt < dt ; б) ди-

станционная: $\bar{c}$ — $\bar{c}$ < $\bar{s}$ — $\bar{c}$; диссимилиация согласных x : а) контактная: kl < gl , б) дистанционная: $b - n$ < $m - n$; контракция: h < $n\gamma/ng$; протеза: *yilpaŋut* «heroes» < **ilpaŋut* < **alpaŋut* (ср. Mong. *albaŋud* «government officials, officers»); трудно определить, какова природа начального y в подобных словах (ср. еще: *aŋač* ~ *yaŋač* ~ *yūaŋač* «деревцо»); эпентеза: а) internal hiatus: *biri-y-ā* «in the south», б) external hiatus: *anča yidmīs* «he sent (a message) as follows» < *anča yidmīs*.

Ударение в орхонско-тюркском языке, как полагает Т. Текин, было экспираторным и падало, как правило, на последний слог.

Морфология состоит из следующих основных разделов. I. Словообразование: 1) Суффиксация — отыменные имена, отыменные глаголы, отглагольные имена, отглагольные глаголы; 2) Слово-сложение — сочинительное, подчинительное; II. Словоизменение: 1. 1) Именное словоизменение — мн. число, принадлежность, согласование, падежи, 2) Местоимение, 3) Имя числительное, 4) Наречие, 5) Послелог, 6) Союзы, 7) Частицы; 2. Глагольное словоизменение: 1) глагольные имена, 2) герундий, 3) финитные формы: первичные, вторичные, сложные. Как явствует из этого перечня, имя существительное и имя прилагательное вообще не рассматриваются в качестве отдельных подразделений имени.

В подразделе «Отыменные имена» (стр. 103 и сл.) суффиксы перечисляются в алфавитном порядке без попытки их систематизировать по принципу выражаемых ими значений, без определения функций суффиксов и без подразделения производных от них слов на имена существительные и прилагательные.

В разделе «Словообразование» наряду с приемлемыми объяснениями этимологического состава различных слов иногда встречаются такие, которые требуют исправлений, например: *ilk* «first» разлагается на *il* «front» + *-k* (стр. 105), в то время как на стр. 147: *ilki* < *il* + *-ki*; в слове *arqa* морфема *-qa* рассматривается как «the dative-locative suffix» (стр. 105), хотя есть и другие, более вероятные гипотезы. Суффикс *-ŋi/-gi* приведен на стр. 104, в § 9, а его фонетическая разновидность *-qi/-ki* приведена на следующей странице, в § 15. Едва ли удовлетворит кого-нибудь и толкование функции суффикса *-li*: «to form nouns designating colors: *qizil*, «rot» (стр. 105). Безусловно разного происхождения суффиксы *-ti*, *-ti* в словах *amtī* «now» и *ekinti* «second, secondly»⁴.

Суффикс *-ā* в глаголе *bādzā-* (стр. 108) может с равным основанием рассматри-

⁴ Ср.: Г. И. Рамstedt, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, стр. 50—51.

ваться и как образующий глаголы от имен и как образующий глаголы от глаголов, так как *bādis*, по справедливому замечанию Т. Текина (стр. 103), имеет именное и глагольное значение — «design; to design».

Суффикс *-ad/-ād* (стр. 108) этимологически состоит из двух морфем *-a* + *-d*, что и следовало бы отметить; это же относится и к ряду других суффиксов, например, *-yar/-gār* (стр. 108), *-qa/-rkā* (стр. 109).

В подразделе «Отглагольные имена» (стр. 110 и сл.) не следовало бы помещать субстантивированные герундии и причастия, а равно герундивные формы, используемые в функциях наречий; таковы, например: *ara, basa, yana, tara*.

В разделе «Отглагольные глаголы» (стр. 115 и сл.) среди залоговых суффиксов рассматривается *-ma/-mā* (forms negative stems), что не имеет, конечно, отклонения к теме.

Словосложение имен (стр. 118) представлено единичными примерами, что свидетельствует об ограниченном употреблении этого вида словообразования в древнетюркских памятниках. Словосложение глаголов описано достаточно подробно и точно (стр. 118—120).

В подразделе «Падеж» (стр. 125 и сл.) рассматриваются именительный, родительный, винительный, дательный-местный, местно-исходный, директивный, эквативный, инструментальный, комитативный падежи. Директивный на *-yarul/-gārū* можно с известным основанием рассматривать как разновидность дательного падежа *-yal/-gā*, осложненного формантом *-rul/-rū*, который, по-видимому, функционально равнозначен суффиксу *-ral/-rā*.

Именные формы на *-ča/-čā* («эквативный падеж») и на *-lıyul/-ligū* («комитативный падеж») нельзя причислить к падежным суффиксам, так как они не отвечают требованиям определения этой грамматической категории; русская тюркологическая традиция первый формант рассматривает как наречеобразующий суффикс (о чем, кстати, пишет и сам Т. Текин на стр. 136); второй формант следует рассматривать как послелог-суффикс.

Подробно разработан раздел «Наречие» (стр. 150 и сл.), положение которого (как, впрочем, и почти всех других разделов) иллюстрируются хорошо подобранными примерами; однако к числу наречий меры и степени («Adverbs of degree», стр. 158—161) не следует относить имена прилагательные *bubšiz, qalısiz, kargāksiz, sansiz, aılık ~ aılıkı, kičig* и имя существительное *nāp*. Кстати замечу, что предложение, приведенное в качестве иллюстрации к наречию *idi* «never (with negative)»: *ötükān yıšda ytg idi yq ārmıs* (I concluded: a land better than the Ötükān Mountains does not exist at all) (КТ, s 4), С. Е. Малов переводил иначе: «... в Отыканской черни не было хорошего (т. е.

настоящего) владыки»⁵; слово *idi* как омоним значит: 1) господин, хозяин, 2) совсем (при отрицании)⁶.

Обстоятельно разобраны послелоги (стр. 162 и сл.), союзы (стр. 168 и сл.), частицы (стр. 172 и сл.), отглагольные имена (стр. 174 и сл.), причастия (стр. 176 и сл.). Не следует, однако, относить к причастиям форму на *-yma/-gmā* — это отглагольные прилагательные, поскольку эта форма не выражает временных отношений. Едва ли есть основания рассматривать форму на *-sar/-sār* как «the conditional gerund» (стр. 185).

«Финитные формы глагола» (стр. 186 и сл.) делятся на: 1) первичные финитные формы (желательно-повелительное наклонение); перфект (прошедшее-категорическое время изъявительного наклонения); 2) вторичные финитные формы. Последние образуются а) от глагольных имен (the verbal noun) на *-duk/-dük* и на *-siq/-sik* + суффикс принадлежности: *ābkā tāg-dük-üm* «I arrived in the camp» (буквально: «to the camp my having arrived»); *türük bodun öl-sik-ıp* «O Turkish people, you will perish» (буквально: «Turkish people — the necessity of thy death in the future»); б) от причастий на *-ur/-ür*, *-dāñ/-dāñi*, *-miş ~ mis*, *-ēi* (<**-yaci/-gāci*) + личные местоимения.

Предложенный Т. Текином принцип деления финитных глагольных форм на первичные и вторичные не подкреплён никакими аргументами. Если есть резон выделить в особую рубрику формы желательно-повелительного наклонения, то этого нельзя сказать о прошедшем-категорическом времени (по терминологии автора — перфект), которое, по общему признанию (с чем согласен и автор, см. стр. 188), восходит к глагольному имени и, следовательно, ничем не отличается от так называемых вторичных финитных форм. С другой стороны, «глагольные имена» на *-dik/-dik* и *-siq/-sik* вполне могут быть причислены к причастиям и, следовательно, указанное разделение финитных глагольных форм теряет смысл.

Раздел «Синтаксис» начинается с рассмотрения структуры фразы («phrase structure»); под термином «фраза» объединены традиционно выделяемые отечественным языкознанием два типа словосочетаний — атрибутивное словосочетание и предикативное словосочетание. Вопросы сложного предложения (стр. 211 и сл.), которое делится здесь на бессоюзное и союзное, изложены предельно кратко, и потому читатель не получает представления об истинном положении этого важнейшего раздела синтаксиса на материале языка памятников древнетюркской письменности.

⁵ С. Е. Малов. Памятник древнетюркской письменности. М. — Л., 1951, стр. 34.

⁶ Там же, стр. 379.

Грамматическая часть книги Т. Текина заканчивается грамматическим индексом, за которым идут тексты пяти исследованных памятников в латинской транскрипции и их английский перевод. Книга снабжена очень тщательно и квалифицированно составленным «Глоссарием», за которым следует «Библиография».

Общее впечатление от книги Т. Текина остается самым благоприятным. Тюркологи получили обстоятельное систематическое описание грамматического строя основных орхонских рунических памятников. Книга Т. Текина обогащает также

тюркологию в части изучения орхонских памятников — новой транскрипцией⁷, новым истолкованием и новым переводом отдельных трудных мест исследуемых памятников, что дает ей право занять свое место в истории лингвистического изучения орхонских памятников.

А. Н. Кононов

⁷ Эта транскрипция, правда, не всегда обоснована — см. об этом рецензию Дж. Клоусона на рассматриваемую книгу Т. Текина («Bull. of the School of Oriental and African studies», XXXII, pt. 2, 1969, стр. 415—416).

С. Н. Ионов. Родословное древо тюрков Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк. (Имя и глагол. Грамматические категории).—Ташкент, изд-во «Фан» УзССР, 1969. 204 стр.

Рецензируемая книга — самостоятельное монографическое исследование парадигм имени и глагола на материале одного из малоизученных и обширных памятников старотуркского языка XVII в., имеющих важное значение для воссоздания истории и исторической грамматики узбекского языка. Восполняя большой фактографический пробел в историческом изучении грамматических форм имени и глагола в узбекском языке, С. Н. Иванов предложил вниманию тюркологов во многом оригинальную их систематику.

Парадигмы имени и глагола эмпирически обстоятельно описаны во всех основных чертах на материале самых различных тюркских языков, однако теоретическим обобщением накопленных сведений грамматики занимаются все еще крайне мало. Поэтому результаты специальных исследований парадигматики имени и глагола продолжают оставаться в ряде случаев недостаточно согласованными между собой. По-видимому, именно это, как и собранные С. Н. Ивановым свежие фактические материалы, побудили исследователя взглянуть на эту насущную проблему тюркского языкознания по-новому и наметить свои пути решения ее.

Ставя эту проблему, С. Н. Иванов широко привлекает положения материалистической диалектики и диалектической логики и учитывает синтаксическую концепцию Потёбина. Систему грамматических форм, их значений и функций С. Н. Иванов предлагает рассмотреть в свете соотношения диалектических категорий предмета, свойства и отношения, в связи с чем он усматривает здесь такой изоморфизм: «грамматическая форма как нечто, имеющее отдельное бытие, представляет собой вещь, предмет (в философском смысле), обладающий определенными свойствами

(значения грамматической формы), которые проявляются в отношениях данной вещи (синтаксические функции грамматической формы)» (стр. 20). На этой основе С. Н. Иванов постулирует понятие субстанциональной грамматики. Сумму отношений любой формы он квалифицирует как систему ее значений, как ее сущность, обнаруживающую *протиповоречие* в отношении данной формы к самой себе. Такое толкование сущности грамматической формы С. Н. Иванов основывает на диалектическом учении о соотношении сущности и явления. Ссылаясь на положение В. И. Ленина о наличии противоречивых тенденций «...во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе)»¹, С. Н. Иванов заключает, что значения каждой грамматической формы нельзя понимать иначе, как неизбежно противоречивую их двойственность и проводит эту идею через всю книгу (стр. 24 и сл.).

Исходя из этого, С. Н. Иванов намечает в принципе единый подход и к вопросу о многозначности грамматических категорий, и к проблеме их системности. При этом С. Н. Иванов замечает, что сложный вопрос о соотношении и иерархии отдельных значений полисемантических грамматических форм не может решаться путем умозрительного извлечения из каждого их значения некоего инварианта, будто бы объединяющего все частные значения, поскольку, согласно диалектической логике, общее по отношению к единичному представляет собой не абстрактный инвариант, как это получается по теории единого общего значения Р. Якобсона, а ту конкретную систему, в которую включено данное единичное и в рамках которой оно функционирует.

¹ В. И. Ленин, Философские тетради, М., 1965, стр. 317.

Руководствуясь этими методологическими принципами, С. Н. Иванов характеризует парадигматику имени и глагола как систему значений каждой формы, как систему форм и значений в каждой грамматической категории, как систему грамматических категорий имени и глагола в отдельности и как соотношение этих двух систем. При этом каждую форму он рассматривает как средоточие противоречивых значений, связанных между собой и общими и противоречивыми сторонами, образующими систему.

Системное понимание парадигматики оказалось особенно плодотворным при осмыслении природы и соотношения грамматических форм имени. В I части книги (стр. 29—114) дана четкая грамматическая квалификация категорий числа, определенности/неопределенности, падежа и принадлежности. Обобщая результаты их раздельного описания, С. Н. Иванов приходит к выводу, что все эти категории взаимодействуют при выражении конкретно-предметных и отвлеченно-предметных значений. Это отражается в двойном противопоставлении форм числа (стр. 32—48), в разделении склонения на две группы падежей — выражающую взаимодействие конкретно-предметных и отвлеченно-предметных значений (основной, внимательный, родительный) и нейтральную к этим значениям (дательный, исходный, местный) (стр. 50—99), в противопоставлении аффиксов принадлежности всех трех лиц аффиксам 3-го лица в двух типах изафета — III и II (стр. 102—106, 112—113). Интересны наблюдения С. Н. Иванова над взаимодействием категорий числа и падежа, категорий падежа и принадлежности (стр. 182—183, 192—194).

Из всех грамматических категорий имени наиболее полно и тщательно охарактеризована в книге система падежей (см. стр. 51—55, 63—67, 70—72). Выявив противопоставленность двух групп падежей по выраженности в них взаимодействия конкретно-предметных и отвлеченно-предметных отношений, С. Н. Иванов устанавливает иерархию падежей по их индивидуальным значениям. Так, он прослеживает противопоставленность основного падежа (вне его противопоставления внимательному и дательному падежам), как падежа, выступающего в позиции подлежащего, всем остальным падежам и показывает его нейтральность в отношении противопоставления конкретно-предметных и отвлеченно-предметных значений (стр. 50—51, 97—98). В дательном, исходном и местном падежах С. Н. Иванов отмечает дифференцирующие их значения: в дательном — значение объекта «ответного» действия (наряду со значением направленности действия) (стр. 76—79), в исходном — значение обратной направленности действия (наряду со значением отложительности) (стр. 84—86). Такая интерпретация склонения в тюркских

языках позволила С. Н. Иванову показать все многообразие значений и функций падежей в стройной системе, объединяющей их между собой отношениями противопоставления.

Во II части рецензируемого труда, посвященной глаголу (стр. 115—174), предложена четкая систематизация категорий залога, времени и наклонения и лица в их взаимных связях. Здесь во многом свежа трактовка залога, в которой С. Н. Иванов усматривает противоречивую двойственность на том основании, что залоговые формы имеют лексико-грамматический характер. В этих формах С. Н. Иванов различает две функции: словообразовательную и грамматическую. В первой из них они рассматриваются как средство расширения объектных связей, во второй — как средство характеристики субъекта действия исходной основы (стр. 117—134). С. Н. Иванов прослеживает тесную связь между этими двумя их назначениями с учетом залоговых значений причастий (стр. 125, 127—130). Большое внимание уделяет он специфике соотношения залога с другими категориями глагола (стр. 183—185, 188—190).

Центральное место во второй части монографии занимает анализ категорий наклонения и времени. Многообразие временных форм староузбекского глагола рассмотрено в их взаимодействии, образующем систему противопоставлений. С. Н. Иванов выделяет два ряда противостоящих форм — настоящего-будущего времени и прошедшего времени, в пределах которых противопоставляются составляющие их формы по частным признакам. Так, характеризуя прошедшее категорическое время, он показывает, что в ряду прошедших времен прошедшее категорическое время различается по обозначению «компактного» нерасчлененного действия в прошлом, тогда как за пределами этого ряда оно выступает как форма с универсальным значением прошедшего времени вообще, по которому объединяются формы данного ряда и противопоставляются формам другого ряда (стр. 141—152). Три формы настоящего-будущего времени в противопоставлении друг другу дифференцируют значения настоящего и будущего времени, в то время как по отношению ко всем формам прошедшего времени функционировать, по мнению С. Н. Иванова, как недифференцированное настоящее-будущее время (стр. 138—141, 150—151).

Благодаря тому, что при грамматической квалификации объекта исследования С. Н. Иванов последовательно придерживается системного понимания, ему удалось, на наш взгляд, во многом по-новому осмыслить парадигматику узбекского имени и глагола, глубже вскрыть и обоснованно охарактеризовать природу каждой изученной им формы в отдельности и в их взаимных связях. Именно это состав-

ляет главное достоинство его монографии и выдвигает ее в разряд теоретических работ по тюркскому языкознанию. Предложенная С. Н. Ивановым теория грамматических значений в рамках многозначности парадигмы представляет, собственно, также и общелингвистический интерес.

Эта теория, как нам кажется, в принципе правомерна. Но с отдельными ее положениями трудно согласиться.

Взгляд на значения грамматической формы как на неизбежную противоречивую двойственность представляется надуманным, а попытка увязать его с диалектическим учением — явно схематичной. Все многообразие характера соотношения между значениями формы немисливо сводить только к дисгармонии и двойственности, да и вообще к какому-бы то ни было единому типу. Соотношение бывает здесь самым разным: оппозиция; иерархия во главе с одним ведущим значением; слабо выраженная связь, а то и отсутствие ее и т. п.

С. Н. Иванов преувеличивает в грамматических формах синтаксическое начало. По его мнению, их сущность состоит в синтаксических функциях, в которых реально проявляются значения, заложенные в этих формах как бы в потенции (стр. 20, 22). Такая точка зрения представляется правомерной лишь постольку, поскольку речь идет о синтаксически закрепленных формах, проявляющих свои значения исключительно по отношению к другим словам, которые взаимодействуют с ними, занимая определенную синтаксическую позицию. Такая точка зрения лишена основания в применении к формам, обслуживающим морфологию и не имеющим прямого отношения к синтагматике. Таковы, например, инфинитив на *-рак*, закрепленный за прилагательными как за частью речи, форма отрицания на *-ма* и формы времени глагола, предназначенные для уточнения самого содержания глагольной основы (а не слов, соотношенных с ней синтаксически). (Иное дело — формы собственно залогов, которые, бесспорно, являются синтаксически обуславливающими, хотя они и не закреплены за определенной синтаксической позицией, и некоторые формы собственно наклонений, например условного наклонения и отчасти императива, которые с полным основанием могут быть отнесены к числу синтаксически обуславливающих и закрепленных парадигм). Это — во-первых.

Во-вторых, синтаксически закрепленные парадигмы, будучи производными от синтаксических функций слова, воспринимаются и воссоздаются, очевидно, вне зависимости от своего происхождения и назначения именно как носители тех значений, которые за пределами самого синтаксиса лишаются смысла, а в полисемантических парадигмах и с точки зрения

своего формального выражения поставлены в полную зависимость от синтаксиса. Даже контекстно обусловленные частные значения парадигмы нередко осознаются как нечто характерное для нее самой. Условная поначалу связь между формой и ее производным значением, возникающим благодаря контексту, по мере употребления этой формы в ее новом значении постепенно превращается в устойчивую норму, и форма воспринимается уже как «законный» носитель этого значения (хотя эта связь на «законных» основаниях, т. е. формально, по-прежнему возникает только благодаря уникальным условиям реализации этой парадигмы). Это, помимо всего, вызвано общим режимом функционирования всякой значащей морфологической единицы в определенной системе, от которой только и зависит реальная природа этой единицы, хотя вхождение парадигмы в новое значение в эту систему и предопределяется ее происхождением, в нашем случае — уникальными условиями ее реализации. Ибо всякая инновация в значении слова и его формы либо принимается, либо отклоняется нормами языка, а впоследствии закрепляется и адаптируется в соответствующей морфологической системе вне зависимости от ее истории. Производное значение слова или морфемы, принятое в систему, адаптируется и выравнивается уже под ее воздействием, и это значение после адаптации вовсе необязательно должно совпадать с первоначальным. Система сама регулирует природу созданного с помощью синтаксиса значения. Многозначные формы в каждом из своих значений функционируют под контролем морфологической системы. Так что синтактизировать их, как это предлагает С. Н. Иванов, по-видимому, нет достаточных оснований.

Выделяя и квалифицируя некоторые частные лексически ограниченные значения дательного и местного падежей, отдельных форм залогов и времени, С. Н. Иванов мог бы более четко отграничить их от ведущих значений этих форм, проявляющихся независимо от характера лексического значения основы. Тогда противоречивость значений так называемого настоящего-будущего времени, повелительного и взаимного залогов, дательного и местного падежей могла бы быть объяснена взаимодействием собственно грамматического значения, выраженного соответствующей формой слова, с его лексическим значением. Например, судя по иллюстрациям, приведенным на стр. 139, можно было бы сделать вывод, что форма на *-а/-й* регулярно выражает значение ближайшего будущего времени лишь в глаголах типа *чык-* «выйти, пойти», *айт-* «сказать», выражающих законченное действие, или же в контексте типа *Таңда айртан, бир ай ага бараман* «Рано утром отправлюсь на охоту»; при отсут-

вии же этих ограничительных условий эта форма передает значение собственно настоящего времени, что для нее и является характерным.

Представляется в высшей степени спорным выделением форм дательного и местного падежей от имен типа *орта* «середина», *орин* «место», *йан* «сторона, бок», *ара* «промежуток», осложненных аффиксами принадлежности, в качестве так называемых послелогов-имен (стр. 94—96). Данные формы лексически тождественны с остальными словоформами тех же имен, а с точки зрения грамматической неразличимы от структуры, функций и значений тех же форм, образованных от остальных имен, обозначающих пространственные отношения. К тому же добрая половина образований, квалифицируемых С. Н. Ивановым как послелогов-имен, в одном и том же лексическом значении может быть употреблена и в постпозиции и самостоятельно, вне сочетания с предыдущим именем, что вовсе не свойственно послелогам: ср. *султаннинг алдына чыгып* «выйдя перед султаном» и *алдыма чыгып* «выйдя передо мной», *ордунун йанына келип* «подойдя к ставке» и *йаныга келип* «подойдя к тебе», *сувунун ортасыга* «в середину реки» и *ортабызга достлук бар арди* «между нами была дружба», где нет нарушения ни функций и значений показателей названных падежей и категории принадлежности, ни лексического тождества имен, осложненных этими показателями, следовательно, нет и оснований говорить об их превращении в послелог, тем более, что квалифицируемые формы в постпозиции выступают как замыкающий компонент изафета, т. е. как определяемое существительное.

Морфемосочетание *-урга* (стр. 75), выступающее как показатель целевого инфинитива, едва ли имеет прямое отношение к дательному падежу, из системы которого оно, судя по материалам уйгурского и татарского языков, выпало, вероятно, давно, во всяком случае до XVII в.

Субстантивацию причастий едва ли можно считать только окказиональным явлением и на этом основании отрицать ее, как это делает С. Н. Иванов (стр. 180). Если причастие регулярно выступает в синтаксических функциях собственно существительного и при этом на общих основаниях пользуется его парадигмами, то его соотносительность с собственно причастиями по форме едва ли может препятствовать его вхождению в состав существительных хотя бы на правах их аналога под воздействием грамматических норм.

Формы на *-гач* и *-гунча* выражают, видимо, относительное время, согласованное с временем последующего глагольного сказуемого (ср. стр. 154).

Форма *бошат-* «освободить» едва ли так монолитна, чтобы из нее нельзя было вычленить корневую морфему *боша* «освободиться» и аффикс каузатива *-т* (ср. стр. 131).

Исследование только выиграло бы, если бы лингвистическая литература по староузбекскому языку была привлечена шире, чем это сделано.

Тем не менее, монография С. Н. Иванова является крупным и ценным вкладом в теоретическое обобщение и генерализацию всего того, что сделано по данной теме применительно к тюркским языкам. Одновременно она полезна и как исследование по исторической грамматике узбекского языка.

А. А. Юдашев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПОСТОЯННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛТАИСТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

1. В соответствии с решением алтаистической секции XXIV Международного конгресса востоковедов, которое было принято 4 сентября 1957 г. в Мюнхене, с 25 по 28 июня 1958 г. в Майнце (ФРГ) состоялось первое международное совещание алтаистов¹. На этом совещании был создан Постоянный Международный алтаистический семинар (Permanent International Altaistic Conference, сокращенно — PIAC). Генеральным секретарем на первые пять лет был избран В. Хейсиг (ФРГ). Участники первого заседания договорились относительно организации ежегодных встреч с обсуждением проблем, вызывающих общий интерес. Второе заседание Алтаистического семинара проходило также в Майнце с 23 по 26 июня 1959 г., третье — в Бург-Либенштейне (ФРГ) с 26 июня по 1 июля 1960 г., четвертое — в Кембридже (Англия) с 12 по 16 июня 1961 г., пятое — в Блумингтоне (США, штат Индиана) с 4 по 9 июня 1962 г., шестое — в Хельсинки (Финляндия) с 4 по 8 июня 1963 г., седьмое — в Питерсберге (Голландия) с 29 августа по 3 сентября 1964 г., восьмое — в Вальсееде (ФРГ) с 30 августа по 4 сентября 1965 г., девятое — в Равелло (Италия) с 26 по 30 сентября 1966 г., десятое — в Манчестере (Англия) с 26 по 30 июня 1967 г., одиннадцатое — в Хёргольме (Дания) со 2 по 6 июня 1968 г., двенадцатое — в Берлине (ГДР) с 29 августа по 2 сентября 1969 г. Очередное, тринадцатое, заседание будет проходить в Страсбурге (Франция) с 25 по 30 июня 1970 г.

Отчет о первых трех заседаниях содержится в отдельной брошюре². Доклады и сообщения, сделанные на пятом заседа-

нии Семинара, составили один из томов урало-алтайской серии³, в котором они были сгруппированы по темам следующим образом: 1) жилище у алтайских народов; 2) музыка, культура; 3) распространение письма; 4) одежда и орнамент; 5) различные аспекты алтайской цивилизации, контакты с другими цивилизациями. Отчет о шестом заседании напечатан в журнале Финно-угорского общества⁴. В этом же томе в виде отдельных статей изданы тексты докладов Р. Р. Арата («Древнетюркские юридические документы»), А. Бодроглигети («Сайф-и-Сарай и хорезмийская тюркская литература»), П. Поуха («К проблеме „Сокровенной Истории“ монголов»), К. Сагастера и М. Хальтода («О некоторых выражениях для [понятия] „умирать“ в монгольских языках»). Материалы седьмого заседания PIAC, посвященного обсуждению широкого круга вопросов, связанных с лошадей и ее ролью в жизни алтайских народов, опубликованы в двух выпусках «Центральноазиатского журнала»⁵. Доклады, зачитанные на восьмом заседании, темой которого была «Охота у алтайских народов», изданы в одном из выпусков «Asiatische Forschungen»⁶. Материалы других заседаний пока не опубликованы. Темой девятого заседания были «Ранги и титулы», на десятом заседании обсуждалась тема «Феодализм в алтайском мире».

³ «Aspects of Altaic civilization. «Proceedings of the V meeting of the Permanent International Altaistic conference held at Indiana University, June 4—9, 1962», Bloomington, 1963 («Uralic and Altaic series», 23).

⁴ «Sitzungsberichte der 6. Arbeitstagung der Permanent International Altaistic conference in Helsinki 4—8.6. 1963», JSFOu, 65, 1, 1964, стр. 1—123.

⁵ «Proceedings of the VII meeting of the Permanent International Altaistic conference. 29 august—3 september 1964», «Central Asiatic journal», X, 3—4, 1965, стр. 141—338.

⁶ «Die Jagd bei den altaischen Völkern. Vorträge der VIII. Permanent International Altaistic conference vom 30.8. bis 4.9. 1965 in Schloss Auel», «Asiatische Forschungen», 26, 1968.

¹ Это решение мотивировалось тем, что в виду быстрого расширения алтаистических исследований и их все возрастающей важности, заседания с трехлетней периодичностью в рамках Международного конгресса востоковедов становятся недостаточными для обмена информацией и серьезного обсуждения большого количества общих и частных вопросов.

² Permanent International Altaistic conference. Arbeitsbericht 1958 bis 1960 (gedruckt als Manuskript, 32 стр.).

Кроме того, был заслушан ряд докладов, выходящих за пределы названной темы⁷. Доклады на одиннадцатом⁸ и двенадцатом⁹ заседаниях Семинара не были тематическими.

Помимо обсуждения научных докладов и сообщений, на заседаниях Семинара решались различные организационные вопросы. Так, на пятом заседании (Блумингтон, США) были уточнены некоторые общие принципы деятельности РИАС. Участники заседания согласились с тем, что алтаистические исследования не могут быть плодотворными без эффективного международного сотрудничества и что они должны охватывать не только лингвистические, но и исторические, этнографические, этногенетические и другие проблемы. В связи с этим были намечены следующие конкретные мероприятия: 1) установление тесного сотрудничества с алтаистами Японии и Кореи; 2) учреждение специальной службы алтаистических публикаций (реферирование литературы, издаваемой на японском, корейском, китайском, турецком, персидском, венгерском и польском языках как малоизвестных для широкого круга специалистов); 3) продолжение сбора данных, относящихся к алтайским народам, в латинских источниках; 4) создание небольшого организационного центра; 5) учреждение премии университета в штате Индиана, присуждаемой ежегодно за алтаистические исследования¹⁰. Генеральным секретарем РИАС на второй срок, до 1967 г., был избран Д. Синор (США). В официальном решении, принятом на этом заседании, отмечается, что существование Постоянного Международного алтаистического семинара способствует достижению взаимопонимания между разными народами. На седьмом заседании в Питерсберге (Голландия) было принято решение об издании специального информационного бюллетеня «Новости РИАС»; на десятом в Манчестере — прод-

лены до 1970 г. полномочия Д. Синора на посту Генерального секретаря РИАС и одобрена процедура избрания президентов заседаний-сессий: на каждом заседании избирается президент следующего заседания — представитель страны, в которой проводится очередная встреча алтаистов (обязанностью президента является осуществление всех организационных мероприятий).

Издание бюллетеня положило начало новому этапу в работе Алтаистического семинара, способствовало усилению обмена научной информацией и отчасти — определению основных направлений дальнейших исследований¹¹. Первый выпуск (июль 1966 г.) содержит краткие сообщения о заседаниях Семинара, об алтаистических исследованиях в ФРГ (стр. 5), Голландии (стр. 6), в Урало-алтайском отделе университета в штате Индиана (стр. 7), в Японии (стр. 8—13) и Венгрии (стр. 14, 15). Особое внимание в этом выпуске следует обратить на обзор деятельности японского Общества по изучению истории Центральной Азии и ежегодного собрания молодых алтаистов Японии за 1964—1965 гг.: к обзору приложен большой список опубликованных научных работ, преимущественно исторических. Во втором выпуске бюллетеня (март 1967 г.) помещена информация об алтаистических исследованиях в Голландии (стр. 6), о состоянии алтаистики в Японии, с перечнем исследовательских институтов, научных конференций и докладов (стр. 7—9), о поездке А. Рона-Таши в Чувашскую АССР осенью 1965 г. (стр. 15—16) и т. д. Содержание третьего выпуска (сентябрь 1968 г.) — отчеты о десятом и одиннадцатом заседаниях РИАС, сообщения о выходе в свет сборника статей памяти проф. Рагу Вира, подготовленного членами Семинара, о монголистике в ГДР (стр. 9—10), о тюркологических работах Фрейбургского университета (стр. 11—12), о публикации трудов РИАС (стр. 14). Четвертый выпуск (июль 1969 г.) включает в себя информацию о новых исследованиях в Институте по изучению доисламской истории Центральной Азии в Вене (стр. 2—4) и библиографические заметки (стр. 4—7); там сообщается также об Этимологическом тюркском словаре (до XIII в.), составленном Дж. Клоусоном и принятом в настоящее время к изданию.

Будучи первоначально объединением небольшого количества лиц, интересующихся различными вопросами алтаистики, Алтаистический семинар постепенно вырос в значительную международную организацию, получившую признание широкого круга специалистов во многих странах. Начиная с четвертого заседания,

⁷ Краткий отчет см.: «Permanent International Altaistic Conference, Newsletter», No. 3, September, 1968, стр. 2—4.

⁸ См. там же, стр. 4—5. Краткое изложение докладов см. в статье: E. S c h ü t z, The 11-th session of the Permanent International Altaistic conference (PIAC) in Horsholm, Denmark, 2—6 June 1968, «Acta orient. Hung.», XXII, 2, 1969, стр. 273—277.

⁹ См. программу двенадцатого заседания (рукопись; 9 стр.). Подробнее об этом заседании см.: ВЯ, 1970, 2, стр. 146—148.

¹⁰ Премия — медаль, которой награждаются наиболее выдающиеся алтаисты. С 1963 г. медали были удостоены семь человек: А. Мостэр (1963), Э. Хениш (1964), А. Ринчин (1965), Ю. Немец (1966), М. Рясаян (1967), Л. Липети (1968), Дж. Клоусон (1969).

¹¹ Бюллетень издается Урало-алтайским отделом университета в штате Индиана.

в работе Семинара принимают участие представители социалистических стран: на четвертом заседании была представлена Венгрия, на пятом — Венгрия и Польша, на шестом — Венгрия, Польша и Чехословакия, в работе восьмого, девятого и двух последних заседаний участвовали также алтайцы Советского Союза. Кста-ти, на двенадцатом заседании советская делегация была наиболее представительной.

II. Основной целью создания международной организации алтаистов являлось объединение усилий языковедов, историков, археологов для всестороннего изучения так называемой алтайской проблемы. Естественно, что вопрос о характере связей между алтайскими языками занимал в программе заседаний центральное место (общая дискуссия на одном из первых заседаний; А. Рона-Таш «Некоторые замечания относительно алтайской теории», 10¹²; С. К. Кеңесбаев «К вопросу о тюркско-монгольской языковой общности», 12; И. В. Кормушин «Явление фузии в истории алтайских языков и его значение для решения проблемы общности этих языков», 12). Необходимо отдать должное трезвости и осторожности организаторов Семинара, заявивших с самого начала о том, что указанный вопрос нельзя пока считать решенным. В этой связи хотелось бы отметить неправомерность проявляющейся кое-где тенденции разделять специалистов, занимающихся изучением алтайских языков, на два лагеря, алтаистов и антиалтаистов, и отлучить последних от алтаистики. Существуют не алтаисты и антиалтаисты, а два разных подхода к решению одной проблемы. Соподобия и сходства, обнаруживаемые в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, могут быть объяснены либо генетическими связями, либо продолжительными и многократными контактами и смешениями, причем наличие генетических связей отнюдь не исключает роли контактов и смешений в образовании материальной близости. Таким образом, даже ортодоксальный алтаист должен заниматься выделением заимствований, так как в противном случае он рискует восстановить не имеющие никакой достоверности праформы и выдать за регулярные фонетические соответствия закономерности фонетического освоения заимствованных слов.

Одним из перспективных направлений в поисках решения алтайской проблемы было признано исследование лексики и лексических связей в пределах разных тематических групп, чем и объясняется предпочтение тематическим заседаниям (ср. названия далеко не всех докладов: М. Эштергар «Слова, относящиеся к жилищу, в алтайских языках»,

5; А. Рона-Таш «Предварительное сообщение об изучении жилища у алтайских народов», 5; О. А. Константинова «Лексика, связанная с обозначением жилища, в тунгусо-маньчжурских языках», 12; Р. Р. Арат «О средствах выражения ориентации в тюркских языках», 5; В. И. Цинциус «Тунгусо-маньчжурские материалы, относящиеся к лошади»; 7; И. Циртаутас «Любимые названия мастей у тюрков», 7; Дж. Клоусон «Лошади у тюрков и монголов и их использование. Этимологическое исследование», 7; Д. Снор «Заметки о терминах, связанных с лошастью, у алтайских народов», 7; Дж. Клоусон «О некоторых древних тюркских словах, связанных с охотой», 8; Э. Шютц «К вопросу о венгерских названиях соколов», 8; С. Якчид и К. Р. Боуден «Заметки о рангах и титулах монгольской знати в эпоху маньчжурского завоевания», 9; В. М. Насилов, «Ономастика, связанная с бытом и обычаями тувинских, казахских и уйгурских охотников», 9; П. Поуха «Ранги и титулы у народов монгольских земель в ходе исторического развития»; 9; Э. Трыяский «Ранги, титулы и должности в некоторых армяно-кыпчакских текстах», 9; В. Д. Колесникова «Названия частей тела в тунгусо-маньчжурских и других алтайских языках», 12 и т.д.). Предложенные темы — «Жилище», «Одежда», «Лошадь», «Охота», «Ранги и титулы» — обсуждались не только в лингвистическом аспекте, в работе заседаний принимали активное участие историки, этнографы и искусствоведы. В итоге была дана довольно подробная характеристика разных типов жилищ и их внутреннего убранства, одежды и обуви, принадлежностей охоты, музыкальных инструментов, мелодий, песенных и театрализованных представлений (Ш. Каман «Монгольские жилища с особым выделением жилищ Внутренней Монголии», 5; А. Габен «Заметки о жилище алтайских народов. Уйгурское государство Хочо, 850—1250 гг.», «Заметки об одежде и украшениях. Уйгурское государство Хочо», 5; П. Аалто «Музыка у монголов: введение», «Формы художественного выражения в калмыцких песнях», 5; А. Бомбачи «О древних турецких драматических представлениях», 5; Э. Эсия «Лошадь в искусстве тюрков»; 7; У. Иогансен «Седло у алтайских народов», 7; Г. М. Василевич «Лошадь в эвенкийском фольклоре», 7; Дж. А. Бойль «Монгольский охотничий ритуал», 8; С. Якчид, К. Р. Боуден «Заметки об охоте у некоторых кочевых народов Центральной Азии», 8; Д. Снор «Замечания об экономических аспектах охоты в Центральной Евразии», 8; Г. М. Василевич «Роль охоты в истории тунгусо-маньчжурских народов», 8 и т.д.).

Другое направление алтаистических исследований — проследивание ранних японо-алтайских, тюркско-тохарских,

¹² Цифры после наименования доклада — порядковый номер заседания.

тюркско-иранских, алтайско-палеоазиатских и других контактов (К. Цегледи «Шаркел: древнетюркское слово, обозначающее дом», 5; Ш. Мураяма «О некоторых японских культурных словах алтайского происхождения», 5; В. Винтер «Тохары и тюрки», 5; А. Рона-Таш «Тохарские элементы в тюркских языках», 12; Д. Либби «Некоторые соображения о культурных связях палеоазиатских и урало-алтайских народов», 5; К. М. Мусаев «Некоторые наблюдения над историческим взаимодействием тюркских языков с нетюркскими», 12). Роль культурных связей была особо подчеркнута на девятом заседании в ходе обсуждения темы «Ранги и титулы». По мере расширения поисков в указанном направлении становится все более очевидным, что языковые последствия контактов тюрков, монголов и тунгусо-маньчжуров с неалтайскими народами значительны и что учет их может облегчить решение некоторых спорных частных вопросов алтаистики.

В большом количестве докладов производился сравнительный анализ фонетических явлений, слов и грамматических форм либо под знаком проверки и критики алтайской гипотезы, либо с целью ее уточнения и обоснования (Г. Дёрфер «Соответствие тюркских долгих гласных в тунгусских языках», 10; Н. А. Баскаков «Происхождение некоторых глагольных форм, общих для тюркских и монгольских языков», 11; В. И. Цинциус «К этимологии слова „ребенок“ в тунгусо-маньчжурских языках», 11; Т. Текин «Об альтернации $l \sim sh$ в тюркских и монгольских языках», 12; Г. Д. Санжеев «К вопросу о так называемых ротапизме и ламбдапизме в алтайских языках», 12; А. Н. Кононов «Показатели множественности и собирательности в тюркских языках», 12 и т. д.).

На последних заседаниях Семинара отчетливо проявилось стремление к более глубокому изучению тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков порознь. В этом отношении особенно примечательны одиннадцатое и двенадцатое заседания (Л. Беше «Замечания относительно спряжения в среднемонгольском языке», 11; А. Рона-Таш «Некоторые проблемы древнетюркского языка», 11; И. Циргаутас «Композитные глагольные образования в узбекском языке», 12; С. Атамирзаева «К вопросу о происхождении урмлаута в тюркских языках», 12; А. Абдуллаев «Формы развития дательного падежа в тюркских языках», 12 и т. д.). Правда, на последнем из них были широко представлены также алтаистические доклады сторонников алтайской гипотезы (О. П. Суник «К вопросу о возвратных местоимениях в алтайских языках», В. И. Цинциус «Термины родства в алтайских языках», Г. П. Мельников «Строй алтайских языков как система» и т. д.).

В докладе Н. Ямада, прочитанном на девятом заседании, была дана общая характеристика нынешнего состояния алтаистических исследований в Японии.

Многие доклады не имели прямого отношения к алтайской проблеме и представляли собой своеобразные отчеты о текстологических исследованиях, обзоры исторических и художественных текстов, юридических документов и памятников письменности или же комментарии к ним (Я. Экман «Состязание в стихах между музыкальными инструментами. Из чагатайской литературы XV века», 5; К. Ян «О дополнительных персидских источниках для монгольского периода истории Ирана», 5; Н. Ямада «Личные печати и знаки на уйгурских документах», 5; О. Прицак «Первый оригинальный хазарский документ», 10; А. Габен «Исторические сведения из древнетюркских рукописей», 11; Г. Хазан «Об одном месте в надписи в честь Тоньюкука», 12; П. Цие «О несторпанских тюркских текстах из Турфана», 12; В. Дримба «К вопросу о новом издании „Codex Cumanicus“, 12 и т. д.). В ряде докладов, не имевших традиционной алтаистической направленности, рассматривался вопрос о происхождении, развитии и распространении систем письма, использовавшихся и используемых разными алтайскими народами (А. М. Щербак «Неизвестные надписи на камнях из Хумары и проблема рунического алфавита западных тюрков», 4; Дж. Клоусон «Распространение письма в алтайском мире», 5; Э. Шютц «Заметки об армяно-кыпчакском письме и его исторической основе», 5; Дж. Клоусон «Происхождение тюркского рунического алфавита», 11).

Разумеется, приведенные выше доклады и темы не исчерпывают всего многообразия тематики двенадцати прошедших заседаний. Мы назвали часть докладов, чтобы создать представление об основном круге вопросов, интересовавших участников Семинара, и о важнейших направлениях его работы.

Современная алтаистика заключает в себе огромный комплекс научных знаний — филологических, исторических, археологических, искусствоведческих, этнографических, углубление которых позволит лучше раскрыть этнические и языковые процессы, происходившие в пределах алтайского ареала и сыгравшие важную роль в истории Евразии. Тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, енисейские, палеоазиатские, индоевропейские (иранские, тохарский, санскрит), тибетский и многие другие через непосредственные соприкосновения или благодаря интенсивным культурным связям их носителей неоднократно вступали в контакты, приводившие к взаимопроникновению лексических и морфологических элементов и к формированию об-

щих структурных черт. Алтайский ареал стал местом взаимодействия не только разных языков, но и разных культур, религий, хозяйственных укладов. Шаманизм, буддизм, манихейство, несторианство в той или иной мере существовали на его территории и оставили заметный след в культуре, искусстве, в языках. Естественное следствие соприкосновения разных культур — необычайное разнообразие систем и видов письма: пиктографическое, «квадратное», руническое, буквенное (согдийское, уйгурское, манихейское, сирийско-несторианское, брахми, арабское). Едва ли необходимо доказы-

вать, что дальнейшее развитие наших знаний о столь сложном и многостороннем объекте, каким является «алтайский мир», будет в немалой степени зависеть от делового сотрудничества ученых разных стран¹³.

¹³ При окончательном оформлении данного очерка были учтены замечания А. Н. Кононова и использованы материалы, полученные от А. Бомбачи и Э. Шютца, которым автор выражает свою глубокую благодарность.

А. М. Щербак (Ленинград)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

24—25 февраля 1970 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР проходила научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Во вступительном слове С. Д. Кацнельсон указал на то огромное значение, которое имеет освоение ленинского теоретического наследия для постановки новых задач во всех областях науки, в частности в науке о языке. А. В. Десницкая в докладе «Об историческом содержании понятия „диалект“» подчеркнула, что учение В. И. Ленина о языке и нации содержит основные теоретические предпосылки для разработки проблемы социальных функций языка в процессе развития человеческого общества. В истории языков развитие диалектных явлений находится в обратном отношении к развитию обобщенных форм устной речи. Это соотношение не является постоянным и полностью зависит от конкретных социально-исторических условий. Сложение обобщенных форм в целом должно иметь, вероятно, более универсальное значение, так как оно в большей степени соответствует направлению социального прогресса. Однако в определенные эпохи и в определенных исторических условиях образование диалектных различий может получить характер основной закономерности развития языковых отношений. Указывая, что за основу социологической трактовки проблемы диалекта принимается тезис о соответствии диалектных границ границам феодальных территорий, докладчик, исходя из современного уровня диалектологии и социальной истории, усматривает основной недостаток этой теории в абсолютизации одного из возможных при феодализме типов диалектных явлений, тогда как сложность проблемы диалектных границ коренится в многообразии общих фактов и особых условий исторического порядка, определяющих характер и степень диалектной вариантно-

сти на территории распространения каждого языка. В заключение доклада предлагается краткий обзор типов диалектных отношений, складывавшихся на разных стадиях общественного развития.

Доклад Н. З. Котеловой «Эмпиричность языка как источника знаний о мире» был посвящен вопросу о роли языка в научном познании. Сознательное и целенаправленное обращение к языку, представляющему собой естественную модель мышления и деятельности, может служить эффективным методом научного познания. В большей или меньшей степени, в основном, в зависимости от уровня структуры языка, информативны как отдельные значащие элементы и отношения, так и микросистемы и система в целом. Результаты лингвистического анализа языковых фактов, соответствующих исследуемому фрагменту действительности (дифференциация и определение значений, компонентный анализ, построение семантических и словопроизводительных гнезд и полей, анализ грамматических категорий и т.д.) представляют собой весьма ценные для этого фрагмента языковые данные. Они помогают установить или существенно уточнить проблематику исследуемого вопроса и наметить направление для их описания как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне.

Доклад О. П. Суника «Марксистско-ленинская теория нации и ее значение для языкового строительства в СССР» посвящен анализу вклада В. И. Ленина в историко-материалистическую теорию наций, национальных движений и национальных языков. Открыв закон неравномерного развития капитализма на его последней монополистической стадии и указав на возможность и неизбежность победы социалистической революции сначала в нескольких или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране, В. И. Ленин сделал вывод о возможности сложения и развития наций и на-

циональных языков, минуя капиталистическую стадию развития общества. Ленинская национальная политика, марксистско-ленинское понимание общественной природы и роли языка, закономерностей развития и взаимодействия языков на разных этапах истории общества составляет политическую и теоретическую основу языкового строительства в СССР. Языковое строительство предполагает целенаправленную и планомерную работу, которая осуществляется в нашей многонациональной стране в области создания и совершенствования письменности, создания и развития литературных языков, внедрения их в практику культурно-просветительной и учебно-воспитательной работы среди различных слоев трудящихся. Языковое строительство — это не только лингвистическая практика, но и большая лингвистическая теория в их единстве и взаимодействии. Опыт языкового строительства в СССР, как и решение национального вопроса в целом, имеет большое значение для многих стран современного мира, особенно для народов, вставших на путь свободного национального развития, на путь демократии и социализма.

С. Д. Кацнельсон в докладе «Категории языка и категории мысли» отметил принципиальное значение мыслительных категорий для понимания структуры языка. Логика не дает нам готового реестра элементарных мыслительных категорий, лежащих в основе языка, и выявление этих категорий должно быть поэтому делом не только логика, но и лингвиста. Элементарные мыслительные категории непосредственно не совпадают с грамматическими. Необходимо разработать специальную методiku анализа грамматических категорий с целью отсоединения содержащихся в них вторичных, собственно грамматических функций от мыслительных категорий. Кроме того, следует учитывать, что наряду с «явной» грамматикой, представленной в грамматических формах, существует еще грамматика «скрытая», категория которой имплицитно содержится в значениях слов. На конкретном материале докладчик показал, чем отличаются элементарные категории мысли от сложных категорий научного мышления. Сеть элементарных мыслительных категорий определяет, по мнению докладчика, семантическую базу универсального компонента языковой структуры.

Н. Д. Андреев выступил с докладом «Отражательная функция языка и социологический базис вероятностно-структурного анализа». Докладчик подчеркнул, что одним из кардинальных вопросов языковедения, тесно связанных с выводами из ленинской теории отражения, является вопрос о соотношениях между действительностью, мышлением, системой речи и системой языка. Изменение удель-

ного веса каких-либо объектов или явлений социальной действительности находит прямое отражение в более или менее адекватном сдвиге соответствующего вероятностного распределения внутри системы речи. Характерной чертой современного языкового развития является то, что основным каналом осуществления отражательной функции языка во все большей степени становятся специальные подязыки. Все системы подязыкового варьирования связаны с различными условиями коммуникации (наука, техника, искусство, спорт, быт и т. д.). Отражение действительности в подязыковых параметрах системы речи имеет прямой и первичный характер; реализация отражательной функции для языка в целом есть опосредованное следствие этого первичного процесса. Сперва возникают сдвиги вероятностного распределения в подязыковой системе речи, и только после их устойчивого закрепления они отражаются в виде новых вероятностных дифференциальных признаков на уровне языка. В этом смысле можно и нужно говорить о социологическом базисе структурно-вероятностного анализа.

Освещению той огромной роли, которую сыграла ленинская забота о развитии лексикографии после Октябрьской революции в России был посвящен доклад сотрудников Словарного сектора ИО ИЯ В. П. Петушкова и Е. А. Левашова «Ленин и словари». Ленинское отношение к языку органически связано с ленинской концепцией о развитии социалистической культуры и преемственности классического наследия. Ратуй за создание словаря современного русского языка от Пушкина до Горького, В. И. Ленин как бы указывал генеральный путь развития литературного языка. Как видно из писем к Е. Литкенсу, А. Луначарскому, М. Покровскому, В. И. Ленин хотел видеть «словарь» для пользования (и учения) всех, т. е. рассчитанный на самые широкие слои населения. Заботясь, прежде всего, о широких кругах читателей и требуя привлечения к составлению словаря «лучших филологов», В. И. Ленин предлагал сделать его кратким («краткий», «малый», «Лярусс»), образцовым, современным; следовательно, с очень строгим отбором лексики. Подготовкой новых лексических материалов, как было указано в докладе, занимались молодые филологи, привлекались и студенты-старшекурсники. В годы, исполненные напряженнейшей государственной и партийной деятельности, В. И. Ленин находил время уделить пристальное внимание проблеме создания словаря современного русского языка. Использование материалов, хранящихся в Центральном папгархиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в архивах Академии наук и ИРЯ АН СССР, дало возможность докладчикам убедительно по-

казать, что нет такого количества ленинских документов по какому-либо другому аналогичному вопросу, как по поводу словаря русского языка. За краткими строчками ленинских рекомендаций стоят важные теоретические положения, которые и по сегодняшний день обогащают советское языкознание.

В докладе Н. М. Меделеев «К вопросу о ближайших задачах лексикографической разработки языка произведений В. И. Ленина» особо была подчеркнута необходимость и важность создания словаря языка произведений В. И. Ленина на его родине, на его родном русском языке. Нынешний высокий практический и теоретический уровень лексикографической работы в нашей стране является прочной основой для создания такого словаря. Наиболее актуальной задачей лексикографической разработки языка произведений В. И. Ленина является, по мнению докладчика, подготовка первой ступени — создание специальных кратких тематических словарей, например, словарей философской, экономической и политической лексики. Словарь же в целом должен мыслиться как пособие при изучении трудов В. И. Ленина, основ марксизма-ленинизма, философии, методологии общественных наук, теории и практики социализма. Прекрасное обеспечение источниками в виде Полного собрания сочинений В. И. Ленина в 55 томах, накопленные за многие годы многочисленные извлечения из текстов произведений В. И. Ленина создают надежную базу для создания полного словаря языка произведений В. И. Ленина.

Характеристике стилистического многообразия ленинского памфлета — острого, публицистического оружия, был посвящен доклад Г. П. Князьковой «О стилистических особенностях ленинского памфлета» (построенный на материале работ В. И. Ленина «Что такое „друзья“ народа и как они воюют против социал-демократов?» и «Пролетарская революция и ренегат Каутский»). Исключительное знание В. И. Лениным русского языка во всех его разновидностях и стилях предопределило, по мнению докладчика, выбор наиболее приспособленных к задаче характеристики слов и выражений (нейтральных и книжных с собственной оценочностью, слов, обладающих экспрессивной окраской, принадлежащих разговорной речи и т. д.). Определяющие черты образов, как было показано, в докладе, в памфлетах В. И. Ленина не только прямо и резко названы, но и наглядно показаны. Для этого используется образность двоякого рода: образ посредством слов и образность в слове. Стилистическая палитра В. И. Ленина отличается исключительным богатством красок.

С. В. Смирницкая, И. О. Гецадзе
(Ленинград).

29 января 1970 г. в Ленинграде состоялось объединенное заседание Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ЛО Института языкознания АН СССР и Ленинградского гос. ун-та им. А. А. Жданова, посвященное 75-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова.

Открыл заседание академик М. П. Алексеев. В своем вступительном слове он отметил, что в течение нескольких десятилетий деятельность В. В. Виноградова была тесно связана с Пушкинским домом. Филолог энциклопедических знаний, с именем которого связана целая эпоха в развитии советского языкознания, В. В. Виноградов на протяжении всей жизни обращался также и к важнейшим проблемам литературоведения. Целые циклы исследований посвящены им творчеству Карамзина, Пушкина, Гоголя, Достоевского; большое внимание уделял он анализу языка и стиля писателей. Пушкинведение в особенности обязано трудам В. В. Виноградова, — отметил М. П. Алексеев. Его книги «Язык Пушкина» и «Стиль Пушкина», текстологические работы о Пушкине, редактированный им четырехтомный «Словарь языка Пушкина», его работы об отдельных пушкинских произведениях стали поистине классическими. М. П. Алексеев подчеркнул значение трудов В. В. Виноградова в области теории художественной речи.

С докладом об основных направлениях лингвистических исследований академика В. В. Виноградова выступил Ю. С. Сорокин. Докладчик отметил тот вклад, который внес В. В. Виноградов в современную науку о русском языке: им были открыты новые сферы исследования, получившие за последние десятилетия особую актуальность в советском языкознании. Благодаря трудам В. В. Виноградова выделилась в самостоятельную дисциплину история литературного языка. С появлением «Очерков по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» можно вести отчет самостоятельной жизни этой дисциплины. В. В. Виноградовым впервые была предпринята попытка развернутого синтетического обзора, в основе которого лежало убеждение, что каждый сколько-нибудь развитый литературный язык представляет собой единую и вместе с тем развернутую стилистическую систему. Благодаря В. В. Виноградову во многом определились специфические контуры стилистики языка, основывающейся на историческом подходе к языковым явлениям, а не на субъективных и абстрактных оценках.

В своем докладе Ю. С. Сорокин подробно остановился на научных традициях, которые питали творческую мысль В. В.

Виноградова. Докладчик упомянул также о постоянном интересе В. В. Виноградова к новым направлениям системного и структурного изучения языка. В то же время историзм и системность как методы исследования никогда не применялись ученым в отрыве друг от друга.

В докладе говорилось и о неизменно находившихся в центре внимания В. В. Виноградова вопросах речевой культуры и языковой нормы: Виктору Владимировичу были одинаково чужды проявления абстрактного пуризма и не менее абстрактного «антипуризма», провозглашающего правомерность существования любого возникающего в языке факта, не поддающегося регулированию со стороны языковедческой науки.

Одной из центральных тем исследований В. В. Виноградова Ю. С. Сорокин назвал изучение преобразования системы литературного языка в связи с формированием и развитием языка народности и нации. Докладчик отметил преодоление метафизического подхода к проблеме литературного языка, попытки вскрыть «неоднородность» общего понятия «литературный язык».

В своем сообщении Ю. С. Сорокин назвал несколько основных «героев» научного творчества В. В. Виноградова, подчеркнув всем известный универсализм ученого. Это, во-первых, слово — целостная единица языковой системы, рассматриваемая ученым как сложная и многослойная структура. Во-вторых, это изучение языка и стиля художественной литературы, одной из лабораторий, в которых объединяются, отбрасываются и заново создаются формы языкового выражения. Исследование языка художественной литературы было неразрывно связано с общей проблематикой истории литературного языка.

Изучение речевых структур в поэтическом произведении ставило перед ученым проблему художественного образа. В этой сфере исследования Ю. С. Сорокин отметил «третьего героя» трудов Виктора Владимировича — «образ автора». Эта тема — кардинальная тема поэтики, которую В. В. Виноградов не считал возможным ни ограничивать теорией поэтической речи, ни растворять в общей теории литературы.

Заключая обзор научного творчества В. В. Виноградова, Ю. С. Сорокин характеризовал это творчество как единую и целостную деятельность, обнаруживающую внутреннюю органичность и целостность при всем разнообразии ее устремлений.

В своем докладе «Виктор Владимирович Виноградов на кафедре русского языка в Петроградском — Ленинградском университете» Н. А. Мещерский дал очерк двадцатилетней деятельности ученого. Докладчик сказал, что ленинградский период в деятельности В. В.

Виноградова (с 1914 по 1930 и в 1944—1948 гг.) в творческой биографии ученого является не менее существенным, чем московский; в этот период были заложены основы многочисленных исследований, реализованных им впоследствии. Н. А. Мещерский характеризовал основные труды, осуществленные В. В. Виноградовым в стенах Петроградского — Ленинградского университета; на первых порах внимание ученого привлекали древнерусские литературные памятники, в дальнейшем — проблемы поэтической речи, изучение языка и стиля произведений художественной литературы. Н. А. Мещерский отметил, что в ленинградском периоде своей деятельности В. В. Виноградов выступил как прямой продолжатель и научный наследник академика А. А. Шахматова, как младший соратник Л. В. Щербы. Подобно Шахматову, В. В. Виноградов уже в молодые годы обладал энциклопедической широтой филологических знаний, умением проникнуть в глубину изучаемого языкового материала, стремлением к стройной систематизации и исчерпывающей классификации. Подобно Л. В. Щербе, В. В. Виноградов отличался творческой интуицией, помогавшей ему в точных лингвистических исследованиях, стремлением к собственным решениям поставленных задач, постоянным протестом против апрорных положений, против схемы и предвзятости в подходе к явлениям языка. В. В. Виноградов обладал умением проникнуть в сущность языковых явлений, обнажая причинную связь между ними. Это умение, заметил Н. А. Мещерский, могло быть достигнуто только сочетанием титанического трудолюбия со смелым научным предвидением. В докладе Н. А. Мещерского получил освещение и период, начавшийся в 1930-х годах, когда главным предметом исследований ученого становится грамматический строй современного русского литературного языка во всех его аспектах. Как и Ю. С. Сорокин, Н. А. Мещерский подчеркнул, что в работах В. В. Виноградова органически сочетается синхронный анализ языковой структуры со своеобразным его «просвечиванием» в диахроническом плане. В этом также следует усматривать наследие Петербургско-Ленинградской филологической школы. В докладе было рассказано о деятельности В. В. Виноградова как заведующего кафедрой русского языка Ленинградского университета, должность, на которую В. В. Виноградов был избран осенью 1944 г. Н. А. Мещерский рассказал и о преподавательской деятельности В. В. Виноградова, отметил его заслуги в подготовке аспирантов, из которых многие продолжали работать научными сотрудниками не только ЛГУ, но и других вузов страны.

В докладе «О грамматических трудах академика В. В. Виноградова» Э. И.

Каратаева отметила, что в широком кругу интересов ученого выдающееся место занимают вопросы грамматического строя современного русского литературного языка. В своих стилистических исследованиях В. В. Виноградов также уделял большое внимание явлениям грамматики. Началом работ грамматического цикла было сообщение, сделанное В. В. Виноградовым в Ленинградском лингвистическом обществе в 1927 г., в котором он изложил свою концепцию частей речи. В докладе Э. И. Каратаевой прослеживается углубление и конкретизация этой концепции в дальнейших работах ученого.

Особое внимание в докладе было уделено капитальному труду В. В. Виноградова «Русский язык», где излагается стройная и законченная система — «грамматическое учение о слове». Э. И. Каратаева отметила, что в отличие от классических трудов Востокова, Шахматова это не описательная грамматика, а углубленное исследование сложной природы слова, как она выражается в грамматических значениях частей речи, в разнообразных формах изменения слов и способов словообразования. Характеризуя этот труд, Э. И. Каратаева отмечает внимание автора к наиболее сложным вопросам русской грамматики: соотношение лексического и грамматического в структуре именных и глагольных слов, развитие имени прилагательного как категории качества, категория состояния, модальные слова и т.д. Э. И. Каратаева отметила, что в книге собран богатейший материал, тщательно классифицированный, а также дан критический обзор учений о слове и классах слов в русской грамматической традиции второй половины XIX в. и первой трети XX в. Э. И. Каратаева обратила внимание на то, что в основе всех исследований В. В. Виноградова, посвященных грамматическому строю, лежит мысль о взаимообусловленности звеньев языковой структуры. Отсюда специфические черты виноградовского синхронизма.

Э. И. Каратаева остановилась на последующей серии работ, посвященных центральному вопросу грамматической теории — проблемам словообразования в их отношении к грамматике и словарю, синтаксиса предложения и словообразования, теории модальности и предикации. Подробно было рассказано о трудностях, которые претерпело создание Академической грамматики. Принципиально новое в теории словосочетания В. В. Виноградова заключается в том, что словосочетание сопоставляется как с предложением, так и со словом, но при этом не отождествляется и не смешивается с ними. В докладе было сказано о том существенно новом, что внес В. В. Виноградов в содержание понятия «предикации». Э. И. Каратаева подчеркнула, что из синтак-

сических исследований В. В. Виноградова возникло новое направление в изучении синтаксиса словосочетания и синтаксиса предложения, в котором работают успешно десятки языковедов.

После докладов с воспоминаниями о тобольском периоде жизни В. В. Виноградова выступил Н. И. Прудков. Он рассказал о том, как в военные годы, сотрудничая в Педагогическом институте, эвакуированном в Тобольск, Виктор Владимирович много и неутомимо работал, отличаясь своей обычной требовательностью к себе и другим; вспоминал, с каким вниманием он относился к работе младших товарищей.

Е. В. Невзглодова (Ленинград).

*

13 января 1970 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись чтения, посвященные памяти академика Виктора Владимировича Виноградова.

Во вступительном слове член-корр. АН СССР Ф. П. Филин охарактеризовал творческий путь академика В. В. Виноградова и ту роль, которую сыграли его труды в науке о русском языке.

Доклад Н. И. Толстого «Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературных языков» был посвящен анализу ранних работ В. В. Виноградова. В работах 20-х годов, как показал докладчик, В. В. Виноградов, вслед за академиком А. А. Шахматовым, выявил сложную систему славянизмов в русском языке. Затем докладчик изложил систему взглядов В. В. Виноградова середины 30-х годов, сформулированную в известной книге «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.». По мнению докладчика, теория о двух типах древнерусского литературного языка, выдвинутая В. В. Виноградовым в 1958 г. на IV съезде славистов, не нашла своего отражения в его поздних и предсмертных работах, в которых он, обогащенный новыми материалами и наблюдениями, говорил о процессе «слияния и взаимодействия русской и церковнославянской стихий в сложной структуре вновь складывающегося древнерусского литературного языка», принимая слова, вслед за А. А. Шахматовым, церковнославянскую основу древнерусского литературного языка.

В докладе «Работа В. В. Виноградова по изучению языка древнерусских рукописей» Л. П. Жукowska остановилась на ранних трудах академика В. В. Виноградова, в которых он выступал как диалектолог и как историк русского языка. Докладчик показал, что, будучи учеником и последователем А. А. Шахматова, В. В. Виноградов считал, что

живой язык древности может быть понят только при сопоставлении данных письменных памятников с фактами живых русских диалектов. В. В. Виноградов сам изучил большое число рукописей XIII—XVIII вв., находящихся в Публичной библиотеке в Петрограде, и сделал тонкие наблюдения относительно звучания и истории звука *ѣ* в севернорусском наречии (см. статью В. В. Виноградова «Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Очерки из истории звука *ѣ* в севернорусском наречии», ИОРЯС, XXIV, кн. 1, 1922). Докладчик выразил сожаление, что выводы и наблюдения В. В. Виноградова не получили еще той высокой оценки, которой они заслуживают, и не отразились на качестве собираемых диалектных материалов. Далее Л. П. Жуковская остановилась на теоретических взглядах В. В. Виноградова, которые нашли отражение в докладе «Методы изучения рукописей как материала для построения исторической фонетики русского языка в исследованиях акад. А. А. Шахматова» (ИОРЯС, XXV, 1922).

Докладчиком был произведен также анализ монографического описания В. В. Виноградовым языка Жития Саввы Освященного, первой лингвистической работы В. В. Виноградова, увидевшей свет только в 1968 г. (В. В. Виноградов, Орфография и язык Жития Саввы Освященного по рукописи XIII в., сб. «Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология», М., 1968). Докладчик отметил, что это исследование до сих пор ценно своими выводами, материалом и огромной библиографией.

Доклад В. Д. Левина «Соотношение истории литературного языка и языка художественной литературы в трудах В. В. Виноградова» был посвящен тому, как академик В. В. Виноградов решал проблему места языка художественной литературы в истории литературного языка. Докладчик подчеркнул, что к решению этой проблемы В. В. Виноградов подходил как лингвист, как историк языка, отправляясь от общих понятий и категорий науки о языке, от задач истории литературного языка, но раскрывая в то же время соотношение языка художественной литературы со стилистикой, поэтикой, теорией поэтической речи. Это позволило В. В. Виноградову объединить в своем анализе аспект собственно лингвистический с аспектом эстетическим. Докладчик показал, что такой метод анализа привел к постановке проблемы «образа автора» как композиционно-стилистического центра литературного произведения. По мнению докладчика, именно благодаря такому пониманию языка литературы оказалось возможным построить историю русского литературного языка с включением в нее языка писате-

ля, но интерпретированного в плане литературного языка. Докладчик подчеркнул, что В. В. Виноградов пришел к обобщениям чрезвычайной важности о месте языка литературы в системе литературного языка на разных этапах его развития и, в частности, к выводу о связи реализма как художественного метода с развитием национального литературного языка. В заключение докладчик остановился на некоторых путях дальнейшей разработки проблем истории литературного языка на основании тех методов и идей, которые можно почерпнуть из трудов В. В. Виноградова.

В докладе А. П. Евгеньевой получили освещение методы работы В. В. Виноградова над историей отдельных слов.

Н. С. Авилова (Москва)

13 января 1970 г. в честь 75-летия академика Виктора Владимировича Виноградова кафедра русского языка Ленинградского университета собралась на расширенное заседание, чтобы почтить память выдающегося советского филолога. На заседании присутствовали, кроме преподавателей кафедры, аспирантов и студентов, работники других кафедр и факультетов, а также сотрудники Института русского языка и Пушкинского дома АН СССР.

В своем вступительном слове заведующий кафедрой Н. А. Мещерский кратко охарактеризовал научные и общественные заслуги акад. В. В. Виноградова и указал, что ученый был тесно связан с Ленинградским университетом в течение почти всей своей деятельности. В стенах, где сейчас размещается филологический факультет ЛГУ, прошли студенческие годы Виктора Владимировича, учившегося в существовавшем тогда Петербургском историко-филологическом институте. При Петроградском университете он проходил подготовку к научной деятельности под руководством акад. А. А. Шахматова, возглавлявшего в те годы университетскую русистику. Здесь же завязались и окрепли научные контакты В. В. Виноградова с Львом Владимировичем Щербой, которому он также был многим обязан в выработке своих научных воззрений, плодотворно развитых в трудах, выполненных в последующие годы. В Петроградском университете В. В. Виноградов начал свою преподавательскую работу в 1921 г. и трудился в нем по 1930 г., не порывая связи с родным для него университетом и впоследствии.

Старейший работник кафедры русского языка ЛГУ М. А. Соколова проник-

новенно вспоминала о работе В. В. Виноградова в 1944—1948 гг., когда ученый заведовал кафедрой, а М. А. Соколова являлась его заместителем. В сентябре 1944 г. В. В. Виноградов возглавил кафедру в университете, только что вернувшегося из эвакуации. Отмечая прежде всего исключительно богатую эрудицию Виктора Владимировича, широту и разносторонность его научных интересов, его исключительную преданность науке, М. А. Соколова подчеркнула, что «глубокое уважение к избранной научной специальности вызывало у В. В. Виноградова и необходимую требовательность как к научной продукции членов кафедры, так и к работе аспирантов и студентов».

А. П. Аверьянова в своем сообщении изложила взгляды В. В. Виноградова на проблемы, связанные с русским словообразованием, справедливо подчеркнув, что В. В. Виноградов может быть признан одним из основоположников словообразования как самостоятельной дисциплины. Особенно влиятельными оказались такие труды акад. В. В. Виноградова, как его статья «Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (На материале русского и родственных языков)» (в кн. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952), а также соответствующие разделы в его капитальных трудах «Русский язык» (М. — Л., 1947) и «Современный русский язык» (вып. 1, М., 1938).

Т. А. Иванова в сообщении «Из истории русской литературной лексики» изложила собранные ею дополнительные материалы к истории слова *стрюцкий*, которому В. В. Виноградов посвятил одну из своих историко-этимологических заметок («Этимология. 1965», М., 1967). Опираясь на большой материал, иллюстрирующий мотивированную связь этого наименования и европейской одежды *стрюцкого* (впервые эта связь была отмечена Ф. М. Достоевским), Т. А. Иванова критически пересмотрела этимологию слова *стрюцкий*, которая в свое время была предложена акад. А. И. Соболевским, производившим это образование от *баструк*, *бастрюцкий* (сын) «незаконнорожденный ребенок».

М. И. Привалова, отмечая, что тема «Сатирические словари XIX в.» была подхвачена ей В. В. Виноградовым, в сообщении «Светский словарь» Александра Бодуэна и его русские переводы-переделки» охарактеризовала памятник французской сатирической литературы, в котором отразились общественные настроения Франции в период Реставрации. Словарь А. Бодуэна (Париж, 1818), выдержавший несколько изданий во Франции, с 1820 г. оказался в поле зрения русских писателей, в том числе — Пушкина и его окружения. Фрагмент из этого словаря был переведен П. Л. Яковлевым

(братом «лицейского старосты» Михаила Яковлева), отрывки из «Словаря» неоднократно печатались в журнале «Вестник Европы», а в 1860 — 1870 гг. в журнале «Искра». В «Светском словаре» А. Бодуэна помещена эниграмма, послужившая источником известного стихотворения А. С. Пушкина «Золото и булат» и стихотворения его лицейского товарища А. Д. Илличевского «Железо и золото». Своим сообщением М. И. Привалова убедительно показала, насколько необходимо тщательно изучать юмористические и сатирические словари, получившие широкое распространение в России с середины XVIII в., и их непосредственную связь с подобными французскими словарями.

Разнохарактерность заслушанных на памятном заседании научных сообщений не была случайной — ведь научной деятельности акад. В. В. Виноградова была присуща необычайная широта взглядов и интересов.

Н. М.

*

В Институте языкознания АН СССР с 17 по 21 ноября 1969 г. проходила Пятая научная сессия по вопросам германского языкознания, организованная сектором германских языков института. В работе сессии приняли участие около 250 человек — германисты Москвы, Ленинграда и 39 других городов страны, в том числе Баку, Тбилиси, Еревана, Алма-Аты, Киева, Ташкента, Ашхабада, Иркутска, Горького, Хабаровска, а также ученые из ГДР, Чехословакии, Венгрии и Румынии: Р. Гросс, Э. Зайдель, Б. Летер, В. Мотш, Г. Изигг, Й. Дашеш, Ф. Вахек, В. Шванцер, М. Хуттерер, М. Избашеску. По установившейся традиции в рамках сессии работал семинар по диахронической фонологии германских языков.

Открывая сессию, чл.- корр. АН СССР В. Н. Ярцева (Москва) ознакомила участников с традицией германистических сессий, кратко охарактеризовала тематику четырех предыдущих сессий, а также нынешней, призванной рассмотреть ряд проблем развития грамматического строя германских языков в сравнительном и типологическом аспектах.

Э. А. Макаев (Москва) в докладе «Фономорфология германских языков с историко-этимологической точки зрения», написанном совместно с Е. С. Кубряковой, указал три круга проблем диахронической лингвистики: 1) выяснение и дефиниция понятия лингвистического времени, что единственно создает предпосылки для сопоставления однотипных структур в различных германских языках, разделенных временной пропастью в несколько столетий; 2) определение приемов структурирования так называемых

мых переходных единиц разных уровней языка, которые с точки зрения синхронного языкознания не получили до сих пор содержательной характеристики; 3) определение временной дезуры, позволяющей одно состояние языка отделить от другого, что имеет первостепенное значение для историко-типологической характеристики как отдельного языка, так и всей группы языков.

Доклад М. М. Г у х м а н (Москва) был посвящен анализу процессов парадигматизации и их роли в изменении морфологических систем германских языков. В центре внимания докладчика — определение, в какой мере эти процессы являются стержневыми в построении исторической типологии германских языков, для которых степень парадигматизации является измерением типологического сходства или различия. Большое внимание в докладе уделяется методике анализа структуры парадигматического ряда и позиции в нем преобразующей или исчезающей единицы.

Э. З а й д е л ь (ГДР) сделал на сессии доклад о роли лингвистико-типологических критериев при определении и уточнении языковых отношений. В докладе отмечается, что морфологические критерии зачастую оказываются недостаточными при попытке представить исчерпывающую картину языковых отношений. Докладчик констатировал, что для типологических исследований особо плодотворным может стать применение методов сопоставительной грамматики и теории инференции.

С докладом «Проблема типологии языковой подсистемы» выступил Г. И з и н г (ГДР). Докладчик обосновал необходимость типологического исследования функциональных разнородностей языка и их взаимодействия с учетом влияния внеязыковых факторов.

В докладе И. П. И в а н о в о й (Ленинград) «Структурная функция словоизменительного форманта и нулевая морфема» рассматривается возникновение специфических явлений в английском языке, где структура словоформы не включает словореализующего форманта и словоизменительные форманты оформляют его, больше, чем слово.

Г. В. К о л ш а н с к и й и Н. И. К р ы л о в а (Москва) в совместном докладе рассматривают явление нулевой морфологической формы в синтаксических конструкциях немецкого языка, где нулевой показатель может становиться релевантным признаком примыкания и быть его единственным маркером, который не обуславливается обязательным контактным положением примыкающего и подчиняющего членов предложения.

В докладе В. Н. Я р ц е в о й «Типология неличных форм в системе глагола германских языков» представлены типы связей неличных форм с другими члена-

ми глагольной системы по структурно-типологическим и по категориальным признакам, вскрывается потенциальная возможность втягивания отглагольных имен в сферу неличных форм глагола. Анализ неличных форм обнаруживает различия в положении отдельных категорий. В процессе развития грамматического строя германских языков у неличных форм закрепляются глагольные черты, более тесными становятся связи с личными формами. Эти процессы в отдельных германских языках протекают с разной интенсивностью, зависящей от конкретных особенностей глагольной системы данного языка.

О. А. С м и р н и ц к а я (Москва) в докладе «Морфологизация аналитических глагольных конструкций» отметила различия в значении таких конструкций (ср. перфект, пассив и т. д.) и в степени их морфологизованности, существующие в германских языках в зависимости от условий их становления.

С докладом о статусе грамматических архаизмов в системе языка и об их миграции выступила Е. В. Г у л ы г а (Москва). Архаизмы рассматриваются как периферийные элементы, место которых и соотношение с центром меняется в зависимости от периода развития языка и от их функций.

На материале древнеисландского и современных исландского и норвежского языков анализировал соотношение перфекта и сочетания глагола *быть* с причастием П. В. Л. Я к у б (Москва).

А. М. М у х и в (Ленинград) в докладе «Контраст и оппозиция в системе имени и глагола в истории германских языков» рассматривает процессы разрушения флексивной системы имени и глагола и развития морфем в составе синтетических и аналитических форм частей речи. Различию этих процессов соответствует различие в природе флексий и морфем: первые выделяются в синтагматическом, а вторые — в парадигматическом плане.

В. Я. П л о т к и н (Новосибирск) выступил с докладом об эволюции некоторых грамматических оппозиций в германских языках, установив принципиальную возможность, при существовании двух полярно противоположных оппозиций и реализации в отдельном языке одной из них, латентного существования в этом же языке и другой оппозиции.

И. Б. Х л е б н и к о в а (Москва) в докладе «О равновесии исторических изменений фонологических и морфологических систем» охарактеризовала равновесие как один из глубинных процессов, обуславливающих изменения отдельных языковых единиц и управляющих динамикой развития языка, как способность языка к сохранению симметричной корреляции дифференциальных признаков единиц и к восполнению утраченных звеньев микросистемы.

В. Г. Адмони (Ленинград) избрал темой своего доклада регенерацию морфологических форм в германских языках; в докладе рассматривается широкий круг тех процессов, в результате которых в языке способна восстановиться морфологическая структура слова, которая одно время подвергалась вытеснению или даже была вытеснена из языка.

В докладе С. С. Масловой-Лашанской (Ленинград) «Процессы морфологического опрожнения в германских языках» дается определение опрожнения, «полуопрожнения», выделяются формальные разновидности опрожнения, рассматриваются другие типы изменения морфемного состава слова: осложнение, переразложение и видоизменение звукового облика одной из морфем таким образом, что слово сближается с новым лексическим гнездом.

Е. С. Кубрякова (Москва) в докладе «Соотношение парадигматических и словообразовательных рядов в германских языках» поставила перед собой задачу проанализировать системы и тенденции развития словообразования и словоизменения в германских языках и сопоставить их. Материал германских языков позволил докладчице выдвинуть гипотезу о непосредственной связи между разрушением системы словоизменительных флексий и развитием средств словообразования.

На сессии был прослушан также ряд подготовленных выступлений. В. П. Литвинов (Пятигорск) посвятил свое выступление аспектологической проблеме в германских языках, введя понятие кардинальных сем и определив роль этого понятия для типологического сопоставления. Г. Г. Сильницкий (Смоленск) поставил вопрос о существовании категории вида в современном английском языке, отметив, что все многообразие видовых значений может быть дедуктивно выведено из временных значений, а обратное соотношение не имеет места. И. В. Виктор (Челябинск) дал аспектологическую характеристику системы глагола в современном английском языке, проанализировав средства выражения языковых понятийных категорий и предложив иерархическую схему аспектуальных отношений в германских и славянских языках. Э. М. Самойлова (Москва) представила описание тех особенностей взаимодействия между деривационными суффиксами и частотными вторыми компонентами слов, которые выявляются при рассмотрении процессов образования и развития германских языков. А. Л. Воронов (Горький) рассмотрел проблему фономорфологических вариантов слов (на материале немецкого языка). В. А. Жеребков (Калинин) представил исследование двойной темпоральной парадигмы германского глагола. Т. А. Расторгуева (Москва)

провела сопоставительный анализ глагольного словообразования в современных германских языках, позволивший выделить некоторые модели и уточнить их ареальное расположение.

В заключительном слове на последнем заседании М. М. Гухман констатировала перспективность проблематики сессии, отметив, что центральную позицию в программе заняла проблема однообразия микро- и макросистем. Были представлены как доклады более обобщенного теоретического характера, так и доклады, посвященные истории конкретных языков и содержащие обширный языковой материал. Доклады, выступления и их обсуждение на сессии были весьма полезны для решения ряда проблем общей типологии и диахронической типологии германских языков.

Закрывая сессию, В. Н. Ярцева отметила совместную работу германистов Института языкознания с учеными академий союзных республик, университетов, педагогических вузов страны, широкий отклик на предложенную проблематику среди советских и зарубежных языковедов и выразила надежду, что традиция германистических сессий будет продолжена.

М. А. Журина (Москва)

*

25 и 26 ноября 1969 г. в Ленинграде состоялись организованные Институтом языкознания АН СССР очередные научные чтения, посвященные памяти академика И. И. Мещанинова. Открывая чтения, А. В. Десницкая (Ленинград) отметила, что хотя круг научных интересов И. И. Мещанинова был очень широк, представляется целесообразным в каждое из последующих ежегодных чтений включать доклады, по содержанию связанные с проблематикой какого-либо одного направления науки о языке.

Первое заседание открылось докладом В. Н. Ярцевой (Москва) «О синтаксической роли прямого дополнения в языках разных типов», посвященном одному из интереснейших лингвистических вопросов — значению прямого дополнения в формировании синтаксической структуры предложения. Докладчик подчеркнула, что для решения этого вопроса необходимо установить, входит ли прямое дополнение в состав простейшей модели предложения или оно принадлежит глагольно-именному бинарному словосочетанию и через его посредство включается в предложение. Некоторые лингвисты считают, что дополнение является вторым (после подлежащего) предметным центром предложения и выражение объектных отношений обязательно для любого языка. Однако подчиненность

прямого дополнения разрядам слов, в которых сконцентрировано значение действия, тесная связь лексического значения переходных глаголов с управляемыми ими дополнениями заставила грамматистов рассматривать прямое дополнение в пределах бинарных словосочетаний. Докладчик далее обратил внимание на то, что в языках номинативного строя дополнение не влияет на построение предложения, а в эргативных языках наличие или отсутствие прямого дополнения влияет на формирование структуры предложения. Однако и в одном и том же языке наблюдаются в зависимости от семантики предложения и от структурно-семантических свойств глагола-сказуемого варианты типов прямого дополнения, что может быть установлено при трансформациях, дающих дериваты, соотносимые с ядерной конструкцией на основе парадигматических связей.

В. Г. А д м о н и (Ленинград) в докладе «Структурно-смысловое ядро предложения» отметил, что до настоящего времени выделялись следующие типы ядра предложения: а) логико-грамматическое, состоящее из компонентов (или компонента), которые достаточны для придания предложению структурной и относительной смысловой завершенности; б) иерархическое, состоящее из компонентов (или компонента), от которых формально-синтаксически зависит все остальные компоненты предложения; в) структурное (каркас), состоящее из компонентов (или компонента), которые наиболее непосредственно организуют предложение как грамматическую целостность; г) семантическое, состоящее из компонентов, образующих основное содержание предложения; д) коммуникативное, состоящее из компонентов (или компонента), которые в соответствии с актуально-коммуникативными членами предложения выражают новое (рему). Однако в ряде языков, сказал докладчик, падстраиваясь над некоторыми из этих ядер предложения, отчетливо выступает еще структурно-смысловое ядро, которое образуется из сочетания логико-грамматического (тем самым и структурного) ядра с непосредственно примыкающим к нему компонентами и составляет реальное «тело» предложения. Далее докладчик, используя данные английского, французского и немецкого языков, остановился на средствах отграничения структурно-смыслового ядра от периферийных компонентов предложения.

В докладе «К типологии членов предложения в абхазско-адыгских языках» И. О. Г е ц а д з е (Ленинград) подчеркнула, что в исследованиях И. И. Мешанинова, посвященных сравнительно-историческому анализу структуры предложения, большое место занимали данные иберийско-кавказских языков, в том числе и данные абхазско-адыгских язы-

ков. Характеризуя категорию глагола в этих языках, докладчик показал, что глагол-сказуемое в них в миниатюре воспроизводит структуру всего предложения, и, следовательно, типологическая характеристика членов предложения должна исходить из своеобразия их полисинтетично-агглютинативного глагольного комплекса. В результате такого подхода становятся объяснимыми, по мнению докладчика, те расхождения, которые наблюдаются как с точки зрения системы склонения, с одной стороны, так и с точки зрения передачи субъектно-объектных отношений, с другой. Докладчик, основываясь на данных иберийско-кавказских и собственно абхазско-адыгских языков, отметил, что в выражении надежды и эргативной конструкции переходного глагола для абхазско-адыгейской группы исходным следует считать состояние, существующее в абхазском языке.

В докладе «О принципах классификации членов предложения в агглютинативных языках» Т. А. Б е р т а г а е в (Москва) показал на материале монгольских языков, что при сегментации методом исключения предложение может быть сведено к микроединице (из слова или устойчивого сочетания), сохраняющей все его основные интонационные и формальные свойства. Такая микроединица представляет собой ядро предложения (сказуемое), его конститутивный член. Все остальные сегменты определяются по тому, в каком отношении они находятся к этому ядру предложения. Если ведомый компонент при изменении своей позиции может приобрести признаки ядра, то он — предикативно обратимый член, а если нет, то необратимый. Сегмент, не подчиняющийся ядру, нейтральный в смысле обратимости-необратимости и участвующий совместно с ядром в организации простого нераспространенного предложения, — субконститутивный член (подлежащее). Субконститутивный сегмент, так же как и конститутивный, имеет свое грамматическое оформление.

В докладе Н. М. Т е р е щ е н к о (Ленинград) «Главные члены предложения в самодийских языках» главное внимание было уделено грамматическому оформлению глагола-сказуемого и его связи с прямым дополнением. Сказуемое в самодийских языках в большинстве случаев представляет собой личную форму. Показатели лица и числа принимает не только глагольное, но и именное сказуемое. В ненецком и энцком языках именное сказуемое изменяется по временам. Качественное определение согласуется с именным сказуемым в лице и числе лица. В ненецком, энцком и иганасанском языках при определенной структуре предложения к числу главных членов тяготеет и прямое дополнение. Наблюдается это в трех построениях, в которых сказуемое

выражается переходным глаголом в субъектно-объектном спряжении, а прямое дополнение употребляется самостоятельно. При выделяемой позиции прямого дополнения сказуемое включает в свою форму выражение как лица и числа субъекта, так и числа объекта и тем самым связывается с прямым дополнением. Таким образом передается определенность объекта. При неопределенном объекте глагол изменяется по субъектному спряжению, а прямое дополнение включается в синтаксическую группу сказуемого. Различное соотношение между сказуемым и прямым дополнением, подчеркнул докладчик, находит свое выражение в разномыслиях глагольного спряжения. Посредством специальных парадигм характеризуются глаголы, действие которых переходит на прямой объект, но связывается только с субъектом, и глаголы, действие которых переходит на прямой объект, но связывается и с субъектом и с объектом. Только посредством изменения глаголов по субъектно-объектной парадигме переходное действие отчетливо противопоставляется непереходному.

Заключительное заседание 26 ноября, проходившее под председательством акад. В. М. Жирмунского (Ленинград), открылось докладом М. М. Гухман (Москва) «Подлежащее в языках разных типов». В качестве объекта рассмотрения докладчик взяла наиболее простой случай двусоставного предложения, в котором подлежащее выражено склоняемым словом. Анализ базировался на различении трех уровней: а) уровня актуального членения, б) уровня реальных смысловых связей, в) уровня структурно-синтаксического анализа. При рассмотрении формальных средств выявления компонентов разных уровней был подчеркнут докладчиком обобщенный чисто структурный статус подлежащего в русском, немецком и английском языках. С этих же позиций была рассмотрена проблема подлежащего в языках с эргативным строем. Докладчик высказал мнение, что в аварском языке грамматическим центром предложения, определяющим грамматические характеристики сказуемого (классные показатели), является имя в абсолютном падеже и поэтому оно рассматривается как подлежащее. В абхазском, баскском и грузинском языках глагол-сказуемое управляет прочими компонентами высказывания; когда имеется эргативная или дативная конструкция, подлежащее отсутствует, предложение может рассматриваться как односоставное. В этих языках подлежащее вычленяется в предложении с непереходным глаголом, а в грузинском также и в группе презентных форм переходного глагола.

В докладе Н. В. Солнцевой (Москва) и В. М. Солнцева (Москва) «Взаимодействие частей речи и членов

предложения» докладчики, подчеркнув важность одной из основных идей И. И. Мещанинова о неразрывной связи членения предложения с классификацией слов по частям речи, подвергли анализу категории члена предложения с точки зрения общих принципов теории систем и структур и развили мысль о том, что член предложения есть функциональное понятие, которое формируется в языке на основе лексико-грамматической неоднородности его словарного состава. В связи с этим в докладе дан анализ понятия неоднородности элементов языка. Авторы выделяют три вида свойств слов: а) системообразующие, б) системопробитые, в) системонейтральные. Основной вывод докладчиков заключается в том, что поскольку функция языкового элемента не существует вне своего носителя, постольку дифференциация функций слов (т. е. выделение категории членов предложения) происходила одновременно с дифференциацией самих слов. Последний процесс есть процесс нарастания неоднородности слов, ведущий к образованию классов слов, т. е. частей речи.

Е. А. Реферовская (Ленинград) выступила с докладом «Ненормативные члены предложения в современном французском языке», показав в нем, что синтаксические изменения могут являться как результатом нарушений нормы, начинающихся в живой речи и из нее переходящих в язык, так и могут представлять собой переконструирование маргинальных «ненормативных» явлений под давлением нормы, превращение их в «нормативные». Этот переход зарождается также в живой речи и переходит из нее в литературный язык. Так, например, вместо употребления относительных и дополнительных придаточных предложений в функции подлежащего возникают конструкции с указательными местоимениями и существительными широкого значения в роли антиципанта или репризы указанных предложений. Или, например, модальное наречие, характеризующее все предложение в целом, теряет в нем свое фиксированное место, превращаясь в главное предложение, подчиняющее себе остальную часть с помощью использования союза *que*.

Все доклады будут опубликованы в виде сборника.

Е. В. Пузицкий (Москва)

*

11—12 декабря 1969 г. в Институте языкознания АН СССР проходил симпозиум «Генетическое родство и структурные различия между языковыми системами (на материале романских языков)», организованный

сектором романских языков Института. В работе симпозиума приняли участие романисты Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Кишинева, Харькова, Львова, Ташкента, Воронежа, Белгорода, Пятигорска, Тбилиси, Днепропетровска, Горького. Было прослушано 10 докладов.

В центре внимания работы симпозиума находилась проблема схождения и различия генетически родственных языков и их вариантов на разных уровнях. В ряде докладов рассматривались вопросы качественных и количественных различий романских языков в фонологии (Н. А. Катагощина), морфологии (Л. И. Лухт), синтаксисе (Т. Б. Алисова), лексике (Р. А. Будагов).

Доклад Н. А. Катагощиной (Москва) «Генетические связи и структурное различие романских языков на фонологическом уровне» был посвящен проблеме, которая в последние годы особенно привлекает внимание исследователей-романистов (как советских, так и зарубежных). Это вопрос о том, в какой мере генетическое родство современных романских языков сопровождается их структурным схождением. Основные выводы доклада — невозможность свести звуковые системы современных романских языков к какой-либо общей «фонологической модели».

В докладе Л. И. Лухт (Москва) «О структурном различии и генетическом схождении (в морфологии) современных романских языков» на примере анализа элементов морфологии в румынском и некоторых других романских языках сделана попытка показать, как при сопоставлении отношений между единицами системы (плана содержания, означаемых) и единицами структуры (плана выражения, означающих) выявляются черты глубоких расхождений между родственными языками при их внешней материальной близости, и более точно определяется степень схождения между ними, скрытая за внешними различиями.

В докладе Т. Б. Алисовой (Москва) «Коммуникативные предпосылки некоторых лексических и грамматических расхождений между французским и итальянскими языками» определены расхождения в системе, норме и речевом узусе двух близкородственных языков, являющиеся результатом различного выбора между синонимами-конкурентами, бытовавшими в общем «праязыке».

Структурные соотношения в лексике родственных языков проанализированы в докладе Р. А. Будагова (Москва) «Генетическое родство и типологические сближения в лексике». Трудность разграничения генетического и типологического родства языков на материале лексик доклада объяснил тем, что тенденции функционирования и развития лексики гораздо более универсальны (и тем самым

типологичны), чем аналогичные тенденции фонетики и морфологии.

Проблема схождения и различия в отдельных подгруппах романских языков дискутировалась в докладах О. К. Васильевой-Шведе и Е. М. Вольф. О. К. Васильева-Шведе (Ленинград) в докладе «К проблеме структурного схождения и различия в грамматическом строе западнороманских языков промежуточной зоны (на материале аналитических глагольных конструкций в каталанском, провансальском, гасконском и испанском языках)» предлагает отказаться от принятого под влиянием экстралингвистических факторов разделения западнороманских языков на галло-романскую и иберо-романскую подгруппы.

В докладе Е. М. Вольф (Москва) «Некоторые схождения и различия в морфологии иберо-романских языков» рассмотрены нестандартные глагольные формы испанского и португальского языков. Именно в этой области обнаруживаются наиболее значительные различия двух близкородственных языков. Микросистемы, объединяющие различные альтернации морфем, могут включать большее или меньшее количество элементов и отличаться разной степенью регулярности. При этом оказывается, что чем больше форм включает микросистема и чем более общим образом ее можно описать по морфологическим и морфонологическим признакам, тем менее вероятны совпадения таких микросистем в близкородственных языках. Это связано с тем, что на образование нестандартных микросистем влияют весьма разнородные и случайные с точки зрения системы факторы. Напротив, формы так называемого индивидуального спряжения довольно часто совпадают. Нестандартные формы оказывают влияние и на развитие системы глагола в целом.

Степень расхождений разных национальных языков (испанского и португальского) и двух вариантов одного языка (энгадинского и сельского вариантов ретороманского) выявлена в докладе М. А. Бородиной (Ленинград) «К вопросу о различии между близкородственными языками и вариантами одного языка». Сопоставив четыре шестичленные парадигмы глагольной системы в двух временах (имперфекте индикатива и субъектнктива), докладчик пришел к заключению, что несовпадений в энгадинском и сельском вариантах ретороманского языка значительно больше, чем в близкородственных испанском и португальском языках.

Обсуждение проблемы вариантов одного языка началось с доклада Г. В. Степанова (Ленинград) «О структурных различиях между вариантами испанского языка», в котором рассмотрены вопросы соотношения единого испанского языка и

его национальных вариантов на материале словообразовательных моделей.

Та же проблема исследована в докладе Е. А. Реферовской (Ленинград) «Особенности канадского варианта французского языка (архаизмы и диалектизмы)». Рассматривая условия существования французских переселенцев на американском материке, Е. А. Реферовская выявляет характерные черты языка франкоканадцев — архаизмы в произношении, лексике и даже грамматике, которые давно уже исчезли из языка Франции, и приходит к заключению, что язык французских канадцев воспроизводит, с одной стороны, черты литературного языка Франции эпохи колонизации, с другой — особенности диалектной речи современных французов.

Вопрос о сходстве и различии двух синхронных срезов одного языка поставлен в докладе Е. Б. Ройзенблит (Москва) «Данные и перспективы сравнительного анализа двух синхронных срезов языка внутри грамматических систем». Докладчик исходит из того, что внутри языка не происходит радикальной смены систем и что методология исследования внутриязыковых состояний иная, чем методология исследования двух родственных языков. Докладчик полагает, что сравнительный анализ двух синхронных срезов внутри языка должен производиться с учетом уровня членения языка, межуровневых слоев, расположения элементов на вертикальной и горизонтальной оси, типов значений и связей, взаимодействия между системой и нормой и др.

По прослушанным докладам развернулись прения. Оживленная дискуссия возникла вокруг вопросов о системных и нормативных различиях языков и вариантов, о способе определения генетического родства, при этом выявились различные подходы к вопросу о генетических взаимоотношениях романских языков, об использовании перевода как методе сравнения и др.

Симпозиум показал, что проблема сходства и различия генетически родственных языков очень мало разработана и представляет интерес для исследования в самых различных аспектах. Участники симпозиума согласились в том, что работу в этой области следует продолжать.

А. В. Супрун (Москва)

*

С 24 по 27 декабря 1969 г. в Москве состоялся научный симпозиум «Место терминологии в системе современных наук», организованный кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ и Проблемной группой по семантике.

Цели и задачи симпозиума были определены в выступлениях Р. А. Будагова, Ю. С. Степанова, К. В. Горшковой. На восьми пленарных заседаниях было прослушано и обсуждено 55 докладов и сообщений, подготовленных лингвистами, математиками, логиками, философами, инженерами и другими специалистами. Тезисы докладов и сообщений опубликованы¹.

В работе симпозиума приняло участие 110 представителей из 14 городов страны: работников высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, промышленности, издательских учреждений и библиотек.

Вступительный доклад на тему «Терминология и современные науки» был прочтен ответственным секретарем оргкомитета В. М. Лейчиком. Взгляд на терминологию как на самостоятельную научную дисциплину и на принципы организации терминологической деятельности был изложен в докладах С. З. Иванова, Ю. Д. Головянка, С. П. Кряквиной (Воронеж) «Принципы терминологической работы в головном отраслевом научно-исследовательском институте», Н. С. Будько (Москва) «Процессом формирования научных терминов надо управлять», М. Г. Гаазе-Рапопорта (Москва) «Еще раз к вопросу об управлении процессом формирования научных терминов и терминосистем», А. И. Куратова (Рязань), «Актуальность и пути повышения эффективности терминологической работы», в сообщениях Б. Н. Головина (Горький) «О некоторых аспектах лингвистического и информационного изучения терминов», Б. В. Якушина (Москва) «К вопросу о соотношении труда лингвиста и инженера в процессе работы над ИПЯ», А. Л. Косарева (Киев) «Термины патентоведения», А. М. Фотиева (Москва) «Научно-технический прогресс и средства понимания. Терминология — самостоятельная дисциплина».

Логико-гносеологические аспекты формирования терминов и терминосистем получили отражение в докладах М. И. Черемисиной (Новосибирск) «К проблеме формирования терминов и терминосистем», Э. А. Натансона (Москва) «Логический аспект образования терминов, репрезентирующих смежные понятия» и в сообщении И. С. Нарского (Москва) «Гносеологические принципы пересмотра и уточнения философских терминов».

О применении математических методов в изучении терминов и терминосистем были сделаны сообщения Ф. А. Важе-

¹ «Научный симпозиум. Место терминологии в системе современных наук. (Тезисы докладов и сообщений). 24—27 декабря 1969», М., 1970.

в о й (Новосибирск) «Некоторые принципы систематизации терминов и понятий (на материале социологии)», Т. Ф. Б о н д а р е н к о (Одесса) «Принципы составления терминологического машинного словаря (на материале словаря по радиоэлектротехнике)», Р. Ю. К о б р и н а (Горький) «Некоторые результаты эксперимента по построению частотного словаря лингвистических терминов».

Лингвистические принципы формирования терминов и терминсистем наряду с проблемами стандартизации терминов были рассмотрены в докладах Е. Н. Т о л и к и н о й (Ленинград) «Некоторые лингвистические проблемы формирования и нормализации терминов и терминсистем», И. М. Д о л г о п о л о в о й (Москва) «„Смещение“ значения слов в языках науки», Б. Ю. Г о р о д е ц к о г о и В. В. Р а с к и н а (Москва) «Термины с лингвистической точки зрения», Г. А. М у ш т е н к о (Воронеж) «Принципы анализа терминологических систем (на материале французских терминов свеклосахарного производства)» и в сообщениях У. Ш. Б а й ч у р ы (Ленинград) «К вопросу об определении понятия „термин“ и к истории терминообразования в тюркских языках», П. Н. Д е н и с о в а (Москва) «Лингвистические принципы формирования терминов», В. М. О в ч а р е н к о (Запорожье) «Целесообразность языкового знака, в частности, термина», И. Т. С о б а р ш о в а (Москва) «К вопросу о разграничении некоторых мотивированных терминов», Н. А. Ш у б о в о й (Москва) «Глаголы со значением организации и систематизации материала в научном тексте», Л. И. И с к р и ц к о й (Рига) «Расширение смысловой структуры глаголов немецкого языка в связи с развитием науки и техники», В. С. З а х а р о в а (Рязань) «О терминологических моделях в некоторых микроструктурах немецкого языка (на материале словарей по радиоэлектронике)», Е. В. Х о м у т о в о й (Москва) «Исследование тематических рядов в лексике научного языка», В. П. Т к а л и ч а (Челябинск) «Борьба за научность терминов и взаимовлияние терминологии различных языков».

Большая группа докладов и сообщений посвящалась взаимоотношению терминологии с некоторыми новыми науками. В частности, на связь терминологии и семиотики указывалось в докладах Т. П. Л о м т е в а (Москва). «Значение, смысл, понятие, термин», Г. П. М е л ь н и к о в а (Москва) «Языковой знак, значение и термин», П. В. В е с е л о в а (Москва) «Структура терминов в аспекте семиотики», в сообщениях Б. В. Я к у ш и н а, Л. А. Ш е п у р е в а (Москва) «О смысловой единице текста», Н. Г. К о м л е в а (Москва) «Естественные границы точности научного термина», М. Н. Ч е р н я в с к о г о (Москва) «Мо-

делирование знаковых систем как основная форма терминологической деятельности», А. Н. Ш и л о в с к о г о (Днепропетровск) «Исследование древнерусских общественно-политических терминов, обозначающих должностных лиц суда», А. Л. В а с и л е в с к о г о (Москва) «Термины и товарные знаки», В. Н. Т у р к и н а (Днепропетровск) «Из наблюдений над структурой смысла имен-названий должностных лиц старорусского языка (государственного языка Великого княжества Литовского)».

Об общих проблемах терминологии и документалистики, терминологии и информатики (в аспекте разработки информационно-поисковых систем) шла речь в докладах А. Н. М о р о з о в а (Москва) «Некоторые вопросы терминологии патентной документации», М. М. Г л у ш к о (Москва) «Сверхфразовые единства как основная единица информационно-поискового уровня», в сообщениях В. Д. С о л о в ь е в а (Москва) «Некоторые проблемы, общие для терминологии и информатики», А. Б. А н т о п о л ь с к о г о, В. Г. Б о л д о в а, В. А. П и г у р а (Москва) «Стандартизация терминов и создание информационно-поисковых языков», Д. М. М е х т и е в а и Р. А. Х р у с т а л е в о й (Баку) «Информатика и терминология (терминологические аспекты разработки ИПС)», В. Л. Л а п ш и н о й (Москва) «Роль и место модальных дескрипторов в информационно-поисковой системе», Г. И. Г о л ь д г а м е р а (Москва) «О некоторых терминах научно-технической информации», В. Б. М а р г а р и т о в а и В. Н. Б е л о у с о в а (Москва) «Терминологические аспекты составления двуязычных тезаурусов».

О точках соприкосновения терминологии с науковедением было указано в докладах Г. П. Ш е д р о в и ц к о г о (Москва) «Цели метатерминологических исследований», В. М. П е т р о в а (Москва) «К вопросу о роли терминов в развивающихся науках», Л. В. Х а з о в о й (Новосибирск) «Формирование первичных социологических понятий и создание терминов в языке конкретно-социологического описания».

Опыт отраслевой лексикографической практики получил отражение в докладе Р. В. Р ы в к и н о й и М. И. Ч е р е м и с и н о й (Новосибирск) «К проблеме упорядочения системы научных терминов (на примере терминов социологии)» и в сообщениях В. В. Г у с ь к о в о й и С. З. И в а н о в а (Воронеж) «Исследование и разработка сахарного производства», Л. А. Г и л е в а (Москва) «Общественные и специальные термины (на материале современного французского языка)», Е. С. А н ю т к и н а (Воронеж) «К вопросу о разработке двуязычных переводных научно-технических словарей», Г. А. Н е г у л ь е в а (Москва) «К вопросу о построении словарной статьи немец-

ко-русского отраслевого технического словаря».

Преподаванию основ терминологии различным категориям обучающихся были посвящены доклады А. М. Вельштейн (Москва) «О способах оценки биологической информации в учебных английских текстах» и Н. П. Романовой (Новосибирск) «Преподавание основ терминологии на первых курсах филологических факультетов».

Особенно живой интерес вызвали доклады, в которых были сообщены конкретные результаты по разработке терминологических стандартов, указаны некоторые практические приемы по составлению терминосистем (например, в группе докладов из Воронежа). Участники симпозиума указали на ряд существенных недостатков, имеющихся в организации терминологической работы в стране: слабая координация усилий между представителями различных научных отраслей, занимающихся разработкой вопросов терминологии, отсутствие срочной и широкой информации, освещающей терминологическую деятельность, недостаточное внимание к планомерной подготовке кадров терминологов, слишком большие сроки издания отраслевых терминологических словарей и проч.

В заключение работы симпозиума были обсуждены и приняты решения и рекомендации о создании журнала по теоретическим и прикладным вопросам терминологии; о введении в программы университетов и институтов (включая все неязыковые вузы) факультативного курса «Основы терминологии»; об организации в вузах планомерной научно-методической работы по терминологии, о подготовке квалифицированных специалистов-терминологов; о создании терминологического общества или консультативного совета по терминологии; о введении в издаваемые отраслевые журналы специального раздела по новой терминологии.

И. Т. Собаршов (Калининград)

23 января 1970 г. в Турко-монгольском кабинете ЛО Института востоковедения АН СССР состоялось заседание, посвященное 90-летию со дня рождения видного советского тюрколога чл.-корр. АН СССР С. Е. Малова (1880—1957). В заседании приняли участие тюркологи, работающие в ЛО Института языковедения АН СССР и на Восточном факультете ЛГУ им. А. А. Жданова.

Открывая заседание, чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононов подчеркнул,

что с именем С. Е. Малова связан определенный этап развития советской тюркологической науки. Сформировавшись как ученый под влиянием таких виднейших тюркологов, как Н. Ф. Катанов, П. М. Мелиоранский и особенно В. В. Радлов, С. Е. Малов в своей научной деятельности, протекавшей в основном в Ленинграде, продолжал лучшие традиции русской тюркологии и постоянно стремился прививать их своим многочисленным ученикам.

Неоценимым вкладом в науку являются труды С. Е. Малова по языкам и диалектам тюркских народов, а издание им памятников древнетюркской письменности явилось прочной основой для широких исследований в этой области, осуществляемых в нашей стране.

Кратко охарактеризовав научный путь С. Е. Малова, А. М. Щербак остановился в своем выступлении на некоторых чертах исследовательского метода ученого. Для С. Е. Малова как тюрколога было характерно «сочетание большого собирательского порыва, стремления непрерывно накапливать материалы с осторожным и очень хладнокровным подходом к осмыслению и интерпретации собственных фактов». Ученому была чужда поспешность в решении сложных проблем науки, но вместе с тем С. Е. Малов не отрицал значения научных предсказаний, гипотез как способа научного исследования. Он отличался высокой принципиальностью в научных вопросах, будучи вместе с тем убежденным в возможности успешного развития науки при объединении усилий многих ученых, идущих часто разными путями, пользующихся различными приемами для решения спорных вопросов.

Д. М. Насилов попытался на основании имеющихся архивных данных осветить совместную работу В. В. Радлова и С. Е. Малова над исследованием древнейших памятников тюркской письменности. Под влиянием и при непосредственном участии В. В. Радлова формировался интерес С. Е. Малова к языку древнетюркских памятников, а также к малоизученным в то время тюркским языкам Восточного Туркестана. Почти десятилетие продолжалось научное сотрудничество этих двух больших тюркологов; созданное ими в те годы вошло в золотой фонд русской тюркологии.

На заседании было прослушано также сообщение Л. Я. Медведевой о личном архиве С. Е. Малова, разборка которого в настоящее время начата ею в Архиве востоковедов при ЛО Института востоковедения АН СССР.

Д. Н.

CONTENTS

Articles: E. A. N i d a (New York). The science of translation; E. G. E t k i n d (Leningrad). The translation of belles-lettres: the art and the science; **Discussions:** A. D. S v e i c e r (Moscow). The study of the linguistic translation-process; N. A. B a s k a k o v (Moscow). Areal consolidation of ancient dialects and genetic affinity of the Altaic languages; V. M. R u s a n o v s k i j (Kiev). The problems of norm at different stages of the history of literary languages; **Materials and notes:** A. M. M u k h i n (Leningrad). Model of internal syntactic relations of the sentences; T. I. S i l m a n (Leningrad). Syntactic-stylistic features of pronouns; Z. D. P o p o v a (Voronež). On the theory of case-meaning; G. A. M e n o v š č i k o v (Leningrad). V. S. H r a k o v s k i j (Leningrad). Causative verbs and causative constructions in the Eskimo language; A. - K. O r u s b a e v (Moscow). An experimental-phonetic study of the Kirghiz accent; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** A. M. S ĉ e r b a k (Leningrad). The Permanent International Altaistic Seminar.

SOMMAIRE

Articles: E. A. N i d a (New York). La science de la traduction; E. G. E t k i n d (Leningrad). La traduction des belles lettres: l'art et la science; **Discussions:** A. D. S v e i c e r (Moscou). L'étude du procès de la traduction linguistique; N. A. B a s k a k o v (Moscou). La consolidation des dialectes anciens et l'affinité génétique des langues altaïques; V. M. R u s a n o v s k i j (Kiev). Le problème de norme aux différentes étapes de l'histoire de la langue littéraire; **Matériaux et notices:** A. M. M o u k h i n e (Leningrad). Modèles des relations syntaxiques internes des propositions; T. I. S i l m a n (Leningrad). Les particularités syntactico-stylistiques des pronoms; Z. D. P o p o v a (Voronež). Sur la théorie de signification des cas; G. A. M e n o v š č i k o v (Leningrad). V. S. H r a k o v s k i j (Leningrad). Les verbes causatifs et les constructions causatives dans la langue esquimaue; A. - K. O r u s b a e v (Moscou). Essai d'une étude expérimentale-phonétique de l'accent kirghiz; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** Le séminar international permanent des études altaïques.

Технический редактор *Н. И. Васильева*

Слано в набор 20/IV—1970 г.	Т-11205 Подписано к печати 26/VI-1970 г.	Тираж 6575 экз.
Зак. 526	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5 ¹ / ₄	Уч.-изд. л. 15,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10